

Джордж Оруэлл в двух томах. Том 2: Эссе, статьи, рецензии. Джордж Оруэлл

Том II

ПОЧЕМУ Я ПИШУ

(Перевод В. Мисюченко)

С самого раннего детства, возможно лет с пяти-шести, я знал, что, когда вырасту, обязательно стану писателем. Лет с семнадцати и до двадцати четырех я пытался отказаться от этой мысли, хотя всегда сознавал, что изменяю своему подлинному призванию и что рано или поздно мне придется сесть и начать писать книги. В семье я был средним из трех детей, но между нами было по пять лет разницы, а кроме того, до восьмилетнего возраста я почти не видел своего отца. В силу этих и некоторых других причин я рос довольно одиноким ребенком и быстро приобрел некоторое неприятное манерничанье, которое все школьные годы отталкивало от меня товарищей. Одиночество выработало свойственную таким детям привычку сочинять разные истории и разговаривать с воображаемыми собеседниками. И думаю, с самого начала мои литературные притязания были замешены на ощущении изолированности и недооцененности. Я знал, что владею словом и что у меня достаточно силы воли, чтобы смотреть в лицо неприятным фактам, и я чувствовал – это создает некий личный мир, в котором я могу вернуть себе то, что теряю в мире повседневности. Тем не менее том серьезных (то есть всерьез написанных) произведений моего детства и отрочества не составил бы и полдюжины страниц. То ли в четыре, то ли в пять лет я сочинил свое первое стихотворение; мать записала его под мою диктовку. Я совсем не помню его, помню лишь, что оно было про тигра, а зубы тигра были как «стулья» (неплохое сравнение), но мне кажется, стих был плагиатом блейковского «Тигр, о тигр». В одиннадцать лет, когда началась война 1914–1918 годов, я написал патриотическое стихотворение, которое было напечатано в местной газете, как и другие, два года спустя, на смерть Китченера. Став постарше, я время от времени сочинял плохие и, как правило, неоконченные «стихи о природе» в стиле поэзии георгианского периода. Пытался я два раза написать также рассказ, что окончилось полным провалом. Вот, пожалуй, и весь список всерьез задуманных произведений, которые я написал в те годы.

Впрочем, все это время я в каком-то смысле занимался литературной деятельностью. Начать с того, что мною сочинялось много чепухи «на случай», которую я писал быстро, легко и без особого удовольствия. Помимо школьных заданий я писал *vers d'occasion*[1], полукомические вирши, которые сочинял со скоростью, теперь кажущейся мне недостижимой, – в четырнадцать лет я написал целую рифмованную пьесу в подражание Аристофану примерно за неделю и помогал редактировать школьные журналы, как печатные, так и рукописные. Эти журналы были самым жалким образчиком пародийной ерунды, которую только можно себе представить, и забот у меня с ними было куда меньше, чем с самыми примитивными газетными статьями сегодня. Но наряду со всем этим в течение пятнадцати лет, а может, и более того, я занимался литературной деятельностью совсем иного рода – я все время сочинял бесконечную «повесть» про себя самого, своего рода дневник, который существовал только в моей голове. Думаю, это – распространенное занятие детей и подростков. Еще ребенком я воображал себя, скажем, Робин Гудом, был героем захватывающих приключений. Но очень скоро моя «повесть» утратила черты грубого самолюбования и все больше и больше становилась описанием того, что я делал и видел. Я мог тогда подолгу раскручивать в мозгу такой пассаж: «Он широко распахнул дверь и вошел в комнату. Желтый луч солнечного света, пробиваясь сквозь муслиновые занавески, скользил по столу, где рядом с чернильницей лежала полуоткрытая коробка спичек. Засунув правую руку в карман, он пересек комнату и подошел к окну. Внизу на улице полосатая кошка гонялась за опавшим листом» – и т. д. и т. п. Эта привычка тянулась через все мои неписательские годы, лет до двадцати пяти. Хотя мне

приходилось искать, и я искал нужные слова, мне казалось, что я прилагаю эти отчаянные усилия вопреки моей воле, под влиянием какого-то принуждения извне. Полагаю, моя «повесть» должна была нести следы стиля тех писателей, которыми я в том или ином возрасте восхищался, но, насколько помню, в ней всегда сохранялось одно – четкая описательность.

Когда мне было около шестнадцати, я неожиданно для себя открыл радость, которую доставляли мне просто слова, то есть их звучание и сочетания. Строчки из «Потерянного рая»:

С трудом, упорно Сатана летел,  
Одoleвал упорно и с трудом  
Препятствия...[2],

которые теперь не кажутся мне такими чудесными, пробирали меня буквально до дрожи, а архаичная орфография доставляла особое удовольствие. Что до необходимости описания предметов или событий, то об этом я уже знал все. Словом, понятно, какого рода книги я собирался сочинять (если вообще можно было сказать, что в то время я собирался сочинять книги) – я хотел писать огромные натуралистические романы с несчастливым концом, полные подробных описаний и запоминающихся сравнений, полные пышных пассажей, где сами слова использовались бы отчасти ради их звучания. И в общем-то мой первый завершённый роман «Бирманские дни», который я написал в тридцать лет, но задумал гораздо раньше, во многом такого рода книга.

Я привожу все эти частности, потому что уверен: нельзя постичь мотивов писателя, не зная ничего о том, с чего началось его становление. Содержание творчества будет определяться временем, в котором он живет (во всяком случае, это справедливо по отношению к нашему бурному и революционному веку), но прежде чем он начнет писать, он обязательно выработает эмоциональные оценки, полностью избавиться от которых не сможет уже никогда. Конечно, работа писателя в том и состоит, чтобы выдрессировать свой темперамент, не заострять на какой-либо незрелой стадии своего развития, в неверной тональности, однако если он напроочь избавится от воздействия ранних влияний, то тем самым убьет в себе импульс к творчеству. Не считая необходимости зарабатывать на жизнь, я бы выделил четыре основных мотива, заставляющих писать, по крайней мере писать прозу. В разной степени они присутствуют в каждом писателе, хотя соотношение их у любого пишущего время от времени меняется в зависимости от атмосферы, в которой он живет. Мотивы эти таковы:

1. Чистый эгоизм. Жажда выглядеть умнее, желание, чтобы о тебе говорили, помнили после смерти, стремление превзойти тех взрослых, которые унижали тебя в детстве, и т. д. и т. п. Лицемерием было бы не считать это мотивом. Это мотив, и очень сильный. Писатели делят это чувство с учеными, художниками, политиками, адвокатами, воинами, процветающими бизнесменами, короче, со всем верхним слоем человеческого общества. Огромные массы человеческих существ, в общем, не самолюбивы. Примерно после тридцати лет они утрачивают личные амбиции (а чаще всего почти совсем теряют ощущение индивидуальности) и живут в основном для других или мало-помалу задыхаются от нудной работы. Но среди них всегда есть меньшинство одаренных, упрямых людей, которые полны решимости прожить собственные жизни до конца, и писатели принадлежат именно к этому типу. Я бы сказал, что серьезные писатели в целом более тщеславны и эгоцентричны, чем журналисты, хотя и менее заинтересованы в деньгах.

2. Эстетический экстаз. Восприятие красоты мира или, с другой стороны, красоты

слов, их точной организации. Способность получить удовольствие от воздействия одного звука на другой, радость от крепости хорошей прозы, от ритма великолепного рассказа. Желание, наконец, разделить опыт человечества, который ты считаешь ценным и который, с твоей точки зрения, не должен пропасть. Эстетический мотив очень слаб у многих писателей, но даже у памфлетиста или составителя учебника есть излюбленные словечки и фразы, которые он предпочитает без видимой утилитарной причины, а иногда писатель испытывает особую любовь к рисунку типографского шрифта, к ширине полей и т. п. То есть все книги из тех, что уровнем выше железнодорожного справочника, уже не свободны от эстетических соображений.

3. Исторический импульс. Желание видеть вещи и события такими, каковы они есть, искать правдивые факты и сохранять их для потомства.

4. Политическая цель (мы используем слово «политическая» в самом широком смысле из всех возможных). Желание подтолкнуть мир в определенном направлении, изменить мысли людей относительно того общества, к какому они должны стремиться. И снова: ни одна книга не может быть абсолютно свободна от политической тенденции. Ведь даже мнение, что искусство не должно иметь ничего общего с политикой, уже является политической позицией.

Нетрудно увидеть, как эти мотивы противоборствуют, как передаются они от человека к человеку, от эпохи к эпохе. Я по природе (если называть природой то, чем становится человек, когда впервые начинает считать себя взрослым) тот, в ком три первых мотива должны бы перевешивать четвертый. В мирное и благополучное время я мог бы писать витиеватые или просто описательные книги и мог бы остаться почти в неведении о своих политических привязанностях. Случилось же так, что я вынужден был стать чем-то вроде памфлетиста. Сначала пять лет я занимался неподходящим делом (служил в индийской имперской полиции в Бирме), а потом пережил бедность и ощущение полного провала. Это разожгло свойственную мне ненависть к власти и заставило меня впервые осознать в полной мере существование трудящихся классов, а работа в Бирме дала мне случай разобраться в природе империализма. Разумеется, этого опыта было мало, чтобы у меня сложилась четкая политическая ориентация. Потом пришел Гитлер, разразилась гражданская война в Испании и т. д. К концу 1935 года я все еще не мог принять окончательного решения. Помню небольшое стихотворение, которое выражало вставшую передо мной дилемму:

Священником я мог бы стать  
Две сотни лет назад.  
Пугал бы адом прихожан,  
Имел бы дом и сад.  
Но в злое время я рожден,  
Где райской нет красы.  
К тому ж прелат быть должен брит,  
А у меня – усы.  
Бывала, впрочем, иногда  
Жизнь как счастливый сон.  
Тревоги прятал я свои  
Под сень зеленых крон.  
Невежды, жили мы в мечтах.  
Теперь – весь мир иной.  
А вот тогда – пел дрозд в саду,  
Миря врага со мной.

Девичий стан, и абрикос,  
Плеск рыбы по весне,  
Лёт уток утром, бег коня –  
Все это – лишь во сне.  
Но нынче сны запрещены,  
Таим мы жар души,  
И металлических коней  
Седлают крепыши.  
Как жалкий червь, как евнух я,  
Не пущенный в гарем.  
Я и прелат, и комиссар,  
Иду, и пью, и ем.  
По радио меня зовет  
К победам комиссар,  
Ну а прелат – он мне сулит  
Земной, надежный дар.  
Воздушный замок снился мне...  
В явь вылились мечты.  
Я в этом времени – чужой.  
А Смит? А Джонс? А ты?[3]

Испанская война и другие события 1936–1937 годов нарушили во мне равновесие; с тех пор я уже знал, где мое место. Каждая всерьез написанная мною с 1936 года строка прямо или косвенно была против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимал. В дни вроде наших нелепо, мне кажется, думать, что кто-либо сможет избежать подобных тем. Каждый, под тем или иным соусом, пишет о них. Вопрос заключается лишь в том, какую сторону принимаешь и каким подходам следуешь. И чем больше ты осознаешь свои политические пристрастия, тем больше у тебя возможностей действовать политическими средствами, не принося при этом в жертву свою эстетическую и интеллектуальную целостность.

Чего я больше всего желал последние десять лет, так это превратить политическую литературу в искусство. Исходный рубеж для меня всегда ощущение причастности, чувство несправедливости. И когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: «Хочу создать произведение искусства». Я пишу ее потому, что есть какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, к которому надо привлечь внимание, и главная моя забота – постараться, чтобы меня услышали. Но я не мог бы написать книгу или даже большую журнальную статью, если они не будут одновременно и эстетическим переживанием. Любой, кто возьмет на себя труд проанализировать мое творчество, заметит, что даже там, где звучит откровенная пропаганда, будет много такого, что профессиональный политик сочтет неуместным. Я не могу, да и не хочу, совсем избавляться от того видения мира, которое я вынес из детства. До тех пор, пока я жив и здоров, я не перестану серьезно думать о стиле прозы, любить землю, получать радость от материальных вещей и от осколков того, что принято называть бесполезной информацией. Нет смысла пытаться подавить в себе все это. Задача в другом – в том, чтобы примирить эти присущие мне симпатии и антипатии с общественными по преимуществу, общими действиями, которые наш век неотвратимо возлагает на нас.

Это нелегко. Возникают проблемы композиции и языка, по-новому ставится проблема правдивости. Приведу лишь один пример, показывающий, какие не встречавшиеся ранее трудности возникают при этом. «Дань Каталонии», моя книга о гражданской войне в Испании, конечно же, откровенно политическое произведение, но в основном оно писалось с известной заботой и оглядкой на литературную форму. В ней, не подавляя собственные литературные позывы, я настойчиво пытался рассказать

правду. Но среди прочего в книге этой есть длинная глава, полная выдержек из газет и других материалов, которая защищает троцкистов, обвиненных в то время в сговоре с Франко. Совершенно очевидно, что такая глава спустя год или два должна погасить интерес для любого обыкновенного читателя и погубить саму книгу. Уважаемый мною критик прочел мне об этом целую лекцию. «Зачем вы напичкали книгу всей этой чепухой? – спросил он меня. – Ведь, по сути, вы превратили хорошую книгу в чистейший журнализм». Но я-то знал то, что совершенно невинные люди были ложно обвинены. Если бы я не был возмущен этим фактом, я бы, возможно, никогда не написал бы эту книгу.

В том или ином виде этот вопрос возникает всякий раз. Проблема языка является более тонкой и потребовала бы слишком много времени для обсуждения. Скажу лишь, что в последние годы я старался писать менее живописно и более точно. Во всяком случае, я понял, что, когда вы достигаете совершенства в том или ином стиле письма, вы уже перерастаете его. «Скотный Двор» был первой книгой, в которой я попытался с полным сознанием того, что делаю, сплавить воедино политическую и художественную цели. Вот уже семь лет, как я не написал ни одного романа, но надеюсь, довольно скоро напишу. Он обречен на неудачу, каждая книга – это неудача, но я достаточно ясно представляю себе, что за книгу я хочу написать.

Перечитав последние страницы этой статьи, я обратил внимание, что все здесь выходит так, будто бы в литературе меня вдохновляют только общественные задачи. Мне не хотелось бы, чтобы у читателя сложилось напоследок такое мнение. Все писатели тщеславны, эгоистичны и ленивы, и на самом дне их мотивов всегда лежит тайна. Создание книги – это ужасная, душу изматывающая борьба, похожая на долгий припадок болезненного недуга. Никто не взялся бы за такое дело, если бы его не побуждал какой-то демон, демон, которого нельзя ни понять, ни оказать ему сопротивление. И насколько можно судить, демон этот – тот же инстинкт, который заставляет младенца кричать, привлекая к себе внимание взрослых. В то же время верно и другое – ты не можешь написать ничего интересного, если при этом не пытаешься изо всех сил избавиться от самого себя. Хорошая проза подобна оконному стеклу. Я не могу сказать с уверенностью, какой из моих мотивов к творчеству является сильнейшим, но я знаю, какому из них мне надо следовать. И, оглядываясь на сделанное, я вижу: там, где в моих произведениях отсутствовала политическая цель, там всегда рождались безжизненные книги, а я, их автор, предавался писанию тех самых пышных пассажей, фраз без смысла, красивых эпитетов и заполнял страницы просто банальностями.

1947 г.

#### КАЗНЬ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ

(Перевод М. Теракопян)

В Бирме стоял сезон дождей. Промозглым утром из-за высоких стен в тюремный двор косыми лучами падал слабый, напоминавший желтую фольгу, свет. В ожидании мы стояли перед камерами смертников – перед вереницей похожих на клетки сараев с двумя рядами прутьев вместо передней стенки. Камеры эти, размером примерно десять на десять футов, были почти совершенно пустыми, если не считать дощатой койки и кружки для воды. Кое-где у внутреннего ряда прутьев, завернувшись в одеяла, сидели на корточках безмолвные смуглые люди. Их приговорили к повешению, жить им оставалось неделю или две.

Одного из осужденных уже вывели из камеры. Это был маленький тщедушный индус с бритой головой и неопределенного цвета водянистыми глазами. На лице, как у

комического киноактера, топорщились густые усы, до смешного огромные по сравнению с маленьким туловищем. Все обязанности, связанные с его охраной и подготовкой к казни, были возложены на шестерых стражников-индусов. Двое из них, держа в руках винтовки с примкнутыми штыками, наблюдали, как остальные надевали на осужденного наручники, пропускали через них цепь, которую затем прикрепляли к своим поясам и туго прикручивали ему руки вдоль бедер. Они окружили заключенного плотным кольцом, их руки ни на секунду не выпускали его из осторожных, ласкающих, но крепких объятий, словно ощупывая его, движимые неотступным желанием убедиться, что он никуда не исчез. Подобным образом обычно обращаются с еще трепыхающейся рыбиной, норовящей выпрыгнуть обратно в воду. Осужденный же словно и не замечал происходящего, не оказывал ни малейшего сопротивления, вялые руки покорялись веревке.

Пробило восемь часов, и во влажном воздухе раздался слабый безутешный звук рожка, донесшийся из отдаленных казарм. Услышав его, начальник тюрьмы, который стоял отдельно от нас и с мрачным видом ковырял тростью гравий, поднял голову. Это был человек с хриплым голосом и седой щеточкой усов, военный врач по образованию.

«Ради бога, Фрэнсис, поторопитесь, – раздраженно проговорил он. – Заключенный уже давно должен был быть мертв. Вы что, все еще не готовы?»

Старший надзиратель Фрэнсис, толстый дравид в твидовом костюме и золотых очках, замахал смуглой рукой.

«Нет, сэр, нет, – поспешно проговорил он, – у нас все вполне готово. Палач уже идет. Можем идти».

«Ну что же, тогда пошли поскорее. Пока мы не покончим с этим делом, заключенные не получат завтрака».

Мы направились к виселице. По два стражника с винтовками на плече шагали бок о бок с заключенным, двое других шли сзади вплотную к нему, держа его за руку и плечо, словно одновременно подталкивая и поддерживая. Судьи же и все прочие следовали чуть позади. Пройдя десять ярдов, процессия без какой-либо команды или предупреждения вдруг резко остановилась. Произошло нечто ужасающее: одному богу известно, откуда во дворе появилась собака. С громким лаем она галопом подлетела к нам и принялась скакать вокруг, виляя всем телом, обезумев от радости при виде сразу стольких людей. Это была большая собака с длинной густой шерстью, помесь эрдельтерьера и дворняжки. Какое-то мгновение она с восторгом кружила около нас, а затем, прежде чем кто-нибудь успел помешать ей, рванулась к осужденному и, подпрыгнув, попыталась лизнуть ему лицо. Все застыли в оцепенении, настолько потрясенные, что никто даже не попытался схватить животное.

«Да кто же пустил сюда эту чертову скотину? – со злостью проговорил начальник тюрьмы. – Ну поймайте же ее кто-нибудь!»

Выделенный из эскорта стражник неуклюже бросился ловить собаку, но та подпрыгивала и вертелась, подпуская его совсем близко, однако в руки не давалась, видимо, расценив все это как часть игры. Молодой стражник-индус подхватил горсть гравия и попытался отогнать собаку камнями, но она ловко увернулась и снова бросилась к нам. Радостное тьяканье эхом отдавалось в тюремных стенах. Во взгляде осужденного, которого крепко держали двое стражников, читалось прежнее безразличие, словно происходящее было очередной

формальностью, неизбежно предшествующей казни. Прошло несколько минут, прежде чем собаку удалось поймать. Тогда мы привязали к ошейнику мой носовой платок и снова двинулись в путь, волоча за собой упиравшееся и жалобно скулившее животное.

До виселицы оставалось ярдов сорок. Я смотрел на смуглую обнаженную спину шагавшего впереди меня осужденного. Он шел со связанными руками неуклюжей, но уверенной походкой индусов – не выпрямляя колен. При каждом шаге мышцы идеально точно выполняли свою работу, завиток волос на бритой голове подпрыгивал вверх-вниз, ноги твердо ступали по мокрому гравию. А один раз, несмотря на вцепившихся ему в плечи людей, он шагнул чуть в сторону, огибая лужу на дороге.

Как ни странно, но до этой минуты я еще до конца не понимал, что значит убить здорового, находящегося в полном сознании человека.

Когда я увидел, как осужденный делает шаг в сторону, чтобы обойти лужу, я словно прозрел, осознав, что человек не имеет никакого права оборвать бьющую ключом жизнь другого человека. Осужденный не находился на смертном одре, жизнь его продолжалась, так же как наши. Работали все органы: в желудке переваривалась пища, обновлялся кожный покров, росли ногти, формировались ткани – исправное функционирование организма, теперь уже заведомо бессмысленное. Ногти будут расти и тогда, когда он поднимется на виселицу и когда полетит вниз, отделяемый от смерти лишь десятой долей секунды. Глаза все еще видели и желтоватый гравий, и серые стены, мозг все еще понимал, предвидел, размышлял – даже о лужах. Он и мы вместе составляли единую группу движущихся людей, видящих, слышащих, чувствующих, понимающих один и тот же мир; но через две минуты резкий хруст возвестит, что одного из нас больше нет – станет одним сознанием меньше, одной вселенной меньше.

Виселица располагалась в маленьком, заросшем высокими колючками дворике, отделенном от основного двора тюрьмы. Она представляла собой кирпичное сооружение, напоминающее три стены сарая с дощатым перекрытием сверху, над которым возвышались два столба с перекладиной и болтающейся веревкой. Палач – седой заключенный, одетый в белую тюремную форму, – стоял в ожидании возле своего механизма. Когда мы вошли, он рабски согнулся в знак приветствия. По сигналу Фрэнсиса стражники еще крепче вцепились в узника, то ли подвели, то ли подтолкнули его к виселице и неловко помогли ему взобраться по лестнице. Затем наверх поднялся палач и накинул веревку на шею.

Мы ждали, остановившись ярдах в пяти. Стражники образовали вокруг виселицы нечто, напоминающее круг. Когда на осужденного набросили петлю, он принялся громко взывать к своему Богу. Визгливый, повторяющийся крик: «Рама! Рама! Рама! Рама!», не исполненный ужаса и отчаяния, как молитва или вопль о помощи, но мерный, ритмичный, напоминал удары колокола. В ответ жалобно заскулила собака. Все еще стоявший на помосте палач достал маленький хлопчатобумажный мешочек, похожий на те, что используются для муки, и надел его на голову заключенному. Но приглушенный материей звук все равно повторялся снова и снова: «Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама!»

Палач спустился вниз и, приготовившись, положил руку на рычаг. Казалось, проходили минуты. Ни на миг не прерываясь, равномерные приглушенные крики осужденного раздавались снова и снова: «Рама! Рама! Рама!» Начальник тюрьмы, склонив голову на грудь, медленно ковырял тростью землю; возможно, он считал крики, отпустив осужденному лишь определенное число их, – может, пятьдесят,

может, сто. Лица у всех изменились. Индусы посерели, как плохой кофе, один или два штыка дрожали. Мы смотрели на стоявшего на помосте связанного человека с мешком на голове, слушали его приглушенные крики – каждый крик – еще один миг жизни, и у всех у нас было одно и то же желание: ну убейте же его поскорее, сколько можно тянуть, оборвите этот жуткий звук.

Наконец начальник тюрьмы принял решение. Резко подняв голову, он быстро взмахнул тростью.

«Чало», – выкрикнул он почти яростно.

Раздался лязгающий звук, затем тишина. Осужденный исчез, и только веревка закручивалась как бы сама по себе. Я отпустил собаку, которая тут же галопом помчалась за виселицу, но, добежав, остановилась, как вкопанная, залаяла, а потом отступила в угол двора. И, затаившись между сорняками, испуганно поглядывала на нас. Мы обошли виселицу, чтобы осмотреть тело. Раскачивавшийся на медленно вращающейся веревке осужденный – носки оттянуты вниз – был без сомнения мертв.

Начальник тюрьмы поднял трость и ткнул ею в голое оливковое тело, которое слегка качнулось.

«С ним все в порядке», – констатировал начальник тюрьмы. Пятясь, он вышел из-под виселицы и глубоко вздохнул. Мрачное выражение как-то сразу исчезло с его лица. Он бросил взгляд на наручные часы: «Восемь часов восемь минут. Ну, на утро, слава богу, все».

Стражники отомкнули штыки и зашагали прочь.

Догадываясь, что плохо вела себя, присмиревшая собака незаметно шмыгнула за нами. Мы покинули дворик, где стояла виселица, и, миновав камеры смертников с ожидавшими конца обитателями, вышли в большой центральный двор тюрьмы. Заключенные уже получали завтрак под надзором стражников, вооруженных бамбуковыми палками с железными наконечниками. Узники сидели на корточках длинными рядами с жестяными мисками в руках, а два стражника с ведерками ходили между ними и накладывали рис; эту сцену было так приятно и радостно созерцать после казни. Теперь, когда дело было сделано, мы испытывали невероятное облегчение. Хотелось петь, бежать, смеяться.

Шагавший подле меня молодой метис с многозначительной улыбкой кивнул в ту сторону, откуда мы пришли: «А знаете, сэр, наш общий друг (он имел в виду казненного), узнав, что его апелляцию отклонили, помочился в камере прямо на пол. Со страху. Не угодно ли сигарету, сэр? Разве не восхитителен мой новый серебряный портсигар, сэр!»

Несколько человек смеялись, похоже, сами не зная над чем. Шедший рядом с начальником тюрьмы Фрэнсис без умолку болтал. «Ну вот, сэр, ффсе прошло так, что и при-драться не к чему. Раз – и готово! Соффсем не ффсегда так бывает, не-нет, сэр! Помню, бывало и такое, что доктору приходилось лезть под виселицу и дергать повешенного за ноги, чтоб уж наверняка скончался. В высшей степени неприятно!»

«Трепыхался, а? Уж чего хорошего», – сказал начальник тюрьмы.

«Ах, сэр, куда хуже, если они вдруг заупрямятся. Один, помню, когда мы пришли за



ним в камеру, фцепился в прутья решетки. И не поверите, сэр, чтобы его оторвать, потребовалось шесть стражников, по трое тянули за каждую ногу. Мы взывали к его разуму. „Ну, дорогой, – говорили мы, – подумай, сколько боли и неприятностей ты нам доставляешь“. Но он просто не желал слушать! Да, с ним пришлось повозиться!»

Я вдруг обнаружил, что довольно громко смеюсь. Хохотали все. Даже начальник тюрьмы снисходительно ухмылялся.

«Пойдемте-ка выпьем, – радушно предложил он.– У меня в машине есть бутылочка виски. Нам бы не помешало».

Через большие двустворчатые ворота тюрьмы мы вышли на дорогу. «Тянули его за ноги!» – внезапно воскликнул судья-бирманец и громко хмыкнул. Мы снова расхохотались. В этот миг рассказ Фрэнсиса показался невероятно смешным. И коренные бирманцы, и европейцы – все мы вполне по-дружески вместе выпили. От мертвеца нас отделяла сотня ярдов.

1931 г.

#### КАК Я СТРЕЛЯЛ В СЛОНА

(Перевод М. Теракопян)

В Моламьайне, в Нижней Бирме, я стал объектом ненависти многих людей; с той поры моя персона уже никогда не имела столь важного значения. В городе, где я занимал пост окружного полицейского, ясно ощущались резкие антиевропейские настроения, правда, проявлявшиеся как-то бесцельно и мелко. Выступить открыто не хватало духу, а вот если белой женщине случалось одной пройти по базару, платье ее часто оказывалось забрызганным соком бетели. Как полицейский офицер, я неизбежно становился мишенью для оскорблений, коим и подвергался всякий раз, когда представлялась возможность сделать это безнаказанно. Если на футбольном поле какой-нибудь шустрый бирманец подставлял мне подножку, а судья, тоже бирманец, демонстративно смотрел в противоположную сторону, толпа разражалась отвратительным хохотом. Такое происходило не один раз. В конце концов эти повсюду встречавшиеся мне насмешливые желтые физиономии молодых парней, эти оскорбления, летевшие вдогонку, когда я уже успевал удалиться на безопасное расстояние, начали изрядно действовать мне на нервы. Но невыносимее всего были молодые буддистские проповедники. В городе их насчитывалось несколько тысяч, и возникало впечатление, что у всех у них было одно-единственное занятие – устроившись на уличных углах, глумиться над европейцами.

Все это смущало и расстраивало меня. Уже тогда я осознал, что империализм есть зло и чем скорее я покончу со службой и распрощаюсь со всем этим, тем лучше. Теоретически и, разумеется, негласно я безоговорочно вставал на сторону бирманцев в их борьбе против угнетателей-англичан. Что же касается службы, то к ней я питал столь лютую ненависть, что, наверное, даже выразить не смогу. На такой должности вплотную сталкиваешься с грязной работой всей имперской машины. Скорчившиеся бедолаги в похожих на клетки вонючих камерах предварительного заключения, посеревшие, запуганные лица приговоренных к длительному сроку, шрамы на ягодицах мужчин, подвергшихся избиению бамбуковыми палками – все это вызывало во мне нестерпимое, гнетущее чувство вины. Мне никак не удавалось расставить все по своим местам. Я был молод, мало образован, в проблемах своих вынужден был разбираться сам, находясь в том полном одиночестве, которым Восток окружает любого англичанина. Я даже не подозревал, что Британская империя умирает, и тем

более не ведал, что она все же гораздо лучше, чем молодые, теснящие ее конкуренты. Зато я знал, что мне, с одной стороны, никуда не уйти от ненависти к Британской империи, чьим солдатом я был, а с другой – от ярости, вызываемой во мне этими маленькими злобными зверьками, стремившимися превратить мою службу в ад.

Британское владычество в Индии представлялось мне незыблемой тиранией, *in saecula saeculorum*[4], подчинившей себе сломленные народы; и тем не менее я бы с величайшей радостью пырнул штыком какого-нибудь буддистского проповедника. Такие чувства естественно возникают как побочный продукт империализма; спросите любого английского чиновника в Индии, если сможете поймать его в неслужебное время.

И вот однажды произошло нечто, косвенным образом прояснившее многое. Внешне то был лишь малозначительный инцидент, но мне он позволил яснее, чем раньше, увидеть сущность империализма, истинные мотивы, движущие деспотичными правительствами. Однажды рано утром младший полицейский инспектор позвонил мне по телефону из полицейского участка, расположенного на другом конце города, и сообщил, что на базаре бесчинствует слон. Не мог ли я прийти и предпринять что-нибудь? Я не знал, какая от меня может быть польза, но мне хотелось посмотреть, что происходит, и, взгрозившись на пони, я отправился в путь. С собой я прихватил винтовку, старый винчестер сорок четвертого калибра; слона из него, конечно же, не убить, но вдруг пригодится пошуметь *in terrorem*[5]. По дороге меня то и дело останавливали и рассказывали, что натворил слон. Это был, конечно же, вовсе не дикий, а домашний слон, у которого просто начался период «муста»[6]. Его, как и всех домашних слонов, перед наступлением «муста» посадили на цепь, но прошлой ночью он сорвался и сбежал. В таком состоянии со слоном, кроме погонщика, никому не справиться, но тот, пустившись за беглецом, выбрал неверное направление и теперь находился в двенадцати часах ходьбы отсюда; слон же неожиданно утром вновь объявился в городе. Безоружные бирманцы были перед ним совершенно беззащитны. А слон между тем уже снес чью-то бамбуковую хижину, убил корову и совершил налеты на фруктовые ларьки, поглощая при этом съестные припасы; вдобавок ко всему он столкнулся с муниципальным мусорным фургоном, который был им опрокинут и изрядно помят, после того как возница выскочил и пустился наутек.

В квартале, где видели сбежавшего слона, меня ждал младший инспектор-бирманец и несколько констеблей-индусов. То был нищий квартал, где по крутому склону карабкался вверх лабиринт грязных, убогих бамбуковых лачуг, крытых пальмовыми листьями. Помню, утро было пасмурное и душное – самое начало сезона дождей. Мы принялись расспрашивать, куда направился слон, и, как обычно, ничего не могли узнать толком. На Востоке вечно так: издали история представляется вполне ясной, но чем ближе к месту событий, тем она туманнее. Одни говорили: слон пошел туда; другие – сюда; третьи уверяли, что и слыхом не слыхали ни про какого слона. Я уже совсем было решил, что в этой истории нет ничего, кроме нагромождения лжи, когда где-то совсем рядом раздались пронзительные крики. С рассерженными возгласами: «Пошли отсюда! Пошли вон немедленно!» – из-за угла появилась старуха с хлыстом в руке, прогонявшая стайку голых ребятишек. За ней следовало несколько причитавших и охавших женщин; очевидно, там произошло нечто такое, чего детям видеть не полагалось. Обогнув хижину, я увидел расprostертое в грязи тело человека. Это был почти обнаженный индус-дравид. По-видимому, смерть настигла смуглого кули[7] лишь несколько минут назад. Очевидцы говорили, что слон наткнулся на него, огибая лачугу; обхватив жертву хоботом и надавив ногой на спину, он проволоч его по земле. Был сезон дождей, и лицо индуса пропахало в размякшей почве канавку в фут глубиной и пару ярдов длиной. Он лежал на животе,

раскинув руки, с головой, вывернутой набок. Покрытое слоем грязи лицо с широко открытыми глазами и обнажившимися словно в ухмылке зубами выражало нестерпимую муку. (Кстати, не пытайтесь убедить меня, что мертвые выглядят умиротворенными. Почти все трупы, которые мне доводилось видеть, оставляли жуткое впечатление.) Нога огромного животного аккуратно содрала со спины несчастного кожу – так свежуют кроликов. Увидев труп, я тут же отправил ординарца к своему другу, дом которого находился неподалеку, за винтовкой, пригодной для охоты на слона. Еще раньше я отослал обратно пони, так как мне совсем не хотелось, чтобы, почуяв слона, он ошалел от испуга и сбросил меня.

Через несколько минут вернулся ординарец с винтовкой и пятью патронами, тут же подоспели несколько бирманцев, сообщивших, что слон пасется внизу на рисовых полях, всего в нескольких сотнях ярдов от нас. Стоило мне двинуться вперед, как едва ли не все население квартала высыпало на улицу и устремилось за мной. Они заметили винтовку и теперь в радостном возбуждении кричали, что я иду убивать слона. Пока тот опустошал их дома, они не проявляли особого интереса, но теперь слона собирались застрелить – и это было совсем другое дело. Они отнеслись к происходящему, как к развлечению, – толпа англичан, должно быть, реагировала бы точно так же – помимо всего прочего они еще надеялись на дармовое мясо. От этого мне стало как-то не по себе. В мои намерения вовсе не входило убивать слона – и винтовка-то нужна была мне только для самозащиты, так, на всякий случай, и потом – всегда теряешься, если за тобой наблюдает толпа. Как дурак, коим я себя и чувствовал, я вышагивал вниз по склону с винтовкой на плече, а следовавшее за мной по пятам скопище напиравших друг на друга людей непрерывно росло. Внизу, оставляя домики далеко в стороне, пролегалась посыпанная щебнем дорога, а за ней на тысячу ярдов в ширину раскинулись болотистые, размокшие от первых дождей, поросшие дикой травой, еще не вспаханные рисовые поля. Слон стоял в восьми ярдах от дороги, повернувшись к нам левым боком. На подступавшую толпу он не обратил ни малейшего внимания. Он выдергивал пучки травы, ударял ими по колену, стряхивая землю, и засовывал в рот.

На дороге я остановился. Увидев слона, я уже внутренне решил, что не должен стрелять в него. Убийство рабочего слона – дело очень серьезное, сравнимое с уничтожением большого дорогостоящего механизма, и совершенно очевидно, что прибегать к этому следует лишь при крайней необходимости. На таком расстоянии мирно пасшийся слон, казалось, представлял не большую опасность, чем корова. Тогда я подумал – и не изменил своего мнения поныне, – что период «муста» у него уже кончился и поэтому, наверное, он так и будет тихо-мирно бродить, пока подоспевший погонщик не изловит его. Более того, я не испытывал никакого желания убивать животное. Хотелось немного понаблюдать за слоном, убедиться, что он не расщереет вновь и отправится восвояси.

Но в это самое мгновение я обернулся и взглянул на сопровождавшую меня толпу. То была огромная масса людей, по меньшей мере тысячи две, которая с каждой минутой все прибывала. Она далеко запрудила дорогу по обе стороны. Передо мной расстилалось море пестрых одежд, на фоне которого явственно выделялись радостные и возбужденные в предвкушении небольшого развлечения желтые лица людей, уверенных в неминуемой смерти слона. Они следили за мной, как следили бы за иллюзионистом, готовившимся показать фокус. Они не любили меня, но сейчас с магической винтовкой в руках я был объектом, достойным наблюдения. Внезапно я осознал, что рано или поздно, но слона все-таки придется прикончить. От меня этого ждали, и я обязан был это сделать; я почти физически ощущал, как две тысячи волей неудержимо подталкивали меня вперед. Именно тогда, когда я стоял там с винтовкой в руках, мне впервые открылась вся обреченность и бессмысленность

владычества белого человека на Востоке. Вот я, европеец, стою с винтовкой перед безоружной толпой туземцев, как будто бы главное действующее лицо спектакля, фактически же – смехотворная марионетка, дергающаяся по воле смуглолицых людей у меня за спиной. Мне открылось, что, становясь тираном, белый человек наносит смертельный удар по своей собственной свободе, превращается в претенциозную, насквозь фальшивую куклу, в некоего безликого сахиба[8]. Ибо условие его господства состоит в том, чтобы непрерывно производить впечатление на туземцев и своими действиями в любой критической ситуации оправдывать их ожидания. Постоянно скрытое маской его лицо со временем неотвратно сливается с нею. Я неизбежно должен был застрелить слона. Послав за винтовкой, я приговорил себя к этому. Сахиб обязан вести себя так, как подобает сахибу: должен быть решительным, точно знать, чего хочет, действовать в соответствии со своей ролью. Прodelать такой путь с винтовкой в руках во главе двухтысячной толпы и, ничего не предприняв, беспомощно заковылять прочь – нет, об этом не может быть и речи. Они станут смеяться. А вся моя жизнь, как и жизнь любого европейца на Востоке – это борьба за то, чтобы не быть посмешищем.

Мне не хотелось убивать слона. Я смотрел, как он со свойственной слонам добродушной озабоченностью ударяет пучками травы по колену. В этот миг казалось, что выпустить в него пулю – все равно что совершить гнусное и жестокое человекоубийство. Тогда я еще не проявлял излишней щепетильности в охоте, но раньше мне никогда не приходилось – да и не хотелось – стрелять в слона (почему-то всегда кажется, что убивать больших животных хуже). К тому же нужно было принять во внимание интересы владельца животного. Живой слон стоил по крайней мере сто фунтов, цена за мертвого определяется ценой его бивней, то есть, возможно, пятью фунтами. Между тем требовалось действовать быстро. Я обратился к нескольким опытным с виду бирманцам, пришедшим раньше нас, и справился о поведении слона. Они повторяли одно и то же: пока к нему не пристают, он ни на кого не обращает внимания, но если подойти слишком близко, может напасть.

Я ясно представлял себе, как следовало поступить. Я подойду к слону, ну, скажем, ярдов на двадцать пять, и посмотрю, как он поведет себя. Если бросится на меня, я выстрелю, если не обратит внимания, спокойно оставлю на месте до прибытия хозяина. Но в то же время я понимал, что ничего подобного не сделаю. Я плохо стреляю из винтовки, земля к тому же превратилась в вязкую грязь, в которую нога проваливается при каждом шаге. Если слон бросится на меня, а я промахнусь, шансов у меня будет не больше, чем у жабы под дорожным катком. Даже тогда я не особенно тревожился о собственной шкуре, зато ни на миг не забывал о смуглых лицах у меня за спиной. Чувствуя на себе взгляды толпы, я не испытывал страха в обычном смысле слова, какой испытывал бы, будь я один. Европеец не смеет проявлять признаков страха на глазах у туземцев, поэтому чаще всего он и не боится. Волновала лишь одна мысль: если я оскандаюсь, две тысячи бирманцев увидят, как я буду настигнут, схвачен и растоптан, превращен, как индус на холме, в ухмыляющийся труп. Вполне вероятно, что, произойди такое, многие из них будут смеяться. Нет, так дело не пойдет. Оставался только один путь. Я заправил патроны в магазин и лег на дорогу, чтобы лучше прицелиться.

Толпа замерла, и из неисчислимых глоток вырвался глубокий, низкий, счастливый вздох, словно у людей, дождавшихся наконец поднятия занавеса. Значит, все-таки потеха будет. Винтовка была великолепная, немецкая, с оптическим прицелом. Тогда я еще не знал, что, стреляя в слона, нужно целиться в мысленно проведенную между ушными отверстиями линию. Раз слон стоял боком, бить следовало прямо в ушное отверстие, я же прицелился на несколько дюймов левее, полагая, что именно там и

расположен мозг.

Спустив курок, я не услышал выстрела и не почувствовал отдачи – обычное явление, когда пуля попадает в цель – зато я услышал дьявольский торжествующий рев, взметнувшийся над толпой. И почти тут же – казалось, пуля не могла столь быстро достигнуть цели – со слоном произошла таинственная жуткая перемена. Он не пошевельнулся, не упал, но изменилась каждая линия его тела. Он вдруг показался больным, сморщенным, невероятно старым, словно страшный, хотя и не поваливший наземь удар пули парализовал его. Прошло, казалось, бесконечно много времени – на самом деле секунд пять – прежде чем он грузно осел на колени. Из рта потекла слюна. Он как-то неимоверно одряхлел. Нетрудно было бы представить, что ему не одна тысяча лет. Я вновь выстрелил в ту же точку. Он не рухнул и после второго выстрела, напротив, с огромным трудом невероятно медленно поднялся и, ослабевший, с безвольно опущенной головой выпрямился на подгибающихся ногах. Я выстрелил в третий раз. Этот выстрел оказался для него роковым. Все тело слона содрогнулось от нестерпимой боли, ноги лишились последних остатков сил. Падая, он словно приподнялся: подогнувшиеся под его тяжестью ноги и устремленный ввысь хобот делали слона похожим на опрокидывающуюся громадную скалу с растущим на вершине деревом. Он протрубил – в первый и последний раз. А потом повалился брюхом ко мне, с глухим стуком, от которого содрогнулась вся земля, казалось, даже там, где я лежал.

Я встал. Бирманцы мчались по грязи мимо меня. Было ясно, что слону уже никогда не подняться, но он еще жил. Он дышал очень ритмично, шумно, с трудом вбирая воздух; его огромный, подобный холму бок болезненно вздымался и опускался. Рот был широко открыт, и я мог заглянуть далеко в глубину бледно-розовой пасти. Я долго медлил в ожидании смерти животного, но дыхание не ослабевало. В конце концов я выпустил два оставшихся у меня патрона туда, где, по моим представлениям, находилось сердце. Из раны хлынула густая, как красный бархат, кровь, но слон еще жил. Его тело даже не дрогнуло, когда пули ударили в него; все так же без остановок продолжалось затрудненное дыхание. Он умирал безумно мучительно и медленно, существуя в каком-то другом, далеком от меня мире, где даже пуля уже бессильна причинить большой вред. Я почувствовал, что должен оборвать этот ужасающий шум. Невыносимо было видеть огромного, поверженного, не могущего ни шевельнуться, ни умереть, зверя и сознавать, что не в состоянии даже прикончить его.

Я послал за своей малокалиберной винтовкой и принялся выпускать пулю за пулей в сердце и в горло. Но слон вроде бы и не замечал их. Мучительное шумное дыхание продолжалось все так же ритмично, напоминая работу часового механизма.

Наконец, не в силах больше вынести этого, я ушел. Потом я узнал, что прошло полчаса, прежде чем слон умер. Но еще до моего ухода бирманцы стали приносить корзинки и большие бирманские ножи; рассказывали, что к вечеру от туши не осталось почти ничего, кроме скелета.

Позднее, конечно же, убийство слона стало темой бесконечных споров. Хозяин слона бушевал, но ведь это был всего лишь индус, и сделать он, естественно, ничего не мог. К тому же юридически я был прав, поскольку разбушевавшийся слон, подобно бешеной собаке, должен быть убит, если его владелец почему-либо не в состоянии справиться с ним.

Среди европейцев мнения разделились. Пожилые сочли мое поведение правильным, молодые же говорили, что чертовски жаль застрелить слона только потому, что он

убил кули – ведь слон куда ценнее любого чертового кули в Карене. Сам я был несказанно рад свершившемуся убийству кули, ведь в этом случае с юридической точки зрения я действовал в рамках закона и имел все основания застрелить животное. Я часто задаюсь вопросом, понял ли кто-нибудь, что мной руководило единственное желание – не оказаться посмешищем.

1936 г.

#### ВОСПОМИНАНИЯ КНИГОТОРГОВЦА

(Перевод В. Чаликовой)

Когда я работал в букинистическом магазине (том самом, что со стороны представляется маленьким раем, где обаятельный старый джентльмен вечно роется в кожаных фолиантах), меня больше всего поражало, как мало настоящих любителей книги. В нашем магазине были очень интересные фонды, но едва ли десять процентов наших покупателей отличали хорошую книгу от плохой. Снобы, гонящиеся за первыми изданиями, попадались гораздо чаще, чем любители литературы; много было восточных студентов, приценивающихся к дешевым хрестоматиям, но больше всего – растерянных женщин, ищущих подарки ко дню рождения племянников.

Большинство наших посетителей были из тех, что досаждают везде, но книжные магазины для них особенно привлекательны. Например, славная старая леди, которой «нужна книга для инвалида» (кстати, очень распространенная просьба), или другая почтенная леди, которая прочитала «такую замечательную книгу» в 1897 году и спрашивает, не можем ли мы ее достать. К несчастью, она не помнит ни названия, ни автора, ни содержания, но вспоминает, что у книги был красный переплет. Есть еще два хорошо известных типа людей, тиранивших каждый букинистический магазин. Один – опустившийся старик, пахнущий заплесневелыми сухарями, который приходит ежедневно, порой по нескольку раз в день и пытается продать вам никому не нужные книги. Другой заказывает огромное количество книг, за которые не имеет ни малейшего намерения платить. В нашем магазине ничего не продавалось в кредит, но мы могли откладывать книги или заказывать их для людей, которые обязывались их вернуть. Почти половина тех, кто заказывал у нас книги, никогда за ними не приходила. Сначала это поражало меня. Зачем они это делали? Они приходили, заказывали редкие, дорогие книги, напоминали нам о них несколько раз и потом исчезали навсегда. Многие из них, конечно, были чистыми параноиками. Они говорили о себе в выпрленном тоне и рассказывали самые трогательные истории о том, как они вышли из дому без денег, – истории, в которые они, по-моему, верили сами. В таких городах, как Лондон, всегда много полусумасшедших, слоняющихся по улицам; их словно притягивает к книжным магазинам – одному из немногих мест, где можно долго пробыть бесплатно. Со временем научаешься узнавать таких людей с первого взгляда. За их выпрненными речами проглядывает что-то убогое и растерянное. Очень часто, когда приходил очевидный параноик, мы убирали с полок книги, которые он требовал, и ставили их на место, когда он уходил. Я заметил, что никто из них не пытался унести книги, не заплатив; им достаточно было заказать, чтобы почувствовать себя платежеспособными людьми.

Как и большинство букинистических магазинов, мы делали разную побочную работу. Мы продавали подержанные пишущие машинки или, например, марки – я имею в виду использованные марки. Собиратели марок – это странное, молчаливое племя всех возрастов, но только мужского пола: очевидно, женщины не видят особой прелести в заполнении альбомов клейкими кусочками разноцветной бумаги. Мы продавали также шестипенсовые гороскопы, составленные неким субъектом, который уверял, что ему удалось предсказать землетрясение в Японии. Они были в запечатанных конвертах,

ни один из них я ни разу не распечатал. Покупатели часто рассказывали, какими «правильными» оказались их гороскопы (разумеется, гороскоп «прав», если он говорит, что вы очень привлекательны для противоположного пола, а главный ваш недостаток – щедрость). Мы делали хороший бизнес на детских книгах, особенно на «распродажах». Современные детские книги ужасны, особенно в массе. Лично я скорее дал бы ребенку Петрония Арбитра, чем «Питера Пэна», но даже Барри кажется мужественным и цельным по сравнению с его позднейшими имитаторами. Под рождество мы проводили десять лихорадочных дней, рассылая рождественские открытки и календари – это дело утомительное, но в конечном счете прибыльное. Это дало мне возможность познакомиться с грубым цинизмом, с которым эксплуатировались христианские чувства. Фирмы, производящие рождественские открытки, присылали нам свои каталоги еще в июне. В моей памяти застряла одна строчка из накладной квитанции: «Две дюжины Иисуса-младенца с кроликами».

Но главным нашим побочным промыслом была библиотека – обычная библиотека, из тех, что «ни пени в залог», в пять-шесть сотен томов исключительно художественной литературы. К таким библиотекам равнодушны книжные воры. Нет ничего проще, как украсть в одной библиотеке книгу за два пенса и, стерев цену, продать ее в другой за шиллинг. Тем не менее книжные продавцы считают, что выгоднее лишиться части книг (у нас уносили около дюжины в месяц), чем отпугнуть клиентов требованием залога.

Наш магазин был расположен на границе Хэмпстэда и Кэмден-тауна и посещался кем угодно: от баронетов до автобусных кондукторов. Читатели нашей библиотеки, возможно, были срезом читающей публики Лондона. Поэтому небезынтересно, кто был самым «востребованным» автором нашей библиотеки. Пристли? Хемингуэй? Уолпол? Уодхауз? Нет! Этель М. Делл – на первом, Уорвик Дипинг – на втором и Джеффри Фарнол на третьем месте. Романы Делл читали, конечно, только женщины, но женщины всех типов и возрастов, а не только тоскующие старые девы и толстые вдовы табачных киоскеров, как принято считать. Неверно, что мужчины вообще не читают романов, но есть тип романа, который они избегают. Так называемый средний роман – то есть обычный, плохо-хороший, разбавленный Голсуорси, ставший нормой английского романа, – кажется, существует только для женщин. Мужчины читают или солидные романы, или детективы. Но потребляют они детективы в чудовищном количестве. Один из наших читателей поглощал четыре-пять детективов в неделю в течение года только в нашей библиотеке (он брал их и в другой!). Больше всего меня удивляло, что он никогда не перечитывал книг. Весь этот внушительный поток макулатуры (прочитанные им за год страницы, я думаю, могли покрыть собой три четверти акра) навсегда оседал в его памяти. Не запоминая ни названий, ни авторов, он, едва взглянув на книгу, определял, прочитана ли она.

В библиотеке вы познаете реальные вкусы людей, а не их вкусовые претензии и удивляетесь полному забвению классических английских романистов. Совершенно бесполезно держать в обыкновенной библиотеке Диккенса, Теккерея, Джейн Остин, Треллопа и т. п. – их никто не возьмет. Едва открыв роман девятнадцатого века, люди говорят: «О, это старье!» – и немедленно закрывают его. Однако продать Диккенса и Шекспира почти всегда нетрудно. Диккенс – один из тех авторов, которого люди всегда «собираются прочитать» и о котором, как о Библии, имеют некоторое представление. Они знают понаслышке, что Билл Сикс был вор-взломщик и что мистер Микобер был лысым, так же как они знают понаслышке, что Моисей был найден в камышовой корзине и что он закрыл свое лицо, чтобы не смотреть на Бога... Другая бросающаяся в глаза вещь – растущая непопулярность американских книг. И еще одна – издатели испытывают ее последствия каждые два-три года – непопулярность коротких рассказов. Люди, приходящие в библиотеку, обычно

начинают со слов: «Только не короткий рассказ» или, как говорил один наш немецкий завсегда: «Я не желаю читать маленькие рассказы!». Если вы поинтересуетесь, почему, вам ответят, что утомительно каждый раз знакомиться с новыми персонажами, а вот когда «войдешь» в роман в первой главе, дальше уже все знакомо. Я все же думаю, что здесь скорее виноваты писатели, чем читатели. Многие современные рассказы, английские и американские, более безжизненны и тусклы, чем романы. Настоящие рассказы достаточно популярны – рассказы Д. Лоуренса читаются так же, как его романы.

Хотел ли я быть профессиональным продавцом книг? В конечном счете – несмотря на доброту моего хозяина и счастливые дни, которые я провел там, – нет.

Достаточный и разумно используемый капитал дает возможность образованному человеку обойтись без этого. Тем не менее туда идут в поисках «редких» книг. Научиться этому делу несложно, а если вы что-то знаете о содержании книг, то это сразу обеспечивает успех. (Большинство продавцов книг не знают. Это легко обнаружить, посмотрев их заказы. Если вы не встретите там «Упадок и разрушение» Босуэлла, то уж обязательно встретите «Мельницу на Флоссе» Т. Элиота.) К тому же это гуманная профессия, которую можно вульгаризировать только до определенной степени. Синдикаты никогда не смогут вытеснить маленького независимого книготорговца, как они вытеснили бакалейщика и молочника. Но рабочий день там очень долог; я был там занят только часть дня, но мой хозяин работал 70 часов в неделю, не считая постоянных поездок за книгами. Это нездоровая работа: как правило, в книжном магазине холодно, потому что в тепле окна запотевают, а окна – это витрина. К тому же ни один предмет не собирает столько ядовитой пыли, как книги, и нигде так охотно не умирают мухи, как на книжных корешках. Но главное, из-за чего я не выбрал профессию книжного продавца, – то, что именно там я перестал любить книги. Обманывая покупателей, продавец переносит на книги связанные с этим неприятные ощущения; еще острее они оттого, что приходится постоянно протирать книги и переставлять их с места на место. Когда-то я действительно любил книги – любил их вид, их запах, прикосновение к ним, особенно если они были старше полувека. Не было большей радости, чем купить кучу книг за шиллинг на деревенском аукционе. Есть особая прелесть в потрепанных неожиданных находках этой коллекции: забытые поэты восемнадцатого века; газеты прошлых лет; разрозненные тома забытых романов; подшивки женских журналов «шестидесятых». Для случайного чтения – например, в ванне, или поздно ночью, когда вы так устали, что не можете уснуть, или в случайно выпавшие четверть часа перед ланчем – нет ничего лучше последнего номера «Газеты для девочек». Но с тех пор, как я стал работать в книжном магазине, я перестал покупать книги. Когда их видишь постоянно, массой в пять-десять тысяч томов, книги утомляют и даже слегка надоедают. Теперь я покупаю их по одной, от случая к случаю, и это всегда книга, которую я хочу прочитать и не могу ни у кого занять. И я никогда не покупаю старья. Сладостный запах ветхой бумаги потерял для меня свое очарование. В моем сознании он слишком близко связан с параноидальными посетителями и мертвыми мухами.

1936 г.

ПАМЯТИ КАТАЛОНИИ (главы из книги)

(Перевод В. Воронина)

После обычных проволок – «таһана, таһана»[9] – 25 апреля нас наконец сменил другой отряд; мы передали его бойцам винтовки, собрали свои вещмешки и строем двинулись назад, в Монфлорите. Я без сожаления покидал передовую. Вши плодились



в моих брюках гораздо быстрее, чем я успевал истреблять их; целый месяц я ходил без носков, сносив последнюю пару, а ботинки у меня совершенно стоптались, так что я ходил почти что босиком. Я мечтал принять горячую ванну, надеть чистую одежду и выспаться на свежих простынях так страстно, как не мечтал ни о чем, живя нормальной, цивилизованной жизнью. В Монфлорите мы переночевали в амбаре; поднявшись после недолгого сна еще затемно, мы влезли в кузов грузовика, идущего в Барбастро, и поспели к пятичасовому поезду. Удачно пересев в Лериде на скорый, мы прибыли в Барселону в три часа пополудни 26 апреля. А вскоре грянула беда.

...После нескольких месяцев лишений я жаждал насладиться вкусной едой, вином, коктейлями, американскими сигаретами и прочими благами и, признаться, купался в роскоши, насколько это мне было по карману. В течение первой недели отпуска я предавался нескольким занятиям, которые пристрастным образом влияли друг на друга. Во-первых, я всячески наслаждался жизнью. Во-вторых, всю ту неделю я слегка прихварывал из-за того, что слишком уж увлекался едой и питьем. Почувствовав себя не вполне здоровым, я ложился в постель, через полдня вскакивал, снова объедался и снова заболел. Одновременно с этим я вел тайные переговоры о приобретении револьвера. Револьвер мне был нужен позарез: в окопной войне от него куда больше проку, чем от винтовки. Добыть же его было делом чрезвычайной трудности. Правительство выдавало револьверы полицейским и офицерам Народной армии, но отказывалось выдавать их милиции; поэтому нам приходилось незаконным образом покупать их в подпольных арсеналах анархистов. После долгих хлопотливых поисков один мой приятель-анархист сумел-таки раздобыть для меня миниатюрный автоматический пистолет – жалкое оружие, бесполезное при стрельбе на расстоянии больше пяти ярдов, но все же лучше, чем ничего. А помимо всего этого я подготавливал почву для того, чтобы выйти из милиции ПОУМ и вступить в какую-нибудь другую часть, в составе которой меня наверняка отправят на Мадридский фронт.

Я уже давно говорил всем о своем намерении покинуть ряды милиции ПОУМ. Если руководствоваться сугубо личными симпатиями, я предпочел бы записаться к анархистам. Став членом НКТ, можно было вступить в милицию ФАИ[10], но, как мне сказали, ФАИ, вероятнее всего, послала бы меня не под Мадрид, а под Теруэль. Для того чтобы отправиться в Мадрид, мне надо было вступить в Интернациональную бригаду, а для этого требовалось получить рекомендацию члена коммунистической партии. Я отыскал приятеля-коммуниста, прикомандированного к испанской санитарной службе, и объяснил ему мою ситуацию. Он, кажется, загорелся желанием завербовать меня и попросил, чтобы я, если будет возможно, уговорил еще кого-нибудь из англичан, связанных с НРП[11], перейти вместе со мной. Будь у меня получше со здоровьем, я бы, наверное, тут же согласился. Сейчас трудно сказать, что бы изменилось для меня в результате. Вполне возможно, что меня послали бы в Альбасете еще до начала боев в Барселоне; в таком случае я, не увидев боев собственными глазами, мог бы принять за чистую монету официальную версию событий. С другой стороны, если бы я задержался в Барселоне, находясь уже в подчинении у коммунистов, но по-прежнему питая чувство личной преданности моим товарищам из ПОУМ, я оказался бы в труднейшем положении. Но впереди у меня была еще одна неделя отпуска, и мне хотелось окончательно поправиться перед возвращением на передовую. К тому же – вот такие мелочи всегда решают судьбу человека! – я должен был дожидаться, пока сапожники сошьют мне на заказ новую пару походных сапог. (Во всей испанской армии не нашлось достаточно большой пары сапог, которая пришлась бы мне по ноге.) Я сказал своему другу-коммунисту, что окончательно договорюсь с ним позднее. А пока я хотел отдохнуть. Я даже вынашивал идею махнуть с женой на два-три дня куда-нибудь на взморье. Прекрасная идея! Предгрозовая политическая атмосфера должна была бы предостеречь меня от

подобных фантазий.

Ведь за внешним фасадом города с его роскошью и растущей нищетой, кажущимся весельем на улицах, цветочными киосками, многоцветными флагами, пропагандистскими плакатами и толпами прохожих безошибочно угадывалось страшное политическое соперничество и ненависть. Люди самых разных убеждений с тревогой предсказывали: «Скоро начнутся беспорядки!». Источник опасности был элементарно прост и виден невооруженным глазом: антагонизм между теми, кто хотел, чтобы революция шла дальше, и теми, кто хотел сдержать или предотвратить ее, то есть в конечном счете между анархистами и коммунистами. В политическом отношении в Каталонии теперь не было иной власти, кроме власти ОСПК и ее союзников из либерального лагеря. Но ей противостояла политически неопределенная сила НКТ, не столь хорошо вооруженная и не столь ясно сознающая свои цели, как ее соперники, но имевшая большую численность и господствующее положение в ряде ведущих отраслей промышленности. Подобная расстановка сил таила в себе угрозу беспорядков. С точки зрения руководимого ОСПК Генералидада[12] первейшим необходимым шагом на пути упрочения положения являлось изъятие оружия у рабочих – членов НКТ. Как я уже отмечал выше, меры по расформированию партийных милиций были, по существу, маневром для достижения этой цели. Одновременно шло восстановление в прежних функциях, укрепление и вооружение довоенной полиции, гражданской гвардии и подобных им формирований. Это могло означать только одно. Гражданская гвардия, в частности, являлась жандармерией обычного европейского образца, которая вот уже сотню лет исполняла роль охранительницы имущего класса. Наряду с этим был обнародован указ о сдаче частными лицами всего имеющегося у них оружия. Указ, естественно, не был выполнен: оружие у анархистов можно было отобрать только силой. Все это время ходили слухи, из-за цензуры печати всегда туманные и противоречивые, о происходящих по всей Каталонии мелких столкновениях. В некоторых местах вооруженная полиция производила налеты на учреждения, считавшиеся оплотом анархистов. В рабочих пригородах Барселоны произошло несколько стычек и потасовок более или менее неофициального характера. Были убиты несколько членов НКТ и ВСТ[13] на почве политической розни; порой после убийств устраивались вызывающе грандиозные похороны, совершенно сознательно превращаемые в акцию по разжиганию политической ненависти. Незадолго до моего приезда был убит член НКТ, и сотни тысяч членов НКТ приняли участие в похоронной процессии. В конце апреля, когда я только-только вернулся в Барселону, был убит – предположительно кем-то из НКТ – видный член ВСТ Рольдан Кортада. Правительство приказало закрыть в знак траура все магазины и устроило гигантскую похоронную процессию, которая по большей части состояла из военнослужащих Народной армии и казалась нескончаемой: последние участники траурного шествия прошли мимо гостиницы, из окна которой я без всякого энтузиазма наблюдал за ним, через два часа после его начала. Было ясно как божий день, что так называемые похороны являются просто-напросто демонстрацией силы; еще немного в этом же духе – и возможно кровопролитие. А ночью нас с женой разбудили звуки выстрелов, доносившиеся со стороны площади Каталонии, от которой гостиница отстояла не более чем на сотню-другую ярдов. На следующий день мы узнали, что застрелили члена НКТ; вероятно, это было дело рук кого-то из ВСТ. Конечно, не исключалась возможность того, что все эти убийства совершались провокаторами. Об отношении иностранной капиталистической прессы к распре между коммунистами и анархистами можно судить по тому факту, что убийство Рольдана широко освещалось на страницах газет, а об ответном убийстве не было сказано ни слова.

Приближалось 1 Мая, и шли разговоры об огромной демонстрации, в которой примут участие и НКТ, и ВСТ. Но в последний момент демонстрация была отменена. Не

приходилось сомневаться, что она лишь привела бы к уличным беспорядкам. Поэтому 1 Мая ничего не происходило. Престранная получилась картина. Барселона, которую называли революционным городом, была, по всей вероятности, единственным городом в нефашистской Европе, в котором не праздновался Первомай. Но я, признаться, даже почувствовал облегчение: англичане из НРП должны были идти в колонне демонстрантов ПОУМ, и все ожидали беспорядков. Мне меньше всего хотелось бы ввязаться в какую-нибудь бессмысленную уличную драку. Шагать по улице под красными знаменами и плакатами с воодушевляющими лозунгами, а потом оказаться прошитым очередью, выпущенной из окна верхнего этажа каким-нибудь незнакомцем с пистолетом-пулеметом, – это как-то не вязалось с моим представлением о смерти за правое дело.

В полдень 3 мая один мой знакомый, проходя через комнату отдыха в гостинице, мимоходом сказал: «Я слышал, что-то случилось на Центральной телефонной станции». Почему-то в тот момент я не обратил на его слова внимания.

Позже в тот же день, между тремя и четырьмя часами, прогуливаясь по Рамблас, я вдруг услышал позади несколько винтовочных выстрелов. Оглянувшись, я увидел кучку парней с красно-черными платками анархистов на шее и с винтовками в руках, которые перебежками продвигались по боковой улице, отходящей от Рамблас в северную сторону. Они, судя по всему, перестреливались с людьми, засевшими в высокой восьмиугольной башне – наверное, это была церковная колокольня – и державшими под обстрелом всю ту улицу. Я сразу же подумал: «Началось!» Но подумал без особого удивления: уже несколько дней все жили в ожидании, что вот-вот «начнется». Первым моим побуждением было вернуться в гостиницу и убедиться, что жена в безопасности. Однако анархисты, что сгрудились на углу Рамблас и улицы с башней, предостерегающе махали прохожим и кричали, чтобы они не пересекали линию огня. Снова загремели выстрелы. Пули, выпущенные из башни, летели вдоль улицы, и охваченная паникой толпа бросилась бежать по Рамблас, подальше от места перестрелки. Отовсюду слышалось металлическое лязганье: владельцы магазинов закрывали стальные ставни на витринах. Два офицера Народной армии осторожно пятились, прячась за деревьями и держа руку на кобуре. Впереди меня толпа, ища укрытия, хлынула на станцию метро в средней части Рамблас. Я сразу же решил не спускаться в метро: ведь это могло означать, что на несколько часов окажешься в ловушке под землей.

В это мгновение ко мне подбежал знакомый американец – врач, служивший вместе с нами на фронте. Крайне взволнованный, он потянул меня за руку.

– Идемте, мы должны пробираться к гостинице «Фалькон». (Гостиница эта была чем-то вроде пансионата, который содержала ПОУМ и в котором останавливались преимущественно бойцы милиции, приезжавшие в отпуск с фронта). Там собираются парни из ПОУМ. Началось. Мы должны держаться вместе.

– Но из-за чего, черт возьми, вся эта пальба?

Доктор тянул меня за рукав. Он был так возбужден, что не мог ответить сколь-нибудь внятно. Как выяснилось, он находился на площади Каталонии в тот момент, когда к Центральной телефонной станции, которую обслуживали преимущественно члены НКТ, подкатило несколько грузовиков, набитых вооруженными гражданскими гвардейцами, которые, спрыгнув на землю, вдруг бросились на штурм здания. Затем туда же подоспела группа анархистов и между ними произошли столкновения. Я понял из его слов, что ранее в тот же день правительство

потребовало передачи Центральной телефонной станции под его контроль; ему, конечно, ответили отказом – это и положило начало беспорядкам.

Мы двинулись по улице; навстречу нам промчался грузовик, битком набитый анархистами, вооруженными винтовками. В передней части кузова лежал на груди матрасов юнец с пулеметом. Когда мы добрались до гостиницы «Фалькон», расположенной в конце Рамблас, в ее вестибюле возбужденно бурлила толпа; царила полная сумятица; никто, похоже, не знал, чего от них ждут, ни у кого не было оружия, за исключением горстки бойцов ударного отряда, которые обычно нес-ли охрану здания. Я зашел в здание местного комитета ПОУМ, находившееся на противоположной стороне улицы почти напротив гостиницы. Поднявшись по лестнице, я увидел, что в комнате, где обычно выдавали жалованье бойцам милиции, возбужденно бурлит толпа. Рослый мужчина лет тридцати с бледным, довольно красивым лицом, одетый в штатское, пытался навести порядок и раздавал ремни и патронташи, сваленные грудой в углу комнаты. Винтовок, похоже, еще не выдавали. Доктор куда-то исчез – наверное, уже были раненые и кому-то потребовалась медицинская по-мощь, – зато появился еще один англичанин. Вскоре рослый мужчина и несколько его помощников стали охапками выносить из внутренних служебных помещений винтовки и раздавать их собравшимся. Ко мне и другому англичанину отнеслись с некоторым недоверием как к иностранцам и винтовок сперва выдавать не хотели. Но тут появился боец милиции, вместе с которым я был на фронте; он меня узнал, и тогда нам выдали, все еще нехотя, винтовки и обоймы.

Откуда-то издали доносились звуки выстрелов, и улицы совершенно обезлюдели. Все говорили, что пройти в другой конец Рамблас невозможно, так как гражданские гвардейцы захватили здания, возвышающиеся над улицей, и стреляют в каждого прохожего. Я бы все-таки рискнул возвратиться в гостиницу, но в воздухе носилась смутная идея, что местный комитет может в любой момент подвергнуться нападению и поэтому нам лучше не расходиться. В коридорах, на лестницах и на тротуаре перед зданием кучками стояли люди и возбужденно разговаривали. Ни у кого, похоже, не было ясного представления о том, что происходит. Из всего, что говорилось, я понял только одно: гражданские гвардейцы напали на Центральную телефонную станцию и захватили различные стратегические пункты, откуда простреливались подступы к другим зданиям, принадлежащим рабочим. У всех сложилось впечатление, что гражданские гвардейцы хотят «прижать» НКТ и рабочий класс в целом. После того как мне рассказали, как обстоят дела, у меня отлегло от сердца. Вопрос достаточно прояснился. На одной стороне – НКТ, на другой – полиция. Я не питаю особой любви к идеализированному «рабочему», каким он представляется западному коммунисту, но, когда я вижу реального, живого рабочего, втянутого в конфликт со своим естественным врагом – полицейским, мне не надо спрашивать себя, на чьей я стороне.

Шли часы, а в нашем конце города, похоже, ничего не происходило. Мне даже в голову не пришло, что я могу просто позвонить в гостиницу и узнать, не подвергается ли опасности моя жена; я-то был уверен, что Центральная телефонная станция прекратила работу. В действительности же она бездействовала всего часа два. По самым приблизительным подсчетам, в обоих зданиях собралось человек триста. В основном это были люди из беднейших слоев населения, обитатели района припортовых улочек на задворках города; среди собравшихся попадались и женщины, некоторые из них держали на руках младенцев; под ногами вертелось множество мальчуганов в лохмотьях. По-моему, большинство из них не понимали, что происходит; они просто бежали сюда, в здание ПОУМ, ища защиты. Тут же находилась группа бойцов милиции, приехавших в отпуск, и несколько человек иностранцев. На всех нас приходилось примерно шестьдесят стволов. Служебные помещения наверху

постоянно осаждала толпа: люди требовали, чтобы им дали винтовки, а им отвечали, что ни одной не осталось. Бойцы милиции, еще не вышедшие из мальчишеского возраста, которые, похоже, относились ко всему происходящему как к какой-то увлекательной игре, так и шныряли вокруг, пытаясь выпросить или украсть винтовку у тех, кто ее имел.

Очень скоро один из них обдурил меня: попросил на минутку подержать мою винтовку и тотчас же скрылся с ней. Так что я снова оказался безоружным, если не считать моего миниатюрного автоматического пистолета, к которому у меня была одна-единственная обойма.

Стемнело, я проголодался, а в «Фальконе», судя по всему, никакой еды не предвиделось. Мы с приятелем выскользнули наружу и отправились подкрепиться в его гостиницу, расположенную неподалеку. Улицы были погружены во тьму, безмолвны и совершенно безлюдны. Все витрины магазинов были наглухо закрыты стальными ставнями, но баррикад ещё не возводили. Гостиница оказалась запертой на все запоры, и мы наделали переполоху своим приходом. Когда мы вернулись, я узнал, что Центральная телефонная станция работает, и поднялся наверх в служебные помещения, где был телефон, позвонить жене. Номера гостиницы «Континенталь» я не помнил, а во всем здании – это типичный случай – не нашлось телефонной книги; прослонявшись с час из комнаты в комнату в бесплодных поисках, я наткнулся на справочник, в котором имелся нужный мне номер.

У большинства окон в здании местного комитета были выставлены вооруженные караульные, а на улице перед домом группка бойцов ударных частей останавливала и допрашивала редких прохожих. Подъехала патрульная машина анархистов, ощетилившаяся стволами винтовок. Рядом с водителем сидела красивая темноволосая девушка лет восемнадцати, державшая на коленях ручной пулемет. Я долго бродил по коридорам этого огромного бестолкового здания, географию которого невозможно было постичь. И повсюду меня встречала привычная картина: обломки мебели, клочья бумаги, всяческий хлам, ставшие, казалось, неизбежными атрибутами революции. Во всех помещениях спали люди; прямо в коридоре мирно похрапывали на сломанном диване две женщины из бедного портового квартала. До того как ПОУМ заняла это здание, здесь помещался театр-кабаре. В некоторых комнатах имелись эстрады; на одной из них одиноко стоял рояль. Наконец я нашел то, что разыскивал, – арсенал. Не зная, какой оборот примет дальше эта история, я во что бы то ни стало хотел раздобыть оружие. Я так часто слышал разговоры о том, что в Барселоне все соперничающие партии накапливают на своих тайных складах оружие, что не мог поверить, что в двух главных зданиях ПОУМ оказалось всего пять или шесть десятков винтовок. Комната, служившая арсеналом, не охранялась, дверь была хлипкая; и мне с другим англичанином не составило труда выломать ее. Войдя внутрь, мы убедились, что нам сказали правду: винтовок и впрямь больше не было. Десятка два мелкокалиберок устаревшего образца да несколько дробовиков без единого патрона – вот и все, что мы обнаружили. Я отправился наверх в комнату дежурных и спросил, нет ли здесь пистолетных патронов; нет, пистолетных патронов тоже не было. Впрочем, было несколько ящиков гранат, доставленных нам на одном из патрульных автомобилей анархистов. Я засунул пару гранат в один из своих патронташей. Это были гранаты примитивного образца, у которых запальный фитиль воспламенялся, если чиркнуть по нему чем-то вроде спички, и которые вполне могли взорваться сами по себе.

Всюду вповалку спали на полу люди. В одной из комнат кричал грудной ребенок, кричал не переставая. Несмотря на то что был уже май, ночью стало прохладно. Над одной из эстрад сохранился занавес. Я срезал занавес ножом, закутался в него и

на несколько часов погрузился в сон. Помнится, спал я тревожно: меня не оставляла в покое мысль об этих проклятых гранатах, которые могут взорваться, если я слишком придавлю их во сне. В три часа ночи меня разбудил тот рослый красивый мужчина, который, кажется, был тут за главного. Вручив мне винтовку, он поставил меня часовым у одного из окон. Попутно он рассказал мне, что Салас, начальник полиции, отдавший приказ о нападении на Центральную телефонную станцию, взят под стражу. (На самом деле, как нам стало потом известно, его только сместили с должности. Тем не менее эта новость подтвердила общее впечатление, что гражданская гвардия действовала на свой страх и риск.) Как только стало светать, внизу, на улице, закопошились люди: началось строительство двух баррикад: одну возводили перед местным комитетом, другую – перед гостиницей «Фалькон». Через пару часов баррикады выросли в рост человека, стрелки заняли места у амбразур, а за одной баррикадой развели костер и поджаривали яичницу.

У меня снова отобрали винтовку, да и вообще, похоже, я больше ничем не мог быть здесь полезен. Поэтому мы, я и другой англичанин, решили вернуться в гостиницу «Континенталь». Издалека долетали звуки частой пальбы, но на Рамблас, кажется, было тихо. По дороге мы заглянули на рынок. Торговали лишь в немногих ларьках, их осаждали толпы людей – жители рабочих кварталов, расположенных к югу от Рамблас. Как только мы зашли в павильон, снаружи загрели винтовочные выстрелы, стекла задрожали, и толпа бросилась к выходам. Несколько ларьков, однако, продолжали торговлю; нам удалось выпить по чашке кофе и купить треугольный кусок козьего сыра, который я засунул в патронташ рядом с гранатами. Через пару дней сыр этот пришелся очень и очень кстати.

На том углу, где накануне анархисты на моих глазах начали перестрелку, теперь стояла баррикада. Какой-то человек крикнул мне из-за баррикады (я шел по другой стороне улицы), чтобы я поостерегся: гражданские гвардейцы, засевшие на колокольне, стреляют без разбора в каждого прохожего. Я остановился, а потом рывком перебежал простреливаемое пространство. Ну и, конечно, рядом взвизгнула пуля – ощущение не из приятных. Когда я подходил к зданию Исполкома ПОУМ, все еще оставаясь на противоположной стороне улицы, мне опять крикнули, чтобы я поостерегся; на этот раз меня предупреждали бойцы ударного отряда, стоявшие в подъезде здания, но в тот момент я не понял, в чем дело. От кричавших меня отгораживали деревья и газетный киоск (на улицах такого типа в Испании посередине расположена широкая аллея), и мне не было видно, куда они показывают. Я заглянул в «Континенталь», удостоверился, что все тут в порядке, умылся, а оттуда направился в Исполком ПОУМ (до него было буквально несколько шагов обратно по улице) узнать, нет ли каких приказаний. К этому времени доносившийся с разных сторон треск ружейно-пулеметной пальбы уже мало чем уступал грохоту сражения. Не успел я, поднявшись наверх, найти Коппа и спросить у него, что нам надлежит делать, как вдруг внизу ухнули один за другим несколько мощных взрывов. Грохот стоял такой, что я был уверен: по нам бьют из полевых орудий. На самом же деле это всего лишь рвались ручные гранаты: когда они взрываются среди каменных домов, звук бывает вдвое громче обычного.

Копп выглянул в окно, выразительным жестом заложил за спину трость, бросил мне: «Пойдем разберемся» – и с обычным своим беззаботным видом стал спускаться по лестнице. Я спустился следом. Стоявшие у самого выхода из подъезда бойцы ударного отряда бросали вдоль тротуара гранаты, как шары при игре в кегли. Гранаты рвались ярдах в двадцати с ужасающим грохотом, смешивавшимся с буханьем выстрелов; от всего этого звенело в ушах. Из-за газетного киоска на аллее посреди улицы высывалась, привлекая всеобщее внимание, как кокосовый орех в витрине магазина, голова американца, которого я хорошо знал по службе в милиции.

Далеко не сразу понял я истинный смысл происходящего. Соседнее с нами здание занимало кафе «Мока» с рас-положенными над ним гостиничными номерами. Накануне в кафе ввалились человек двадцать-тридцать гражданских гвардейцев, которые, как только началась пальба, внезапно захватили здание и забаррикадировались в нем. Надо полагать, они получили приказ захватить кафе как плацдарм для дальнейшего нападения на служебные помещения ПОУМ. Рано утром они попытались сделать вылазку, и в завязавшей перестрелке был тяжело ранен один боец ударного отряда и убит гражданский гвардеец. Гражданские гвардейцы ретировались в кафе, но, когда на улице показался американец, они открыли по нему огонь, несмотря на то что он шел без оружия. Американец, укрываясь от выстрелов, нырнул за киоск, а бойцы ударного отряда забрасывали теперь гражданских гвардейцев гранатами, стараясь загнать их подальше в глубину кафе.

Копп мгновенно оценил ситуацию, протолкался вперед и оттащил рыжего немца из ударного отряда, который собирался выдернуть зубами чеку из гранаты. Он велел стоявшим в подъезде отойти назад и на нескольких языках сказал нам, что нужно избежать кровопролития. Затем он вышел наружу и на глазах у гражданских гвардейцев демонстративно отстегнул от пояса свой пистолет и положил его на тротуар. Двое других офицеров милиции, оба испанцы, последовали его примеру, и вот втроем они медленно двинулись к дверям кафе, где столпились гражданские гвардейцы. Это, конечно, был смертельно опасный номер. Они ведь шли, безоружные, к людям, перепуганным до потери сознания и сжимающим в руках заряженное оружие. Из двери кафе вышел навстречу Коппу гражданский гвардеец без куртки и с мертвенно-бледным от страха лицом. Приступив к переговорам, он снова и снова возбужденно показывал на две неразорвавшиеся гранаты посреди тротуара. Тогда Копп вернулся и велел нам взорвать эти гранаты, чтобы на них не подорвался кто-нибудь из прохожих. Боец ударного отряда выстрелил из винтовки в одну из гранат, и она взорвалась. Потом выстрелил в другую – и промахнулся. Я попросил у него винтовку, встал на одно колено и выстрелил в оставшуюся гранату, но, увы, тоже промазал. Это был единственный выстрел, сделанный мною за все время беспорядков. У тротуара, усыпанного осколками стеклянной вывески кафе «Мока», стояли две машины (одна из них – служебный автомобиль Коппа), изрешеченные пулями, с ветровыми стеклами, разбитыми осколками гранат.

Копп пригласил меня снова подняться с ним наверх и объяснил мне, как обстоят дела. Нам было приказано защищать здания ПОУМ, если они подвергнутся нападению, однако руководство ПОУМ передало распоряжение придерживаться оборонительной тактики и не открывать огонь, пока есть хоть какая-то возможность избежать этого. Прямо напротив нас находилось здание кинотеатра «Полиорама»: над кинозалом был музей, а еще выше – маленькая обсерватория с двумя куполами, поднимавшимися над крышами других домов. С куполов простреливалась вся улица; достаточно было разместить там нескольких бойцов с винтовками, чтобы предотвратить любое нападение на здание ПОУМ. Администраторы кинотеатра – члены НКТ, и беспрепятственный вход-выход нам обеспечен. Что до засевших в кафе «Мока» гражданских гвардейцев, то с ними осложнений не могло возникнуть: они не хотели драться и с радостью восприняли принцип «живи и давай жить другим». Копп повторил, что нам приказано не стрелять, если не стреляют в нас самих и не нападают на наши здания. Как я понял из его слов (хотя прямо он этого не говорил), руководители ПОУМ пришли в ярость оттого, что их втянули в эту историю, но не могут не поддержать НКТ.

В обсерватории уже дежурил наш пост. Следующие три дня и три ночи я бесшумно проторчал на крыше «Полиорамы», лишь ненадолго отлучаясь поесть в гостиницу. Я не подвергался опасности, не терпел лишений, страдая разве что от голода да

скуки, и тем не менее эти трое суток стали одним из самых невыносимо тяжелых периодов всей моей жизни. Мне не приходилось переживать ничего более отталкивающего, более разочаровывающего, более изматывающего, чем испытания этих недобрых дней уличных боев.

Проводя время на крыше, я дивился безумию всего происходящего. За оконцами обсерватории город лежал как на ладони: на многие мили взору открывалась панорама высоких стройных зданий, стеклянных куполов и фантастически изогнутых крыш, покрытых ярко-зеленой и медно-красной черепицей, а за всем этим виднелась на востоке мерцающая бледно-голубая полоска моря. (Я увидел отсюда море впервые после приезда в Испанию.) И весь этот огромный город с миллионным населением охвачен каким-то яростным бездействием, оцепенел в каком-то грохочущем неподвижном кошмаре. На залитых солнцем улицах не было ни души. В городе ничего не происходило, если не считать того, что из-за баррикад и из окон, заложенных мешками с песком, неслись навстречу друг другу потоки пуль.

Всякое движение на улицах полностью остановилось; там и сям стояли на Рамблас трамваи, застывшие в неподвижности с того момента, когда из них выпрыгивали напуганные стрельбой вагоновожатые. И все время продолжался несмолкающий дьявольский грохот, отраженный от тысяч каменных зданий, как будто над городом гремела страшная тропическая гроза. Трах-трах-тах, тарарах, бум, бах, – иногда пальба, ослабевающая, распадалась на отдельные выстрелы, потом вновь сливалась в оглушительную трескотню, но при свете дня она не прекращалась ни на минуту и возобновлялась прямо с восходом солнца.

Что тут творилось на самом деле, кто с кем воевал и кто кого побеждал – в этом мне очень трудно было поначалу разобраться. Барселонцы так попривыкли к уличным боям и так хорошо знали свой город, что безошибочно, неким чутьем, угадывали, какие улицы и какие здания контролируются той или иной политической партией. Иностранцу же рассчитывать на такое чутье не приходилось. Наблюдая за происходящим из окна обсерватории, я сумел определить, что Рамблас, одна из главных улиц города, служила как бы разделительной линией. Рабочие кварталы справа от Рамблас являлись твердыней анархистов; в лабиринте извилистых боковых улочек по левую сторону от Рамблас картина боев была неясной, но на этой стороне хозяевами положения в большей или меньшей степени являлись ОСПК и гражданская гвардия. В нашем конце улицы Рамблас, вокруг площади Каталонии, взаимное расположение сражающихся отличалось такой сложностью, что никто бы не смог разобраться в нем, не развеиваясь над каждым зданием тот или иной партийный флаг. Главным ориентиром здесь был отель «Колон», штаб-квартира ОСПК. Это здание господствовало над площадью Каталонии. Из его окна рядом с предпоследним «о» огромной, во весь фасад, вывески «Отель Колон» торчал пулемет, способный смести огнем все на площади. В сотне ярдов правее нас, дальше по Рамблас, находился большой универмаг, который удерживала ОСМ, молодежная организация ОСПК; торцевые окна универмага, заложенные мешками с песком, выходили на нашу обсерваторию. ОСМ спустила свой красный флаг и подняла над универмагом национальный флаг Каталонии. На Центральной телефонной станции, где и началась вся эта заварушка, развеивались рядом каталонский национальный флаг и флаг анархистов. Там был достигнут некий временный компромисс: станция бесперебойно работала, и из здания не стреляли.

На нашей позиции стояла, как это ни странно, тишь да гладь. Гражданские гвардейцы в кафе «Мока» опустили на окна железные жалюзи и забаррикадировали вход столиками. Несколько позже с полдюжины гвардейцев забрались на скат крыши, обращенный в нашу сторону, и соорудили еще одну баррикаду, из матрасов, над



которой водрузили национальный флаг Каталонии. Но они явно не горели желанием вступать в бой. Копп со всей определенностью договорился с ними: если они не станут стрелять в нас, мы не будем стрелять в них. К этому времени он установил с гражданскими гвардейцами вполне дружественные отношения и несколько раз бывал у них в кафе «Мока». Разумеется, гвардейцы разграбили весь имевшийся в кафе запас спиртного и даже одарили Коппа пятнадцатью бутылками пива. Тем не менее сидеть на крыше было немного неудобно. Обычно нас было наверху человек шесть. Выставив по одному дозорному в каждую из двух наблюдательных башенок обсерватории, мы располагались прямо на плоской крыше, защищенные лишь каменным бордюром. Я, конечно, понимал, что в любую минуту гражданские гвардейцы могут получить по телефону приказ открыть по нам огонь. Они, правда, обещали, что предупредят нас, прежде чем открыть огонь, но никакой уверенности, что они сдержат обещание, у нас не было.

Чуть ли не с первого дня стало голодно. Еда для тех пятнадцати – двадцати бойцов милиции, что охраняли здание Исполнительного комитета ПОУМ, доставлялась с немалым трудом и только под покровом темноты (поскольку гражданские гвардейцы постоянно обстреливали Рамблас) из гостиницы «Фалькон», но того, что приносили, едва хватало, и все, кто мог, питались в «Континентале». «Континенталь» в отличие от большинства гостиниц был «коллективизирован» не одним из профсоюзов НКТ или ВСТ, а Генералидадом, и считался как бы нейтральной территорией. Едва лишь грянули бои, как гостиницу до отказа заполнила необыкновенно пестрая публика: иностранные журналисты; политически неблагонадежные лица всех оттенков; американский летчик, поступивший на службу к Республиканскому правительству; всевозможные коммунистические агенты, в том числе и один русский – мрачного вида толстяк, предположительно агент ОГПУ, носивший прозвище Чарли Чан, прицеплявший к поясу револьвер и аккуратную маленькую гранату; жены и дети богатых испанцев, судя по всему, сочувствующие фашистам; двое или трое раненых интербригадцев; группа шоферов больших французских автофургонов, что везли во Францию груз апельсинов и стояли теперь из-за начавшихся уличных боев; несколько офицеров Народной армии. В целом Народная армия сохраняла на протяжении всего вооруженного столкновения нейтралитет, но кое-кто из ее солдат улизнул из казарм, чтобы принять участие в боях как частные лица; во вторник утром я видел нескольких солдат Народной армии на баррикадах ПОУМ. На первых порах, еще до того, как обозначилась острая нехватка продовольствия и в газетах развернулась кампания по разжиганию ненависти, к происходящим событиям относились довольно несерьезно. Люди говорили, например, что такие заварушки бывают в Барселоне ежегодно. Итальянский журналист Джордже Тиоли, наш большой друг, однажды явился к нам в брюках, пропитанных кровью. Он, оказывается, вышел на улицу поглядеть, что там творится, и в тот момент, когда он перевязывал лежащего на тротуаре раненого, какой-то шутник бросил в него гранату. К счастью, его лишь поцарапало. Помню, как он сострил, что камни барселонских мостовых следовало бы пронумеровать: это сэкономит столько труда при сооружении и разборке баррикад. И еще помню, как я, усталый, голодный, грязный, ввалился к себе в номер после бессонной ночи, проведенной на дежурстве, и застал там гостей – нескольких интербригадцев. Они занимали в этом деле совершенно нейтральную позицию. Как добросовестным членам партии им, наверное, следовало бы попробовать убедить меня перейти на другую сторону, а то даже и отобрать у меня силой гранаты, рассованные по карманам; вместо этого они лишь посочувствовали, что я вынужден проводить свой отпуск, дежуря на крыше. Общее отношение к происходившему было таково: «Это ничего не значит, просто потасовка между анархистами и полицией». Несмотря на широкий масштаб этой схватки и на имевшиеся жертвы, такая оценка, по-моему, была ближе к истине, чем официальная версия, представившая все это как

заранее подготовленное восстание.

В среду (5 мая) ситуация, похоже, начала меняться. Улицы, на которых все витрины были наглухо закрыты ставнями, выглядели зловеще. По ним крадучись пробирались туда и сюда редкие прохожие, вынужденные по какой-то причине выйти в город; они демонстративно помахивали белыми носовыми платками; посреди Рамблас, на пяточке, прикрытом от пуль, газетчики выкрикивали названия газет, взывая к безлюдной улице. Во вторник «Солидаридад обрера», газета анархистов, еще называла нападение на Центральную телефонную станцию «чудовищной провокацией», однако в среду она сбавила тон и начала призывать всех бастующих возобновить работу. Руководители анархистов обратились с тем же призывом по радио. Неохраняемая редакция газеты «Баталья», органа ПОУМ, была разгромлена и захвачена гражданскими гвардейцами примерно в то же время, когда производился налет на Центральную телефонную станцию, но газету продолжали печатать где-то в другом месте и распространять небольшим тиражом. «Баталья» призвала всех оставаться на баррикадах. Люди пребывали в сомнении и с беспокойством спрашивали себя, чем вся эта чертовщина закончится. Пока никто еще, кажется, не уходил с баррикад, но всем уже надоела эта бессмысленная драка, которая явно не могла ничего разрешить, ибо никто не хотел, чтобы она переросла в настоящую гражданскую войну, что было бы чревато поражением в войне с Франко. Эти опасения я слышал со всех сторон. Насколько я могу судить по тому, что говорили тогда люди, рядовые члены НКТ хотели, притом хотели с самого начала, только двух вещей: возвращения Центральной телефонной станции и разоружения ненавистных гражданских гвардейцев. Обещай Генералидад выполнить оба эти требования и покончить со спекуляцией пищевыми продуктами, баррикады, несомненно, были бы разобраны уже через пару часов. Но Генералидад явно не собирался идти на уступки. Ходили тревожные слухи. Говорили, что центральное правительство в Валенсии направляет в Барселону шесть тысяч солдат с приказом занять город и что пять тысяч бойцов, анархистов и членов ПОУМ, снялись с Арагонского фронта и выступили им навстречу. Как выяснилось, лишь первый из этих слухов соответствовал действительности. Ведя наблюдение из башенки обсерватории, мы увидели низкие серые силуэты военных кораблей, приближавшихся к гавани. Дуглас Мойл, бывший моряк, сказал, что они смахивают на английские эсминцы. Как мы узнали впоследствии, это и впрямь были английские эсминцы.

В тот вечер до нас дошел слух, что на площади Испании сложили оружие и сдались анархистам четыреста гражданских гвардейцев; кроме того, к нам просачивались неточные сведения, что в предместьях (которые были преимущественно рабочими районами) сторонники НКТ контролируют положение. Похоже, мы побеждали. Но тем же вечером Копп послал за мной и с мрачным, озабоченным лицом сообщил мне, что, как ему только что стало известно, правительство собирается объявить ПОУМ вне закона и провозгласить, что находится с ней в состоянии войны. Новость ошарашила меня. Тогда мне впервые открылось, как станут интерпретировать эту историю впоследствии. Я смутно догадывался, что после прекращения огня всю вину возложат на ПОУМ, слабейшую из партий и, следовательно, самую подходящую для того, чтобы сделать из нее козла отпущения. А сейчас выходило так, что нашему локальному нейтралитету пришел конец. Раз правительство объявляет нам войну, нам не остается ничего другого, как защищаться, а в том, что засевшие в соседнем здании гражданские гвардейцы получают приказ атаковать нас, защитников здания Исполнительного комитета, сомневаться не приходилось. Единственный наш шанс состоял в том, чтобы атаковать первыми. Копп ожидал приказа по телефону: если известие об объявлении ПОУМ вне закона подтвердится, мы должны будем сразу же приступить к подготовке захвата кафе «Мока».

Мне помнится нескончаемо долгий кошмарный вечер, в течение которого мы всячески укреплялись в здании. Мы закрыли стальными жалюзи парадный вход, а в проеме дверей возвели баррикаду из каменных плит, оставленных строи-тельными рабочими, которые занимались тут какими-то переделками. Еще раз пересчитали наши запасы оружия. Вместе с теми шестью стволами, что находились на крыше «Полиорамы», у нас имелось: двадцать одна винтовка, причем одна неисправная; примерно по пятидесяти патронов на каждую винтовку, несколько десятков гранат да еще несколько пистолетов и револьверов, вот и все. С дюжину добровольцев, в основном немцев, вызвались атаковать кафе «Мока», если и впрямь грянет война.

Мы должны будем напасть на них, конечно, со стороны крыши, подкравшись глубокой ночью и ударив неожиданно; на их стороне – численное превосходство, зато на нашей – более высокий боевой дух, и мы наверняка сможем взять кафе штурмом, хотя в бою неизбежно погибнут люди. В нашем здании не осталось никакой еды, помимо нескольких плиток шоколада, и распространился слух, что «они» собираются перекрыть воду. (Никто толком не знал, кто такие эти «они». Водопровод мог находиться под контролем правительства, а мог – и под контролем НКТ.) Мы потратили много времени на то, чтобы запастись водой: наполнили все бачки в уборных, все ведра, которые могли найти, и, наконец, пятнадцать пустых пивных бутылок.

Я был в отвратительном расположении духа и в полнейшем изнеможении после шестидесятичасового недосыпания. Перевалило далеко за полночь. Внизу, на полу вестибюля, за баррикадой вповалку спали люди. Вверху была комнатка с диваном, которую мы собирались занять под перевязочную, хотя во всем здании, конечно же, не нашлось ни йода, ни бинтов. Из гостиницы пришла моя жена – на случай, если понадобится сестра милосердия. Я прилег на диван, чтобы хоть полчаса отдохнуть перед атакой на кафе «Мока», во время которой я, вполне возможно, буду убит. Помню, какое невыносимое неудобство причинял мне пистолет, пристегнутый к поясу и больно упирившийся мне в поясницу. Следующее же, что я помню: внезапно вздрогнув, я просыпаюсь и вижу стоящую рядом жену. За окном светло – уже день. Ничего страшного не стряслось: правительство не объявило ПОУМ войну, воду не перекрыли, и все шло вполне нормально, если не считать вспышек стрельбы на улицах. Жена сказала, что ей было жалко меня будить, и она поспала в кресле в одной из соседних комнат.

Во второй половине дня установилось что-то вроде перемирия. Перестрелка смолкла, и улицы, как по мановению волшебной палочки, заполнились людьми. В некоторых магазинах поднимались ставни, а рынок запрудила огромная толпа желающих купить чего-нибудь съестного, хотя прилавки были почти пусты. Обращало, однако, на себя внимание то, что трамваи все еще не ходили. Гражданские гвардейцы в кафе «Мока» по-прежнему оставались за своими баррикадами. Ни та, ни другая сторона не спешили покидать свои укрепленные здания. Люди сновали и суетились, пытались приобрести что-нибудь из еды. И всюду задавались одни и те же тревожные вопросы: «Вы думаете, это кончилось? Полагаете, это начнется снова?» Люди теперь воспринимали «это» – уличную войну – как стихийное бедствие, как ураган или землетрясение, как беду, которая обрушилась одинаково на всех нас и которую мы бессильны предотвратить. Ну и конечно, почти сразу – в действительности перемирие дли-лось не один час, но часы показались считанными минутами – внезапный треск выстрелов, словно июльский ливень, заставил людей броситься врассыпную; железные ставни с лязгом захлопнулись; улицы словно по волшебству опустели; сражающиеся заняли места за баррикадами, и «это» началось снова.

В крайнем негодовании и раздражении я вновь занял свой пост на крыше. Когда

человек принимает участие в подобных событиях, он, надо полагать, пусть и в маленьком масштабе, но творит историю и вправе чувствовать себя исторической личностью. Однако почувствовать себя таковой никогда не удастся, потому что в такие времена конкретные подробности заслоняют все остальное. На протяжении всего периода уличных боев я даже не попытался по всем правилам «проанализировать» положение, чем так лихо занимались журналисты, находившиеся за сотни миль от места действия. Чаще всего я думал не о том, кто прав и кто виноват в этой злосчастной междоусобной потасовке, а просто о том, до чего же утомительно и скучно день и ночь торчать на этой постылой крыше и до чего же хочется есть: мы ведь с понедельника не имели нормальной горячей пищи и совсем оголодали. Все время меня мучила мысль о том, что сразу по окончании этой заварушки мне предстоит возвратиться на фронт. Было от чего лезть на стенку. Проведя сто пятнадцать дней на передовой, я вернулся в Барселону с жаждой немного пожить в покое и удобстве, а вместо этого должен был сиднем сидеть на крыше напротив гражданских гвардейцев, которым все это так же обрыдло, как и мне. Время от времени гвардейцы махали рукой и кричали мне, что они – «рабочие» (этим они как бы выражали надежду, что я не стану в них стрелять), но сами-то наверняка открыли бы огонь, если бы им приказали. Нет, если здесь и творили историю, то я этого не почувствовал. Скорее это напоминало изнурительно трудный период фронтовой службы, когда из-за нехватки личного состава приходилось непомерно долгие часы стоять в карауле; в обоих случаях, вместо того чтобы совершать геройские подвиги, ты должен был просто торчать на своем посту, изнывая от скуки и чуть не падая от желания спать, совершенно безучастный к тому, что все это значит.

А в гостинице, среди разношерстной толпы ее постояльцев, в большинстве своем не осмеливавшихся высунуть нос на улицу, воцарилась зловещая атмосфера подозрительности. Люди, охваченные шпиономанией, шептались по углам про своих соседей-шпионов: этот шпионит в пользу коммунистов, этот – в пользу троцкистов, этот – в пользу анархистов и т. д. и т. п. Толстый русский агент по очереди отводил в сторонку иностранцев-эмигрантов и доверительно объяснял им, что вся эта история – заговор анархистов. Я не без интереса наблюдал за ним, так как никогда раньше не видел профессионального лжеца, не считая, конечно, журналистов. Было что-то отталкивающее в этой пародии на светскую жизнь фешенебельной гостиницы, идущую за закрытыми ставнями под аккомпанемент уличной стрельбы. Обеденный зал с окнами, выходящими прямо на Рамблас, пустовал с тех пор, как в окно влетела пуля и оставила щербинку на колонне, а постояльцы теперь ели в темноватой комнате в задней части здания, где было тесно и не хватало столов. Штат официантов сократился (некоторые из них состояли в НКТ и участвовали во всеобщей забастовке), официанты отложили до лучших времен свои крахмальные рубашки, но еду подавали по-прежнему со всеми церемониями. Правда, есть было практически нечего. Вечером в тот четверг главным блюдом, поданным к обеду, была одна-единственная сардинка на каждого едока. Вот уже несколько дней в гостинице не было ни крошки хлеба. И даже запасы вина подходили к концу, так что мы пили все более старые и все более дорогие вина. Острая нехватка продовольствия продолжалась еще несколько дней после прекращения огня. Помню, три дня подряд мы с женой завтракали лишь маленьким кусочком козьего сыра без хлеба и ничем его не запивали. Единственное, что имелось в изобилии, – это апельсины. Их натащили в гостиницу французы – водители грузовиков. Это были крепкие парни; компанию им составляли несколько развязных испанских девиц и гигант грузчик в черной рубахе. В любое другое время высокомерный управляющий гостиницей сделал бы все, чтобы «поставить на место» эту публику, больше того, не сдал бы им номеров, но сейчас они пользовались популярностью, потому что только у них из всех обитателей гостиницы имелся свой собственный запас хлеба, и

все остальные кланчили у них кусочки.

Ту последнюю ночь, с четверга на пятницу, я еще отдежурил на крыше, а наутро все и впрямь указывало на то, что бои прекращаются. В тот день – это была пятница – постреливали, помнится, все реже и реже. Никто, похоже, не знал наверняка, действительно ли подходят войска из Валенсии; как выяснилось потом, они прибыли в пятницу вечером. Правительство передавало по радио наполовину успокоительные, наполовину угрожающие обращения, призывая всех расходиться по домам и предупреждая, что после определенного часа любой человек, имеющий при себе оружие, будет арестован. На правительственные радиосообщения мало кто обращал внимание, но повсеместно люди начали покидать баррикады. Главной причиной их ухода был, я в этом не сомневаюсь, голод. Со всех сторон только и слышалось: «Нам больше нечего есть, надо возвращаться на работу». Зато гражданские гвардейцы, которые твердо знали, что питание им будут выдавать по норме, пока в городе сохранится хоть сколько-нибудь продовольствия, могли и дальше оставаться на своих боевых постах. Ко второй половине дня улицы зажили своей нормальной жизнью, хотя обезлюдившие баррикады пока и не были разобраны; по Рамблас потекли людские толпы; пооткрывались почти все магазины, ну а самым обнадеживающим было то, что, дернувшись, вновь побежали трамваи, которые так долго стояли в безжизненном оцепенении. Гражданские гвардейцы по-прежнему удерживали кафе «Мока» и не разбирали своих баррикад, но некоторые из них вынесли на тротуар стулья и посиживали теперь на них с винтовками на коленях. Проходя мимо, я подмигнул одному из них и увидел на его лице вполне дружелюбную улыбку; он, конечно, меня узнал. Над Центральной телефонной станцией развевался только флаг Каталонии – анархистский флаг спустили. Это означало только одно: что рабочие потерпели поражение; я, в общем-то, понимал – хотя в силу своей политической неграмотности и не так ясно, как следовало бы, – что, когда правительство почувствует себя уверенней, последуют репрессии. Но в тот момент меня не интересовала эта сторона дела. Единственное, что я чувствовал, – это глубочайшее облегчение от того, что смолк дьявольский грохот пальбы и теперь можно купить чего-то съестного и хоть немного спокойно отдохнуть перед возвращением на фронт.

В тот же день поздно вечером на улицах впервые появились войска, присланные из Валенсии. Это были штурмгвардейцы (штурмовая гвардия – формирование, аналогичное гражданской гвардии) и карабинеры (формирование, предназначенное прежде всего для выполнения полицейских функций), а также отборные воинские части Республики. Они появились внезапно, как из-под земли; куда ни глянь, всюду были видны их отряды, патрулирующие улицы; в каждом отряде – десяток рослых мужчин в серой или синей форме с перекинутыми через плечо длинными винтовками, вдобавок к этому – ручной пулемет. А нам тем временем предстояло проверить одно деликатное дело. Шесть винтовок, с которыми мы дежурили на посту в башенках обсерватории, так и лежали там, и мы должны были всеми правдами и неправдами переправить их обратно в здание ПОУМ. Надо было незаметно перенести их через улицу. Винтовки подлежали возврату на склад оружия ПОУМ, но как вынести их на улицу вопреки правительственному запрету? Попадись мы с оружием в руках, нас наверняка бы арестовали – хуже того, конфисковали бы винтовки. А потерять шесть винтовок, когда их всего-то в здании двадцать одна, – вещь непозволительная. После долгих обсуждений того, как лучше всего это сделать, молодой рыжеволосый испанец и я принялись перетаскивать винтовки тайком. Избежать встречи с патрулями штурмовой гвардии было достаточно легко; опасность представляли гражданские гвардейцы в кафе «Мока»: они-то хорошо знали, что у нас в обсерватории были винтовки, и могли выдать нас, заметив, как мы таскаем их через улицу. Раздевшись до пояса, мы по-весили по винтовке себе на левое плечо таким образом, чтобы приклад упирался под мышку, а ствол опускался в штанину. Как назло, это были длинные

винтовки «маузер». Даже такому долговязому человеку, как мне, неудобно ходить с длинноствольным «маузером» в штанине. Было настоящей мукой спускаться по винтовой лестнице с негнущейся левой ногой. Выйдя на улицу, мы обнаружили, что сможем передвигаться, только если будем шагать очень медленно, настолько медленно, чтобы можно было не сгибать ноги в коленях. Пересекая с черепашьей скоростью улицу, я заметил, что люди, толпившиеся возле кинотеатра, с явным любопытством поглядывают в мою сторону. Интересно, что они обо мне думали? Наверное, принимали меня за раненого. Как бы то ни было, все винтовки удалось благополучно переправить.

Назавтра повсюду в городе было полно штурмгвардейцев, которые расхаживали по улицам с видом победителей. Правительство, вне всякого сомнения, просто проводило этакую демонстрацию силы, чтобы припугнуть барселонцев, которые, как оно уже установило, не станут больше сопротивляться. Ведь если бы оно действительно опасалось новых беспорядков, штурмгвардейцев держали бы в казармах и не пускали бы небольшими отрядами по всему городу. Это были отборные войска, бесспорно, лучшие из всех, что я видел в Испании, и, хотя они являлись как бы в некотором роде «противником», я не мог не любоваться их молодцеватой выправкой. Но при виде этих неторопливо прохаживающихся вдоль улиц солдат я не мог не испытывать некоторого изумления. На Арагонском фронте я привык к виду оборванных, плохо вооруженных бойцов милиции и даже не подозревал, что Республика располагает такими войсками. Меня поразило не только то, что это были как на подбор рослые, физически крепкие парни, но, главное, то, как они были вооружены. Все они имели новенькие винтовки того образца, который получил наименование «русская винтовка» (их посылал в Испанию СССР, но изготавливались они, по-моему, в Америке). Я внимательно осмотрел одну из них. Винтовка была далека от совершенства, но несравненно лучше тех ужасных, допотопных мушкетов, с которыми воевали на фронте мы. У штурмгвардейцев один ручной пулемет приходился на десять человек, а автоматический пистолет был у каждого; у нас же на фронте ручной пулемет приходился примерно на полсотни бойцов, а что до пистолетов и револьверов, то их мы доставали только незаконным путем. Гражданские гвардейцы и карабинеры, чьи формирования отнюдь не предназначались для фронтовой службы, были лучше вооружены и гораздо лучше обмундированы, чем мы, фронтовики. Я сильно подозреваю, что так бывает на всех войнах: всегда существует контраст между лощеными полицейскими в тылу и оборванными солдатами на передовой. В общем и целом штурмгвардейцы неплохо поладили с горожанами после одного-двух напряженных дней в самом начале. В первый день не обошлось без эксцессов, по-тому что некоторые штурмгвардейцы – выполняя, надо полагать, полученные указания – повели себя вызывающе провокационным образом. Патрульные штурмгвардейцы, влезая в вагоны трамваев, обыскивали пассажиров и, если находили у кого-нибудь членские билеты НКТ, рвали их и топтали ногами. Это приводило к дракам с вооруженными анархистами, имелись даже убитые. Однако очень скоро штурмгвардейцы бросили эти замашки победителей, и между ними и барселонцами установились более дружественные отношения. Как можно было заметить, через пару дней большинство из них обзавелись подружками.

Вооруженное столкновение в Барселоне дало Республиканскому правительству в Валенсии долгожданный повод для того, чтобы установить более полный контроль над Каталонией. Рабочая милиция подлежала теперь расформированию, а ее личный состав – перераспределению по частям Народной армии. Повсюду в Барселоне был вывешен флаг Испанской республики – по-моему, я увидел его тогда впервые, если не считать того, что я видел его над фашистской траншеей. В рабочих кварталах разбирали баррикады – дело шло не слишком споро, потому что построить баррикаду

куда легче, чем уложить камни на место. Баррикады, возведенные вокруг зданий ОСПК, было разрешено оставить – многие из них оставались неразобранными еще в июне. Гражданские гвардейцы по-прежнему занимали стратегически важные пункты. В зданиях, являвшихся твердынями НКТ, производились крупные конфискации оружия, хотя немало оружия, вне всякого сомнения, было утаено от конфискации. «Баталья» все еще выходила, но подвергалась такой жестокой цензуре, что первая ее полоса представляла собой практически чистый лист. Зато газеты ОСПК, не контролируемые цензурой вовсе, публиковали подстрекательские статьи с требованием запретить ПОУМ. Саму же ПОУМ объявили замаскированной фашистской организацией, и агенты ОСПК распространяли по всему городу карикатуры, на которых ПОУМ была представлена в виде фигуры, срывающей с себя маску с изображением серпа и молота, за которой – отвратительная, искаженная бешенством харя со знаком свастики. Очевидно, официальная точка зрения на барселонское столкновение уже была выработана: его надлежало изображать как путч фашистской «пятой колонны», спровоцированный одной только ПОУМ.

Чудовищная атмосфера подозрительности и враждебности, которая царил в гостинице, теперь, с прекращением огня, только усугубилась. Перед лицом обвинений, которые ее обитатели бросали друг другу, невозможно было оставаться безучастным. Возобновила работу почта, начали приходить за-рубежные коммунистические газеты, и их отчеты о столкновении отличались не только грубой тенденциозностью, но и, конечно же, вопиющим искажением фактов. Я думаю, некоторых коммунистов, которые находились на месте событий и собственными глазами видели, что произошло в действительности, ужаснуло подобное освещение событий, но они, естественно, должны были принять версию, выдвинутую их стороной. Наш друг-коммунист снова встретился со мной и спросил, собираюсь ли я перейти в Интернациональную бригаду.

Несколько удивленный, я сказал:

– В ваших газетах пишут, что я фашист. Мой переход из ПОУМ наверняка покажется политически подозрительным.

– А, не имеет значения. В конце концов, вы только исполняли приказ.

Мне пришлось объяснить ему, что после этой истории я не смогу вступить ни в какое формирование, находящееся под контролем коммунистов. Ведь рано или поздно это могло бы означать, что меня пошлют усмирять испанских рабочих. Никто не знает, когда могут снова возникнуть подобные беспорядки, и, уж если мне придется с оружием в руках участвовать в таких событиях, я предпочту сражаться на стороне рабочих, а не против них. Он воспринял мой отказ с пониманием и без обиды. Но отныне общая атмосфера стала меняться – чем дальше, тем больше. Теперь уже нельзя было, как прежде, «оставаясь при своем мнении», по-дружески выпить с человеком, который предположительно являлся твоим политическим противником. В гостиной нашего отеля вспыхивали безобразные ссоры. А тюрьмы тем временем уже были до отказа переполнены. По окончании боев анархисты, естественно, освободили своих пленных, а гражданские гвардейцы – нет; большинство схваченных ими оказались в тюрьме и содержались там без суда, иногда месяцами. В силу обычного полицейского головоуятия арестовывали ни в чем не повинных людей. Дуглас Томпсон был ранен в начале апреля. Потом мы потеряли с ним связь, как это часто бывало, когда человека ранило, поскольку раненых часто переводили из госпиталя в госпиталь. Оказалось, он лежал в госпитале в Таррагоне и был переведен в Барселону перед самым началом столкновения. Во вторник утром я повстречал его на улице. Крайне озадаченный пальбой, звуки которой доносились со всех сторон, он

задал вопрос, просившийся на язык каждому:

– Что, черт побери, все это значит?

Я объяснил ему, как умел. Томпсон тотчас же сказал:

– Не стану я в это впутываться. У меня еще не прошла рука. Пойду в гостиницу и носа наружу не высуну.

Он вернулся в гостиницу, но, к несчастью для него, она была расположена (как важно знание местности во время уличных боев!) в той части города, где хозяйничали гражданские гвардейцы. В гостинице устроили облаву, Томпсона арестовали, бросили в тюрьму и восемь дней продержали в битком набитой людьми камере, где даже негде было лечь. Аналогичных случаев было много. Многочисленные иностранцы с сомнительным политическим прошлым были вынуждены скрываться; их выслеживала полиция, и они жили под постоянным страхом разоблачения. Хуже всего пришлось итальянцам и немцам: у них не было паспортов, а на родине их, как правило, разыскивала тайная полиция. Если их арестовывали, они подлежали в дальнейшем высылке во Францию, а это могло означать, что их отправят обратно в Италию или Германию, где их ожидали одному Богу известно какие ужасы. Две-три иностранки спешно легализовали свое положение, фиктивно выйдя замуж за испанцев. Девушка-немка, не имевшая никаких документов, прячась от полиции, в течение нескольких дней выдавала себя за любовницу одного своего знакомого. Я случайно столкнулся с ней, когда она выходила из спальни этого мужчины, и мне запомнилось выражение стыда и страдания на лице этой бедняжки. Разумеется, она не была его любовницей, но, конечно же, подумала, что я понял иначе. Тебя преследовало все время отвратительное подозрение, что кто-то, кого я прежде считал другом, может быть, в этот момент выдает меня тайной полиции. От долгого кошмара уличных боев, грохота, недоедания и недосыпания, смешанного чувства напряжения и скуки, когда день и ночь сидишь на крыше и думаешь о том, что через минуту тебя могут застрелить или ты сам будешь вынужден застрелить кого-то, нервы у меня совершенно расшатались. Я дошел до такого состояния, что хватался за револьвер всякий раз, когда хлопала дверь. В субботу утром снаружи загремели выстрелы, и у всех вырвался возглас: «Опять начинается!». Я выбежал на улицу и увидел, что это просто какие-то штурмгвардейцы палили в бешеную собаку. Ни один человек, который был в Барселоне в ту пору, равно как и в последующие месяцы, не забудет той жуткой атмосферы, порожденной страхом, подозрительностью, ненавистью, газетами под гнетом цензуры, переполненными тюрьмами, огромными очередями за продовольствием и рыскающими по улицам отрядами вооруженных людей.

Я попытался дать некоторое представление о том, что ощущал человек во время барселонских уличных боев; боюсь только, что мне не удалось как следует передать ощущение странности того времени. Когда я возвращаюсь к нему в своих мыслях, мне вспоминаются, помимо прочего, случайные встречи и знакомства; запечатлевшиеся в памяти, как на моментальном снимке, фигуры мирных горожан, для которых все происходящее было просто-напросто бессмысленным шумом. Вспоминается модно одетая женщина с сумкой для покупок и с белым пуделем на поводке, которую я увидел неторопливо шагающей по Рамблас, когда на соседней улице громко ахали выстрелы. Вероятно, она была глухая. И муж-чина, которого я увидел перебегающим совершенно безлюдную площадь Каталонии: он размахивал белыми платками, зажатými в обеих руках. И какая-то большая группа людей во всем черном, которые битый час безуспешно пытались перейти площадь Каталонии. Каждый раз, едва только они показывались из-за угла улицы, пулеметчики ОСПК, засевшие в отеле «Колон», выпускали очередь и отгоняли их обратно – не знаю уж почему, так как эти люди



были явно безоружны. Потом до меня дошло, что, наверное, это была похоронная процессия. И низенький человечек, смотритель музея над кинотеатром «Полиорама», воспринимавший всю эту кутерьму как светский прием. Он был так рад, что его посетили англичане: они такие simpatico, эти англичане. Он искренне надеется, что все мы посетим его еще раз, когда кончатся беспорядки. Я и в самом деле приходил потом навестить его.

На протяжении последних недель, проведенных мной в Барселоне, в городе царил зловещая атмосфера – атмосфера подозрительности, страха, неопределенности и затаенной ненависти. Майское вооруженное столкновение оставило неизгладимые следы. С падением правительства Кабальеро к власти явно пришли коммунисты, дело поддержания внутреннего порядка было поручено министрам-коммунистам, и не приходилось сомневаться, что при первом же удобном случае они раздавят своих политических соперников. Ничего такого еще не происходило, лично я даже в воображении представить себе не мог, что тут начнется в скором времени, и тем не менее людей не покидало смутное ощущение какой-то нависшей угрозы, предчувствие надвигающейся беды. Как бы ни чуждались вы в действительности всяческой конспирации, вся атмосфера побуждала вас чувствовать себя таким заговорщиком, конспиратором. Казалось, все время вы только и делаете, что шушукаетесь с кем-то по углам кафе да прикидываете, не полицейский ли шпик вон тот тип за соседним столиком.

Из-за того, что цензура заткнула рот газетам, и поползли всевозможные зловещие слухи. Поговаривали, в частности, что правительство Негрина – Прието умышленно ведет дело к поражению в войне. В тот момент я готов был поверить этому, потому что фашисты подступали к Бильбао, а правительство явно ничего не делало для спасения города. По всей Барселоне были развешены баскские флаги, сборщицы пожертвований обходили кафе, позвякивая монетами в кружках, в радиопередачах привычно славил «героических защитников», но баскам не оказывалось никакой реальной помощи. Поэтому возникало искушение предположить, что правительство ведет двойную игру. Как показали дальнейшие события, тут я попал пальцем в небо, но, думается, Бильбао все же можно было спасти, прояви правительство больше энергии. Наступление на Арагонском фронте, даже неудачное, вынудило бы Франко отвлечь часть своих сил; однако правительство все не предпринимало наступательных операций, пока не стало слишком поздно, то есть практически вплоть до падения Бильбао. НКТ выпустила массовым тиражом листовку с призывом «Будьте бдительны!»; в ней прозрачно намекалось, что «некая партия» (то есть коммунистическая) втайне готовится совершить государственный переворот. Многие опасались также фашистского вторжения в Каталонию. Еще раньше, когда мы возвращались на фронт, я видел мощные оборонительные укрепления, сооружаемые в десятках миль от линии фронта. Повсюду в Барселоне рыли новые бомбоубежища. Горожане боялись воздушных налетов и обстрелов с моря и, случалось, впадали в панику. Чаще всего тревога оказывалась ложной. Но каждый раз, когда вечером начинали выть сирены, город на много часов погружался во тьму, и люди робкого десятка спешили спуститься в подвалы. Везде кишели полицейские шпионы. Тюремь по-прежнему были битком забиты людьми, схваченными после майской стычки, но в них пачками бросали все новых арестантов – разумеется, из числа приверженцев анархистов и ПОУМ. Насколько можно было выяснить, никого не привлекли еще к суду и никому даже не предъявили обвинений, хотя бы неопределенного обвинения в «троцкизме», – человека просто сажали в тюрьму и содержали, как правило, без права переписки. Все чаще и чаще бросали за решетку иностранцев – интербригадовцев и бойцов милиции. Обычно их арестовывали за дезертирство. Никто теперь не знал наверняка – и это было типично для общей ситуации, – является

боец милиции добровольцем или же солдатом регулярной армии. Несколько месяцев тому назад каждому, кто вступал в милицию, говорили, что он является добровольцем и при желании всегда может получить свидетельство об увольнении, как только настанет срок его отпуска. Теперь правительство, похоже, передумало: боец милиции стал солдатом регулярной армии и считался дезертиром, если пытался уехать домой. Но даже и в отношении этого, кажется, не было полной определенности. На некоторых участках фронта военные власти все еще выдавали документы об увольнении. На границе эти документы когда признавались, когда – нет; в последнем случае предъявителя немедленно бросали за решетку. Впоследствии количество посаженных в тюрьму «дезертиров» из числа иностранцев достигло нескольких сотен, но большинство из них были репатриированы после того, как это вызвало шум у них на родине.

Группы вооруженных штурмгвардейцев патрулировали улицы, гражданские гвардейцы все еще удерживали кафе и другие дома, расположенные в стратегически важных пунктах, многие здания ОСПК так и стояли с заложенными мешками с песком окнами и забаррикадированными входами. В различных местах города были установлены посты, где несли службу гражданские гвардейцы или карабинеры. Они останавливали прохожих и проверяли у них документы. Меня со всех сторон предупреждали, чтобы я показывал паспорт и справку из госпиталя, но ни в коем случае – билет бойца милиции ПОУМ. Даже упоминать на людях о том, что ты служил в милиции ПОУМ, и то было небезопасно. Раненым или уволенным в отпуск бойцам милиции ПОУМ учиняли мелкие неприятности – например, всячески затрудняли для них получение денежного довольствия. «Баталья» продолжала еще выходить, но ее почти совсем задушила цензура; «Солидаридад» и другие анархистские газеты тоже жестоко цензуровались. Согласно новому правилу, место вымаранных кусков запрещалось оставлять, как прежде, пустым – его надлежало теперь чем-нибудь заполнить; в результате сплошь и рядом не было возможности определить, где именно порезвилась цензура.

Продовольственные нехватки, которые то усиливались, то смягчались на протяжении этой войны, обострились до последней крайности. Хлеба не хватало, и в дешевые его сорта добавляли рис; солдатам в казармах давали ужасный хлеб, похожий на замазку. Молоко и сахар стали большим дефицитом, а табак почти совсем исчез, если не считать дорогих контрабандных сигарет. Очень редко поступало в продажу оливковое масло, которое идет у испанцев и в пищу, и на другие надобности. За оливковым маслом выстраивались такие очереди, что для наведения порядка вызывали конных гражданских гвардейцев, которые иной раз забавы ради наезжали на очередь, стараясь отдавить женщинам ноги. Не хватало в ту пору даже мелких разменных денег. Серебро было изъято из обращения, а новых монет вместо серебряных еще не выпустили. Поэтому в хождении не осталось промежуточных денежных знаков между монетой в десять сентимо и купюрой в две с половиной песеты; впрочем, и все прочие купюры достоинством до десяти песет были чрезвычайно редки. Это еще больше ударило по самым бедным. Так, женщина, у которой имелась лишь бумажка в десять песет, могла несколько часов простоять в очереди в бакалейную лавку и в результате ничего не купить, потому что у бакалейщика нет сдачи, а ей не позволяют обстоятельства потратить здесь всю эту сумму.

Нелегко передать читателю кошмарную атмосферу того времени – особое тревожное состояние, порожденное противоречивыми слухами, подцензурностью газет и постоянным присутствием вооруженных людей. «Сталинисты» пришли к власти, и из этого с несомненностью вытекало, что над каждым «троцкистом» нависла угроза. Того, чего все боялись – новой вспышки уличных боев, ответственность за которую, как и прежде, будет возложена на ПОУМ и анархистов, – в конце концов так и не произошло. Временами я ловил себя на том, что невольно прислушиваюсь: не

раздались ли первые выстрелы. Как будто какой-то могучий недобрый дух витал над городом. Все это замечали, все об этом говорили.

Долечивался я в санатории имени Маурина, одном из лечебных заведений, контролируемых ПОУМ. Санаторий находился в предместье Барселоны рядом с Тибидабо, горой причудливой формы с обрывистыми склонами, которая возвышается над городом и которую исстари считают той самой горой, откуда сатана показывал Иисусу царства мира. Прежде здание принадлежало какому-то богатому буржуа и было конфисковано во время революции. Сюда помещали по большей части бойцов, отозванных с фронта по состоянию здоровья, и тех, кто надолго или навсегда выбыл из строя по ранению, – инвалидов с ампутированными конечностями и т. д. и т. п.

Моя жена по-прежнему жила в гостинице «Континенталь», и дневное время я обычно проводил в Барселоне. По утрам я ходил на процедуры в Городскую поликлинику – мою руку лечили электричеством. Это была занятная процедура: руку покалывало и дергало током, в результате чего ее мышцы непроизвольно сокращались. Впрочем, лечение, кажется, пошло на пользу: у меня заработали пальцы и несколько уменьшилась боль в руке. Мы с женой пришли к заключению, что самое лучшее для нас – это как можно скорее вернуться в Англию. Я был чрезвычайно слаб, у меня пропал голос – похоже, навсегда, – и врачи говорили, что пройдут еще месяцы, прежде чем я снова буду годен в строй. Рано или поздно мне предстояло начать зарабатывать на жизнь, и я не видел особого смысла в том, чтобы оставаться в Испании и есть чужой хлеб. Но в основном я руководствовался эгоистическими побуждениями. Мною овладело непреодолимое желание бежать прочь от всего этого: от ужасной атмосферы политической подозрительности и ненависти; от улиц, заполненных вооруженными людьми; от воздушных тревог, окопов, пулеметов; от громяющих трамваев, чая без молока, пищи на оливковом масле и вечной нехватки сигарет – почти от всего, что стало ассоциироваться у меня с Испанией.

Врачи в Городской поликлинике признали меня негодным к военной службе, но для того, чтобы получить свидетельство об увольнении из армии, мне надо было пройти медицинскую комиссию в одном из прифронтовых госпиталей, а затем явиться в штаб-квартиру милиции ПОУМ в Сьетамо, где на моих увольнительных документах поставят печать. С фронта приехал Копп, полный восторженных впечатлений. Он только что участвовал в боях и утверждал, что наконец-то Уэска будет взята. Правительство перебросило войска с Мадридского фронта и сосредоточило под Уэской тридцатитысячный ударный кулак, стянуло туда большое количество самолетов. Итальянцы, которых я видел в воинском эшелоне, отходившем от Таррагоны, атаковали в районе дороги на Хаку, но понесли тяжелый урон и потеряли два танка. Тем не менее, говорил Копп, город неминуемо падет. (Увы! Он так и не пал. Наступление провалилось из-за чудовищной неразберихи и ни к чему не привело, кроме вакханалии вранья в газетах.) Копп тем временем собирался ехать в Валенсию, где ему предстоял разговор в министерстве обороны. У него было с собой письмо генерала Посаса, командующего Восточной армией, – обычное служебное письмо, аттестующее Коппа как «человека, заслуживающего всякого доверия», и рекомендующее зачислить его особым распоряжением в инженерно-саперные войска (в мирной жизни Копп был инженером по специальности). Он поехал в Валенсию в тот же день, когда я отправился в Сьетамо, – 15 июня.

В Барселону я вернулся только через пять дней. В переполненном бойцами кузове грузовика я добрался к полуночи до Сьетамо, и, как только мы явились в штаб-квартиру ПОУМ, нас спешно построили и начали раздавать винтовки и патроны, не удосужившись сначала переписать наши фамилии. Оказалось, вот-вот должно начаться наступление и в любой момент может потребоваться подмога. У меня лежала

в кармане справка из госпиталя, но я считал неудобным отказываться идти вместе со всеми. В тревоге и смятении прилег я соснуть на землю, положив под голову патронташ вместо подушки. Ранение на время лишило меня мужества (это, кажется, обычное явление), и перспектива идти под пули ужасно меня пугала. Однако, как водится, что-то там отложили до завтра, и подмога не понадобилась. Наутро я предъявил справку из госпиталя и отправился добывать увольнительное свидетельство. Как обычно, меня гоняли туда и сюда – из госпиталя в госпиталь, из Съетамо в Барбастро, из Барбастро в Монсон, оттуда снова в Съетамо – поставить печать на свидетельстве об увольнении. Наконец я пустился в обратный путь, опять через Барбастро и Лериду – и это в то время, когда перемещение войск по сходящимся направлениям к Уэске монополизировало весь транспорт и дезорганизовало его движение. Где только не приходилось мне ночевать! Помнится, одну ночь я провел на больничной койке, другую – в канаве, третью – на узенькой скамейке, с которой свалился во сне, еще одну – в городской ночлежке. В стороне от железной дороги единственным средством транспорта были случайные грузовики. Приходилось подолгу ждать на обочине (иногда часа по три-четыре) в компании унылых крестьян, обвешанных корзинами с утками и кроликами, и махать руками, пытаясь остановить попутный грузовик. Когда же грузовик, кузов которого не был до отказа набит людьми, буханками хлеба или ящиками с боеприпасами, наконец останавливался, тряска на ухабах вдрызг разбитых дорог грозила отбить все внутренности. Ни один конь не подбрасывал меня так высоко в седле, как подбрасывало в кузовах этих грузовиков. Выдержать такую тряску можно было, только сгрудившись в кучу и цепляясь друг за друга. А тут еще, к моему стыду, обнаружилось, что я настолько слаб, что не могу без посторонней помощи забраться через борт в кузов.

Когда я ночевал в госпитале в Монсоне, где проходил медицинскую комиссию, моим соседом по койке оказался штурмгвардеец с раной над левым глазом. Он по-дружески расположился ко мне и угощал меня сигаретами.

– А ведь в Барселоне нам пришлось бы стрелять друг в друга, – сказал я, и оба мы посмеялись над этим. Чем ближе к линии фронта, тем поразительней менялся общий настрой. Пропадало, словно испаряясь, все или почти все злобное ненавистничество политических партий. За все время своего пребывания на фронте я не помню случая, чтобы сторонник ОСПК выказал враждебность ко мне из-за того, что я служу в милиции ПОУМ. Подобная враждебность характерна для Барселоны или для мест, еще более отдаленных от фронта. В Съетамо штурмгвардейцы попадались на каждом шагу. Их прислали из Барселоны для участия в наступлении на Уэску. Штурмовая гвардия не являлась формированием, предназначенным в первую очередь для ведения боевых операций, и многие штурмгвардейцы не бывали раньше в бою. Если в Барселоне это были хозяева улиц, то здесь, на фронте, они были quintos – необстрелянные новобранцы – и искали дружбы с пятнадцатилетними бойцами милиции, парнишками, уже не первый месяц воевавшими на передовой.

Врач в монсонском госпитале проделал обычные манипуляции с моим языком и зеркальцем, заверил меня таким же бодрым, радостным тоном, как и все его предшественники, что голос у меня никогда не восстановится, и подписал мне свидетельство об увольнении. Пока я дожидался осмотра, в хирургическом кабинете шла какая-то ужасная операция без наркоза – почему без наркоза, не знаю. Из-за дверей снова и снова доносились душераздирающие крики, а войдя внутрь, я увидел разбросанные стулья и лужи крови и мочи на полу.

Подробности этой последней поездки до странности отчетливо запечатлелись в моей памяти. На сей раз я путешествовал в ином, более созерцательном настроении, чем

все минувшие месяцы. В кармане у меня лежали свидетельство об увольнении, скрепленное печатью 29-й дивизии, и медицинская справка, удостоверяющая, что я «признан негодным». Теперь я мог свободно выехать в Англию и, следовательно, получил возможность, едва ли не впервые, осмотреть Испанию. На осмотр Барбастро у меня был целый день, так как поезд на Барселону отправлялся раз в сутки. Прежде я видел Барбастро лишь мельком, и он воспринимался мной просто как часть панорамы войны: это такое серенькое, грязное, холодное местечко, полное урчащих грузовиков и солдат в замызганной форме. Теперь это был как бы совершенно иной город. Бродя по нему, я замечал прелесть кривых улочек, старинных каменных мостов, винных лавок с большими влажными бочками высотой в человеческий рост и манящих взор полуподвальных мастерских, где ремесленники выделывали колеса для повозок, кинжалы, деревянные ложки и бурдюки из козьих шкур. Я понаблюдал за мастером, изготавливавшим бурдюк, и не без интереса обнаружил неизвестный мне до того факт: бурдюки, оказывается, делают шерстью внутрь, притом шерсть не удаляют, так что на самом деле вы глотаете чистейший козий волос. А я-то месяцами пил из бурдюков, не подозревая об этом! На окраине города неглубокая речка с зеленоватой водой цвета нефрита обтекала отвесный утес, на вершине которого лепились к скалам дома – из окна своей спальни их обитатели могли поплевывать в воду со стофтовой высоты. В расселинах утеса жило множество голубей. А в Лериде на карнизах старых домов с осыпающимися стенами гнездились тысячи и тысячи ласточек, так что издали узор из ласточкиных гнезд напоминал какую-то вычурную лепнину в стиле рококо. Как странно, что почти полгода я не замечал подобных вещей! С увольнительной в кармане я снова чувствовал себя человеком и даже чуть-чуть туристом. Может быть, впервые я ощутил: я и впрямь в Испании, стране, побывать в которой мечтал всю жизнь. На тихих окраинных улочках Лериды и Барбастро я, кажется, поймал то мимолетное впечатление, тот далекий отблеск Испании, что живет в воображении каждого. Испании горных цепей с зубчатыми снежными вершинами, живописных козопасов, темниц инквизиции, мавританских дворцов, черных верениц мулов на извилистых тропях, серых оливковых деревьев и лимонных рощ, девушек в черных мантильях, вин Малаги и Аликанте, соборов, кардиналов, корриды, цыган, серенад. Одним словом, Испании. Из всех стран Европы эта страна наиболее властно завладела моим воображением. Как жаль, что, когда я наконец-то выбрался сюда, мне удалось повидать только этот северо-восточный угол, да еще в разгар военной сумятицы и преимущественно в зимнее время.

В Барселону я вернулся поздно вечером, такси нигде не было. Поскольку пробираться в санаторий имени Маурина, расположенный за городской чертой, не имело смысла, я направился в гостиницу «Континенталь», поужинав по дороге в каком-то ресторанчике. Помню, я разговорился там с патриархально-заботливым официантом об отделанных медью дубовых кувшинчиках, в которых подавали вино. Я сказал, что хотел бы купить целый набор таких и увезти домой, в Англию. Официант посочувствовал: что и говорить, кувшины красивые, только сегодня их нигде не купишь. Их больше никто не изготавливает – да и никто сейчас ничего не изготавливает. Война! Такая жалость! Мы вместе пожалели о том, что идет война, и я ощутил себя туристом. Понравилась ли мне Испания, учтиво спрашивал официант, приеду ли я в Испанию снова? О да, обязательно приеду! Наша беседа запечатлелась у меня в памяти своим мирным тоном, составившим такой контраст с тем, что последовало за этим.

Придя в «Континенталь», я нашел жену в гостиной. При моем появлении она встала и с поразившим меня крайне безразличным, как мне показалось, видом пошла мне навстречу; затем, обняв меня за шею и улыбнувшись очаровательной улыбкой,

предназначенной для посторонних, прошипела мне на ухо:

– Уходи!

– Что?

– Уходи отсюда немедленно!

– Что?

– Да не стой же ты тут! Быстрее выходи на улицу.

– Что? Почему? Как это понимать?

Она ухватила меня под руку и потянула к лестнице. На полпути мы повстречались со знакомым французом – я не стану называть его имени, потому что, не будучи никак связанным с ПОУМ, он по-дружески относился ко всем нам во время беспорядков. При виде меня лицо у него стало озабоченным.

– Послушайте! Вам не следует появляться здесь. Быстро уходите и скройтесь, прежде чем они позвонят в полицию.

А на нижней площадке лестницы ко мне вдруг подошел, украдкой выскользнув из кабины лифта, один из служащих гостиницы, член ПОУМ (я думаю, он скрывал свое членство от администрации), и на ломаном английском сказал, чтобы я уходил. Даже теперь я все еще не понимал, что произошло.

– Что, черт возьми, все это значит? – спросил я, как только мы вышли на улицу.

– Ты что, не слышал?

– Нет. А что случилось? Я ничего не слышал.

– ПОУМ запрещена. Отобраны все ее здания. Практически всех посадили. И, говорят, уже начались расстрелы.

Так вот оно что! Нам надо было найти безопасное место, где мы могли бы поговорить. Во всех больших кафе на Рамблас толпились полицейские, но мы отыскали одно кафе на боковой улочке, где было спокойно, и жена рассказала мне, что тут произошло за время моего отсутствия.

15 июня полиция неожиданно арестовала Андреса Нина прямо в его служебном кабинете, а вечером того же дня совершила облаву в гостинице «Фалькон», арестовав всех, кто там находился, по большей части приехавших в отпуск бойцов милиции. Гостиницу тотчас же превратили в тюрьму и за короткое время до отказа набили ее заключенными. На следующий день ПОУМ была объявлена организацией, находящейся вне закона, и у нее отобрали служебные помещения, книжные киоски, агитационные центры, санатории и все прочее. А тем временем полиция брала всех, кого только могла схватить, по малейшему подозрению в связях с ПОУМ. За один-два дня в тюрьму посадили всех или почти всех членов Исполнительного комитета партии в составе сорока человек. Возможно, двум-трем и удалось скрыться, но полиция тут же прибегла к приему, который широко применяли в гражданской войне обе стороны: схватила в качестве заложниц их жен. Невозможно было подсчитать, сколько всего людей арестовано. Моя жена слыхала, что в одной только Барселоне взяли около

четырёхсот человек. Позднее я пришел к выводу, что даже в тот момент число арестованных, вероятно, было гораздо больше. Кого только тогда не бросали за решетку! Происходили фантастические вещи. В некоторых случаях полицейские не останавливались даже перед тем, чтобы выволакивать из госпиталей раненых бойцов милиции.

Все это вызывало глубокую тревогу. Ради чего, черт возьми, все это делается? Почему они запретили ПОУМ, я еще мог понять, но за что они арестовывают людей? Насколько я мог судить, ни за что. Похоже, запрету на ПОУМ придали обратную силу: коль скоро ПОУМ поставлена вне закона, то нарушителем закона объявляется всякий, кто был ее членом в прошлом. Как обычно, никому из арестованных не предъявили официальных обвинений. А тем временем коммунистические газеты, выходящие в Валенсии, трубили о раскрытии гигантского «фашистского заговора», о сношениях заговорщиков с неприятелем по радио, о документах, подписанных симпатическими чернилами, и т. д. и т. п. Важно обратить внимание на то, что они печатались только в валенсийских газетах; наверное, я не ошибусь, если скажу, что ни одна барселонская газета, будь то коммунистическая, анархистская или республиканская, не опубликовали ни слова о «заговоре», равно как и о запрещении ПОУМ. О том, какие же именно обвинения предъявляются руководителям ПОУМ, мы узнали не из испанской прессы, а из английских газет, которые пришли в Барселону через день-другой. Но вот чего мы никак не могли знать в то время: оказывается, правительство и не выдвигало обвинений в измене и шпионаже; впоследствии члены правительства отмежевались от них. Нам лишь было смутно известно одно: руководителей ПОУМ и, видимо, всех нас вместе с ними, обвиняют в том, что мы – платные агенты фашистов. И уже разнеслись слухи о тайных расстрелах, производимых по тюрьмам. Конечно, тут было много преувеличений, но в ряде случаев расстрелы определенно имели место, а то, что именно так расстреляли Нина, почти не вызывает сомнения. После ареста Нин был переведен в Валенсию, а оттуда – в Мадрид, и 21 июня до Барселоны дошел слух, что он расстрелян. Впоследствии этот слух принял более определенную форму: Нина расстреляла в тюрьме тайная полиция, а его труп выбросили на улицу.

Аресты между тем продолжались, пока количество политзаключенных не стало измеряться тысячами – и это помимо фашистов! Бросалась в глаза полная бесконтрольность действий нижних чинов полиции. Многих они арестовывали явно незаконным образом, а узников, освобожденных по предписанию начальника полиции, хватили вновь прямо за тюремными воротами и сажали в «секретные тюрьмы».

Самое противное для меня во всей этой катавасии (пусть это обстоятельство и не самое важное) – что происходившее скрывали от солдат на фронте. Ведь ни я, ни кто-либо другой на фронте ничего не знали о запрещении ПОУМ. Все штаб-квартиры милиции ПОУМ, агитационные центры и т. п. функционировали как обычно, и даже 20 июня в Лериде, на порядочном отдалении от фронта и всего в сотне миль от Барселоны, никто не слышал о случившемся. Ни словечка об этом не попало на страницы барселонских газет (валенсийские газеты, печатавшие небылицы о шпионах, не доходили до Арагонского фронта), и одной из причин ареста всех бойцов милиции ПОУМ, проводивших отпуск в Барселоне, было, вне всякого сомнения, стремление помешать им вернуться на фронт с дурными новостями. Тот контингент возвращающихся на передовую отпускников, с которыми я выехал из Барселоны 15 июня, наверное, был последним. Я до сих пор не могу понять, как удалось сохранить все в тайне: ведь из тыла на фронт по-прежнему шли грузовики с провиантом и боеприпасами и прочий транспорт. Но эту историю удалось-таки сохранить в тайне; от многих других я впоследствии слышал, что бойцы на передовой узнали обо всем лишь через несколько дней. Мотив такого умолчания был

прозрачен. Начиналось наступление на Уэску, милиция ПОУМ все еще оставалась обособленной войсковой частью, и, вероятно, существовало опасение, что ее бойцы откажутся идти в бой, если узнают, что творится. На самом же деле, когда им это стало наконец известно, ничего такого не произошло. В промежутке многие из них, должно быть, сложили головы, так и не узнав, что газеты в тылу называют их фашистами. Такие вещи трудно простить. Я знаю, что па войне принято скрывать от солдат худые вести, и допускаю, что такая политика, как правило, бывает оправданной. Но посылать солдат в бой и даже не сказать им, что в тылу за их спиной их партия запрещена, их руководители обвинены в измене, а их друзей и родных бросают в тюрьму, – это совсем-совсем другое дело.

Жена принялась рассказывать мне, что случилось с тем или иным из наших друзей. Некоторые англичане и другие иностранцы перебрались через границу. Уильямс и Стаффорд Коттман, избежавшие ареста во время полицейского налета на санаторий имени Маурина, где-то прятались. Прятался и Джон Макнэр, который был во Франции, но вернулся в Испанию, узнав, что ПОУМ объявили вне закона, – поступок, что и говорить, безрассудный, но он не захотел оставаться в безопасности, в то время как его товарищи подвергаются угрозе. Что до остальных, то повествование свелось к простой хронике: «Взяли такого-то», «Взяли такого-то и такого-то». Похоже, «взяли» практически всех. Я был ошеломлен, услышав, что «взяли» также Жоржа Коппа.

– Что?! Коппа? Я думал, он в Валенсии.

Оказалось, Копп вернулся в Барселону; при нем было письмо из военного министерства на имя полковника, командующего инженерно-саперными операциями на Восточном фронте. Он, конечно, знал о запрещении ПОУМ, но ему, видимо, не пришло в голову, что полицейские способны на такую глупость – арестовать его в момент, когда он едет на фронт со срочным военным поручением. Он зашел в гостиницу «Континенталь» за своими вещевыми мешками; моей жены в тот момент там не было, и служащим гостиницы удалось под каким-то лживым предлогом задержать его, а самим позвонить в полицию. Услышав об аресте Коппа, я, признаться, вознегодовал. Он был мне другом, не один месяц я служил под его началом, ходил с ним в бой и знал историю его жизни. Этот человек принес в жертву все: семью, гражданство, средства к существованию – единственно ради того, чтобы поехать в Испанию сражаться с фашизмом. Поскольку из Бельгии он выехал без разрешения и к тому же, будучи резервистом бельгийской армии, поступил на службу в иностранную армию, а еще до этого был причастен к нелегальному изготовлению боеприпасов для испанского правительства, на родине его ждало, если бы он туда вернулся, несколько лет тюремного заключения. На фронте он воевал с октября 1936 года, проделал путь от рядового бойца милиции до майора, невесть сколько раз ходил в бой и был ранен. Во время майского столкновения – я видел это собственными глазами – он предотвратил боевые действия в районе нашего расположения и, вероятно, спас десятков-другой жизней. А в благодарность за все его бросили в тюрьму! Конечно, в моем негодовании было мало проку, но, право же, подобные вещи кого угодно выведут из себя своей злонамеренной глупостью. Жену мою пока что не «взяли». Хотя она по-прежнему жила в «Континентале», полиция не торопилась арестовывать ее. Было совершенно очевидно, что ей отводится роль подсадной утки. Однако позавчера ночью в наш гостиничный номер явились с обыском шестеро полицейских в штатском. Они конфисковали все наши бумаги, сделав, по счастью, исключение для паспортов и чековой книжки. Они забрали с собой мои дневники, все наши книги, все газетные вырезки, накапливавшиеся месяцами (я часто потом



недоумевал, зачем понадобились им эти вырезки), все мои военные сувениры и все наши письма. Впоследствии я узнал, что полицейские конфисковали также и мои пожитки, остававшиеся в санатории имени Маурина. Они даже забрали сверток с моим грязным бельем. Наверное, заподозрили, что на нем есть тайные записи, сделанные симпатическими чернилами.

Итак, было ясно, что самое безопасное для моей жены – это оставаться в гостинице, во всяком случае до поры до времени. Если она попытается скрыться, ее сразу же начнут искать. Что касается меня, то я должен немедленно перейти на нелегальное положение. Перспектива прятаться вызывала у меня отвращение. Вопреки факту повальных арестов я никак не мог поверить, что опасность угрожает и лично мне. Вся эта история казалась мне совершенно бессмысленной. Из-за подобного же отказа принимать всерьез эту дурацкую кампанию и оказался в тюрьме Копп. «Но зачем кому-нибудь понадобится арестовывать меня? Что я сделал? – все повторял я. – Ведь я даже не член ПОУМ! Верно, во время майских боев я был вооружен, но ведь тогда были вооружены, кроме меня, еще тысяч сорок – пятьдесят. К тому же мне просто необходимо отоспаться. Я хочу рискнуть и вернуться в гостиницу». Но жена и слышать об этом не хотела. Терпеливо, как ребенку, растолковывала она мне положение дел. Не имеет значения, сделал я что-нибудь или нет. Это же не облава на преступников; это просто-напросто царство террора. Я не виновен ни в каком таком проступке, но я виновен в «троцкизме». Одного того факта, что я служил в милиции ПОУМ, с лихвой достаточно, чтобы упечь меня в тюрьму. Здесь нельзя уповать на английское правило: пока человек соблюдает закон, ничто ему не угрожает. На практике закон сейчас – это то, что угодно полиции. Так что мне остается одно: уйти в подполье и скрывать самый факт, что я имел какое-то отношение к ПОУМ. Мы проверили все бумаги в моих карманах. По настоянию жены я порвал военный билет бойца милиции с крупными буквами ПОУМ, а также групповую фотографию бойцов милиции с флагом ПОУМ на втором плане: теперь эти вещи могли послужить основанием для ареста. Однако документы об увольнении надо было сохранить. Даже и они представляли для меня опасность: на них стояла печать 29-й дивизии, а полиции, вероятно, было известно, что 29-я дивизия – это формирование ПОУМ; правда, без них меня могли бы арестовать как дезертира.

Теперь нам следовало подумать о том, как выбраться из Испании. Остаться, будучи уверенным, что рано или поздно тебя посадят, не имело смысла. Откровенно говоря, нам обоим очень хотелось остаться, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Но я предчувствовал, что испанские тюрьмы плохи (на самом деле они были много хуже, чем я воображал) и что, очутившись в тюрьме, я бы понятия не имел, когда из нее выйду, а здоровье у меня было подорвано, не говоря уж о боли в руке. Мы условились завтра же встретиться в британском консульстве, куда должны прийти также Коттман и Макнэр.

Жена вернулась в гостиницу, а я побрел в темноту искать себе место для ночлега. На душе у меня, помню, было пасмурно и скверно. Я так мечтал провести ночь в постели! Мне было некуда идти, негде искать крова и убежища.

Я долго брел куда глаза глядят и вышел в район Городской поликлиники. Нужно было найти такое местечко, где бы я мог устроиться на ночлег, не опасаясь, что какой-нибудь бдительный полицейский заметит меня и потребует предъявить документы. Я попытался улечься спать в бомбоубежище, но оно было недавно открыто и дышало сыростью. Потом я набрел на развалины церкви, разграбленной и сожженной во время революции. Остался только остов – четыре стены без крыши да груды обломков внутри. Пошарив в полутьме, я отыскал что-то вроде углубления, где можно было притулиться. Битый кирпич – не лучшая постель, но, по счастью, ночь

была теплая, и мне удалось на несколько часов забыться сном.

Самое неприятное для человека, который прячется от полиции в таком городе, как Барселона, это то, что все заведения открываются так поздно. Когда ночуешь под открытым небом, всегда просыпаешься с рассветом, а ни одно барселонское кафе не открывается раньше девяти. Приходится часами дожидаться, чтобы выпить чашку кофе или побриться. Странно было видеть теперь на стене парикмахерской все то же анархистское объявление, разъясняющее, что чаевые запрещены. «Революция разбила ваши оковы» – провозглашалось в нем. Меня подмывало сказать парикмахерам, что оковы на них скоро наденут вновь, если они не поостерегутся.

Я побрел обратно в центр города. Со зданий ПОУМ были сорваны красные флаги, а на их месте развевались флаги Республики; в подъездах толклись кучки вооруженных гражданских гвардейцев. В «Доме красной помощи» – агитационном центре на углу площади Каталонии – полицейские, развлекаясь, побили витрины. Из книжных киосков ПОУМ исчезли все книги, а доска объявлений чуть дальше на Рамблас была заклеена злобной карикатурой на ПОУМ – той, где из-под личины выглядывает фашистская харя. В конце Рамблас, неподалеку от набережной, моему взору представилось диковинное зрелище: на стульях, поставленных здесь рядком для чистильщиков сапог, сидели, устало разваливаясь, бойцы милиции, все еще оборванные и грязные, явно прямо с передовой. Я догадался, кто они, и даже узнал одного из них. Это были бойцы милиции ПОУМ, накануне прибывшие с фронта и только здесь услышавшие о запрете ПОУМ; ночь им пришлось провести на улице, так как дома у них побывала с облавой полиция. Перед каждым бойцом милиции ПОУМ, вернувшимся в те дни в Барселону, вставал выбор: либо немедленно спрятаться, либо загреметь в тюрьму. Не очень-то теплый прием после трех-четырёх месяцев на передовой!

В странном мы оказались положении. Ночью ты был беглецом, спасающимся от преследования, зато днем мог вести почти нормальную жизнь. Каждый дом, известный тем, что здесь с симпатией относились к ПОУМ, находился – или, во всяком случае, мог находиться – под надзором полиции, а в гостиницу или пансионат нельзя было соваться, потому что администраторам предписывалось немедленно звонить в полицию при появлении каждого незнакомого лица. На практике это означало, что ночевать нам приходилось под открытым небом. С другой стороны, в дневное время человек, скрывающийся в таком большом городе, как Барселона, мог чувствовать себя в относительной безопасности. Хотя улицы были наводнены гражданскими гвардейцами, штурмгвардейцами, карабинерами и обычными полицейскими, не говоря уж о Бог весть скольких шпиках в штатском, останавливать всех прохожих они все-таки не могли, и если вы ничем не выделялись, вам удавалось затеряться в уличной толпе. Главное, следовало поменьше слоняться вокруг зданий ПОУМ да не заходить в кафе и рестораны, где официанты знали вас в лицо. Много времени в тот первый день, а также на завтра я провел в бане. Мне пришло в голову, что это неплохой способ коротать время, не мозоля глаза стражам порядка. К несчастью, эта же мысль пришла в голову очень многим, и через несколько дней – уже после моего отъезда из Барселоны – полицейские устроили в бане облаву и арестовали нескольких «троцкистов» в чем мать родила.

На Рамблас я повстречался с одним из раненых, что лечился вместе со мной в санатории Маурина. Мы незаметно перемигнулись, как перемигивались люди в то время, и, стараясь не привлекать ничего внимания, встретились в ближайшем кафе. Ему удалось избежать ареста во время полицейской облавы в санатории, но, как и все другие, он оказался выброшенным на улицу. Он был в одной рубашке – спасаясь бегством, не успел надеть куртку – и без денег. Один гражданский гвардеец,

рассказал он, сорвал у него на глазах со стены большой цветной портрет Маурина, швырнул себе под ноги и растоптал. Маурин (один из основателей ПОУМ) попал в руки к фашистам и к тому времени был, судя по всему, расстрелян ими.

С женой я встретился в британском консульстве в десять часов. В тот же день мы с ней навестили Коппа. С заключенными – кроме тех, кого содержали без права переписки и сообщения, – разрешались свидания. Правда, наведаться к ним, не навлекая на себя подозрений, можно было лишь раз-другой. Полицейские следили за посетителями. И если кто-то слишком увлекался хождением по тюрьмам, он разоблачал себя в их глазах как друг «троцкистов» и сам мог кончить тюрьмой. С некоторыми уже так и случилось.

Копп не был лишен права переписки, и мы без труда получили разрешение на свидание с ним. В тот момент, когда нас пропускали через обитые железом двери тюрьмы, двое гражданских гвардейцев выводили наружу бойца милиции – испанца, в котором я узнал знакомого фронтовика. Наши глаза встретились – и снова это конспиративное подмигивание. А первым, кого мы увидели внутри, оказался боец милиции – американец, который несколькими днями раньше выехал на родину; документы у него были в полном порядке, но несмотря на это его арестовали на границе; возможно, его выдали форменные вельветовые бриджи, по которым он был опознан как боец милиции. Мы разминулись, сделав вид, что незнакомы. Ужасно! Мы знали друг друга несколько месяцев, жили в одной землянке, он тащил меня в тыл, когда меня ранило, но поступить иначе мы сейчас не могли. Всюду шпионили охранники в синих мундирах. Для человека, узнавшего слишком многих узников, это могло иметь роковые последствия.

Эта так называемая тюрьма на самом деле представляла собой нижний этаж магазина. В две комнатки было втиснуто чуть ли не сто человек. Вся обстановка живо напоминала картинку из «Справочника нью-гейтской тюрьмы», изображающую темницу XVIII века: грязь, кишение человеческих тел, отсутствие мебели – лишь голый каменный пол, одна скамья да несколько драных одеял, – тусклый полумрак даже днем, так как окна закрыты рифлеными железными ставнями. На запачканных стенах нацарапаны революционные лозунги: «Да здравствует ПОУМ!», «Да здравствует революция!». Это помещение уже не первый месяц использовалось как тюрьма для политических заключенных. Стоял оглушительно громкий гул голосов. Наступил час свиданий, и в комнаты набилось столько народу, что негде было яблоку упасть. Почти все посетители принадлежали к беднейшему слою трудящегося населения. Женщины развязывали жалкие узелки со съестным, принесенные своим заключенным мужьям и сыновьям. Среди узников я узнал нескольких раненых из санатория имени Маурина, у двоих была ампутирована нога. Одного из них запихнули в тюрьму без костыля, и он прыгал на одной ноге. Среди заключенных я заметил мальчика лет двенадцати, не больше – очевидно, сажали даже детишек. Воздух в помещении был спертым и смрадным, каким он всегда бывает в местах большого скопления людей при отсутствии должных санитарных условий.

Копп проталкивался через толпу навстречу нам. Его пухлое краснощекое лицо выглядело почти как обычно; несмотря на окружающую грязь, его форма имела опрятный вид, и он даже ухитрился быть чисто выбритым. В окружающей толпе был еще один офицер, носивший форму Народной армии. Когда Копп, пробираясь к нам, оказался напротив него, они отдали друг другу честь. Однако жест этот показался мне трогательно-жалким. Копп, похоже, пребывал в распрекраснейшем настроении. «Ну что ж, по-моему, нас всех расстреляют», – весело сказал он. При слове «расстреляют» меня передернуло. Совсем недавно в мое собственное тело вошла пуля, и мне живо помнилось это ощущение; не очень-то приятно думать, что это

может случиться с человеком, которого ты хорошо знаешь. В то время я почти не сомневался, что всех, кто занимал важное положение в ПОУМ, в том числе и Коппа, ждет расстрел. До нас только что дошли первые слухи о гибели Нина, и нам стало известно, что ПОУМ обвиняется в измене и шпионаже. Все говорило о том, что готовится громкий инсценированный процесс с последующим массовым уничтожением видных «троцкистов». Ужасно видеть своего друга в тюрьме и знать, что ты ничем не можешь ему помочь. Ведь сделать для него я при всем желании ничего бы не смог; даже обращаться к бельгийским властям было бесполезно: поехав в Испанию, Копп нарушил закон своей собственной страны. Я был вынужден в основном помалкивать, предоставив жене говорить за нас двоих, так как мой слабый писклявый голос тонул в общем гомоне. Копп рассказывал нам о людях, с которыми он подружился в тюрьме; о тюремщиках, среди которых попадались и славные ребята, и сволочи, оскорблявшие и избивавшие тех узников, что не умеют постоять за себя; о том, что кормят здесь «помоями». К счастью, мы догадались захватить с собой кое-какие продукты и сигареты. Затем Копп стал рассказывать, какие документы отобрали у него при аресте. Среди них было письмо из военного министерства, адресованное полковнику, командующему инженерно-саперными операциями в Восточной армии. Полицейские забрали его и отказывались возвратить; говорят, оно лежит теперь в управлении начальника полиции. Если бы удалось выцарапать его у них, это, возможно, изменило бы дело.

Я тотчас же понял, сколь важное значение это могло бы иметь. Ведь официальное письмо такого рода, содержащее рекомендации военного министерства и генерала Посаса, подтвердило бы факт благонадежности Коппа. Но как доказать, что такое письмо есть? Если в управлении начальника полиции письмо вскроют, его наверняка уничтожит кто-нибудь из полицейской шатии. Только один человек мог бы, пожалуй, вытребовать письмо из полиции – офицер, которому оно было адресовано. Копп уже подумал об этом и написал письмецо, которое попросил меня вынести из тюрьмы и отправить по почте. Но ведь явно будет быстрее и надежнее, если я пойду к этому офицеру сам. Оставив жену с Коппом, я выскочил наружу и – после долгих поисков – нашел такси. Время, я знал, сейчас – это все. Было около половины шестого; полковник, вероятно, уйдет с работы в шесть, а до завтра с письмом может случиться что угодно: его могут или уничтожить, или просто затерять в бумажном хаосе – ведь горы документов, вероятно, растут по мере того, как арестовывают одного неблагонадежного за другим. Служебный кабинет полковника помещался в здании Военного управления на набережной. Когда я взбежал по ступенькам подъезда, часовой-штурмгвардеец перегородил вход винтовкой с длинным штыком и потребовал: «Ваши документы!» Я помахал перед его лицом своим свидетельством об увольнении; как видно, он не умел читать и, чтя непонятную и таинственную власть «документов», пропустил меня внутрь. Военное управление представляло собой громадный муравейник со сложным лабиринтом коридоров, внутренним двориком посредине и сотнями служебных кабинетов на каждом этаже. Ну и как уж водится в Испании, никто не имел ни малейшего понятия о том, где находится нужный мне кабинет. Я без конца твердил: «El coronel... jefe de ingenieros, Ejército del Este»[14]. Люди улыбались в ответ и учтиво пожимали плечами. Все, кто высказывал какие-то соображения о том, где искать кабинет полковника, посылали меня в противоположные стороны: поднимитесь по этой лестнице, спуститесь по той лестнице, прямо по коридору. Бесконечно длинные коридоры заканчивались тупиками. А время уходило. У меня появилось престранное ощущение, что все это снится мне в кошмарном сне: я ношусь вверх-вниз по лестницам; туда и сюда снуют с таинственным видом какие-то люди; я бросаю через открытые двери беглые взгляды на неубранную внутренность кабинетов с разбросанными всюду бумагами, слышу доносящийся оттуда стук пишущих машинок; меня терзает сознание, что время бежит, а жизнь человека, может быть, висит на волоске.

Все же до нужного кабинета я добрался вовремя, и меня, к некоторому даже удивлению с моей стороны, согласились выслушать. Самого полковника я не видел, но ко мне вышел в приемную его адъютант или секретарь, миниатюрный стройный офицер в изящно сидящей форме и с большими косящими глазами. Я принялся излагать свое дело. Так и так, я пришел сюда от имени своего старшего офицера, майора Хорхе Коппа, который был послан со срочным заданием на фронт и которого по ошибке арестовали. Письмо полковнику имеет конфиденциальный характер и должно быть безотлагательно возвращено. Я служил с Коппом много месяцев, это офицер высочайшей репутации, его арест – явная ошибка, полиция приняла его за кого-то другого и т. д. и т. п. в том же роде. Особенно я упирал на срочность задания, с которым Коппа послали на фронт, зная, что это сильнейший из моих доводов. Но в моих устах эта история звучала, наверное, довольно странно, тем более что мой отвратительный испанский язык в критические моменты переходил во французский. Хуже всего было то, что голос у меня почти сразу сел, и, только до предела напрягая его, я мог издавать какое-то кваканье. Я с ужасом ожидал, что голос пропадет совсем и маленькому офицеру надоест вслушиваться. Интересно, как объяснил он себе странность моей дикции: что перед ним сидит пьяный или просто человек с нечистой совестью?

Как бы то ни было, он терпеливо слушал меня, часто кивал головой и выражал осторожное согласие с тем, что я говорил. Да, похоже на то, что могла произойти ошибка. В этом деле, конечно, надо разобраться. Ма́папа... Нет, только не та́папа, запротестовал я. Дело не терпит отлагательства; Копп уже должен быть на фронте. И снова офицер, по-видимому, согласился. Затем последовал вопрос, которого я страшился.

– А этот майор Копп – в какой части он служил?

– В милиции ПОУМ. – Ужасное слово было произнесено.

– ПОУМ!

Как бы я хотел передать интонацию его возгласа! Он был явно поражен и встревожен. Здесь надо напомнить, как смотрели на ПОУМ в тот острый момент. Психоз шпиономании достиг апогея; вероятно, все благонамеренные республиканцы на день-другой уверились в том, что ПОУМ и впрямь представляла собой гигантскую шпионскую организацию, состоящую на службе у Германии. На офицера Народной армии мое сообщение произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Его темные косящие глаза изучали мое лицо. После еще одной долгой паузы он медленно проговорил:

– Вы сказали, что воевали вместе с ним на фронте. Значит, и сами вы служили в милиции ПОУМ?

– Да.

Он повернулся и нырнул в кабинет полковника. Из-за двери доносились возбужденные голоса. «Все кончено», – мелькнуло у меня в голове. Письмо, отобранное у Коппа, теперь не вернуть. Больше того, меня вынудили признаться, что я тоже служил в ПОУМ; они наверняка позвонят в полицию, и меня арестуют, просто чтобы добавить еще одного «троцкиста» к остальной компании. Вскоре, однако, офицер снова вышел в приемную, поправляя фуражку, и строгим жестом велел мне следовать за ним. Мы шли в управление начальника полиции. Дорога была длинная – двадцать минут ходьбы. Маленький офицер решительно шагал впереди меня четким строевым шагом. За

весь путь мы не обменялись ни единым словом. И вот мы в управлении начальника полиции. Перед дверью в его кабинет толпились мерзавцы самой отвратительной наружности, явно полицейские шпики, доносчики и шпионы всех сортов. Маленький офицер вошел внутрь; начался разговор на повышенных тонах, который тянулся томительно долго. Было слышно, как за дверью повышаются в яростном споре голоса; мне живо рисовались в воображении резкие жесты, пожимания плечами, удары кулаком по столу. Было очевидно, что полиция отказывается отдать письмо. Наконец офицер появился на пороге – возбужденный, покрасневший, но с большим служебным конвертом в руке. Это было письмо, конфискованное у Коппа. Мы одержали маленькую победу. Правда, как выяснилось потом, это ровным счетом ничего не меняло. Письмо было честь честью вручено адресату, но военное начальство Коппа не имело никакой возможности вызволить его из тюрьмы.

Офицер обещал мне, что письмо будет передано по назначению. А как же насчет Коппа? – спросил я. Разве не можем мы добиться, чтобы его освободили? Офицер пожал плечами. Это совсем другое дело. Им ведь не известно, за что арестован Копп. Он может только заверить меня, что будут наведены соответствующие справки. Говорить больше было не о чем, пришла пора прощаться. Мы слегка поклонились друг другу. И тут произошло нечто удивительное и трогательное. Маленький офицер, мгновение поколебавшись, шагнул ко мне и пожал мою руку.

Не могу передать, как глубоко растрогал меня его поступок. Казалось бы, какой пустяк, но это не было пустяком. Надо представить себе царившую тогда атмосферу – ужасную атмосферу подозрительности и ненависти, когда всюду циркулировали лживые измышления и слухи, а плакаты кричали со щитов, что я и все подобные мне – фашистские шпионы. И надо еще помнить, что сцена эта происходила перед дверьми кабинета начальника полиции на глазах у гнусной шайки доносчиков и провокаторов, любому из которых могло быть известно, что меня «разыскивает» полиция. Это было все равно, что на людях обменяться рукопожатием с немцем во время мировой войны. Наверное, он решил про себя, что на самом деле я не фашистский шпион, но все равно пожать мне руку было благородным жестом с его стороны.

Я привожу этот факт, пусть даже он покажется тривиальным, потому что он тем не менее характерен для Испании: испанцам свойственны подобные всплески благородства в худших из обстоятельств. Об Испании у меня сохранились самые скверные воспоминания, но зато очень мало дурных воспоминаний об испанцах. Всего пару раз, помнится, я был по-настоящему сердит на испанца, да и то, когда я оглядываюсь теперь назад, мне кажется, что в обоих случаях неправ был я сам. Испанцам, вне всякого сомнения, присуще великодушие, то благородство души, которое принадлежит иному, не XX веку. Это дает надежду на то, что в Испании даже фашизм мог бы принять сравнительно нежесткую и терпимую форму. Испанцам мало свойственна та отвратная деловитость и последовательность, в которых нуждается современное тоталитарное государство. В качестве своеобразной маленькой иллюстрации, подтверждающей это, приведу случай, происшедший несколькими днями раньше, когда полицейские производили обыск в номере моей жены. Вообще, этот обыск представлял собой очень занятный спектакль, и я хотел бы его видеть, хотя, быть может, лучше, что я его не видел: глядишь, потерял бы самообладание.

Полицейские производили обыск в патентованной манере ОГПУ или гестапо. Глубокой ночью громко зашумели в дверь, и шестеро мужчин быстро вошли в комнату, зажгли свет и, действуя по явно согласованному заранее плану, устремились каждый на свое место. Затем они с невероятной тщательностью обыскали обе комнаты (спальню и примыкающую ванную): простукивали стены, поднимали ковры, осматривали пол,

прошупывали шторы, шарили под ванной и под радиатором, высыпали содержимое каждого выдвижного ящика, каждого чемодана, проверяли на ощупь и подносили к свету каждый предмет одежды. Они забрали с собой все бумаги, в том числе и извлеченные из мусорной корзины, а также все наши книги в придачу. находка «Майн кампф» Гитлера во французском переводе вызвала у них пароксизм подозрительности. Не имей мы других книг, эта находка оказалась бы для нас роковой. Разве не ясно, что человек, читающий «Майн кампф», – наверняка фашист? Однако в следующее мгновение они наткнулись на брошюру Сталина «О мерах борьбы с троцкистами и иными двурушниками», которая несколько охладила их пыл. В одном из ящиков стола они обнаружили несколько пачек папиросной бумаги. Так каждую пачку они не поленились перебрать по листочку, внимательно осматривая их с обеих сторон в поисках записей. Процедура обыска заняла у них около двух часов. И за все это время они так и не обыскали постель! В постели, пока шел обыск, лежала моя жена; очевидно, что под матрасом можно было спрятать полдюжины пистолетов-пулеметов, а под подушкой – целую троцкистскую библиотеку. Однако сыщики не притронулись к кровати, даже не заглянули под нее. Я не могу поверить, что так принято действовать по инструкции ОГПУ. Имейте в виду, что полиция почти полностью находилась под контролем коммунистов и что полицейские, производившие обыск, сами, наверное, являлись членами компартии. Но, будучи испанцами, они не могли заставить себя вытряхнуть из постели женщину. Для них это было слишком. Они просто проигнорировали эту часть своей работы, лишив тем самым всякого смысла весь обыск.

Той ночью Макнэр, Коттман и я улеглись спать в зарослях высокой травы на краю заброшенной строительной площадки. Ночь выдалась не по-летнему холодная, и выспаться никому из нас не удалось. Помню долгие гнетущие часы, проведенные без дела в ожидании, когда можно будет согреться чашкой кофе.

Мы вели какое-то странное, безумное существование. Ночью мы были преступники, зато днем – богатые английские туристы, каковыми, во всяком случае, старались казаться. Даже после ночлега под открытым небом бритые, ванна и начищенные ботинки чудесно преображают вашу внешность. Теперь безопаснее всего было выглядеть как можно более буржуазно. Мы стали часто посещать фешенебельные жилые кварталы города, где нас не знали в лицо, захаживали в дорогие рестораны и держались с официантами, как подобает истым англичанам. Впервые в жизни я начал писать лозунги на стенах. В коридорах нескольких шикарных ресторанов появилась на стенах надпись «Да здравствует ПОУМ!», выведенная самыми большими буквами, какие я только мог нацарапать. Хотя формально я жил все это время на нелегальном положении, у меня не было ощущения грозящей опасности. Слишком уж нелепой казалась вся ситуация. Я сохранял неискоренимое убеждение англичанина, что тебя не могут арестовать, раз ты не нарушал закона. Нет ничего опасней этого убеждения во время политического погрома. Уже был выписан ордер на арест Макнэра, да и фамилии остальных из нас, возможно, фигурировали в черном списке. Бесперывно продолжались аресты, облавы, обыски; практически все наши знакомые, за исключением тех, кто все еще воевал на фронте, оказались к этому времени в тюрьме. Полицейские даже производили обыски на борту французских пароходов, периодически забиравших беженцев, и хватали подозреваемых «троцкистов».

Благодаря любезности британского консула, которому мы, наверное, доставили много хлопот на той неделе, нам удалось выправить паспорта. Теперь следовало не медля уезжать. Ближайший поезд до Пор-Бу отправлялся по расписанию в половине восьмого вечера – значит, можно было ожидать, что он отойдет, как обычно, с часовым опозданием, около половины десятого. Мы условились с женой, что она заранее закажет такси, затем соберет вещи, оплатит счет и покинет гостиницу в самый

последний момент. Если она предупредит служащих гостиницы о своем отъезде слишком рано, те наверняка пошлют за полицией. Я добрался до вокзала около семи и узнал, что поезд уже десять минут как ушел. У машиниста, как водится, изменились планы. По счастью, я успел вовремя предупредить жену. Следующий поезд шел завтра рано утром. Макнэр, Коттман и я поужинали в привокзальном ресторанчике и с помощью осторожных расспросов выведали, что хозяин ресторанчика – член НКТ и настроен по отношению к нам дружелюбно. Он сдал нам номер с тремя постелями и забыл предупредить полицию. В первый раз за пять суток я смог поспать без одежды.

Наутро жена удачно улизнула из гостиницы. Отправление поезда задержалось примерно на час. Я воспользовался этим временем, чтобы написать длинное письмо в военное министерство, в котором изложил обстоятельства дела Коппа: что его, вне всякого сомнения, арестовали по ошибке; что он был послан со срочным заданием на фронт, где необходимо его присутствие; что множество людей может засвидетельствовать его полную невиновность и т. д. и т. п. Не знаю, прочел ли кто-нибудь это послание, написанное на листках, выдранных из блокнота, корявым почерком (у меня все еще были частично парализованы пальцы) и на еще более корявом испанском языке. Во всяком случае, ни это письмо, ни что-то другое не возымело действия. Сейчас, когда я пишу эти строки, через полгода после ареста Коппа, он (если только его не расстреляли) все еще сидит в тюрьме, без суда и следствия. На первых порах мы получили от него два-три письма, которые были тайком вынесены из тюрьмы освободившимися заключенными и отправлены по почте из Франции.

Они рисуют все ту же картину: содержание в грязных, темных застенках, плохое и недостаточное питание, серьезная болезнь как следствие скверных тюремных условий и отсутствия всякой медицинской помощи. Все это подтверждается свидетельствами, полученными мною из ряда других источников, английских и французских. А потом Копп исчез в одной из «секретных тюрем», с которыми, по-видимому, невозможна какая-либо связь извне. Он разделил судьбу десятков, если не сотен, иностранных граждан и бесчисленных тысяч испанцев.

В конце концов границу мы пересекли без всяких инцидентов. В поезде были вагоны первого класса и вагон-ресторан, первый вагон-ресторан, который я видел, в Испании. До последнего времени в Каталонии ходили поезда с вагонами только одного класса. Два детектива шли вдоль состава, переписывая фамилии иностранцев, но, когда они увидели нас за завтраком в вагоне-ресторане, это, кажется, убедило их в нашей респектабельности. Странно, как все переменялось. Еще полгода назад, в период верховенства анархистов, респектабельным считалось выглядеть по-пролетарски. Когда я ехал из Перпиньяна в Сербер, направляясь в Испанию, коммивояжер-француз, мой сосед по купе, со всей серьезностью убеждал меня: «В Испанию нельзя ехать одетым так, как вы. Снимите-ка этот воротничок и галстук. Не то с вас сорвут их в Барселоне». Он несколько преувеличивал, но его слова показывают, какой виделась тогда Каталония. И действительно, на границе анархисты-пограничники отправили обратно шикарно одетого француза и его жену – по-моему, только потому, что у них был слишком буржуазный вид. Теперь все перевернулось: наш буржуазный вид давал единственный шанс на спасение. В отделе контроля паспортов на границе проверили, не значимся ли мы в картотеке разыскиваемых, но благодаря неоперативности полиции наши фамилии, в том числе и Макнэра, там благополучно отсутствовали. Нас обыскали с головы до ног, но ничего компрометирующего мы при себе не имели, если не считать моих документов об увольнении, но обыскивавшие меня карабинеры, слава Богу, не знали, что 29-я дивизия была подразделением ПОУМ. И вот мы прошли через барьер, и я снова



оказался, ровно через полгода, на французской земле. Единственными сувенирами, которые я вывез из Испании, были бурдюк да еще маленькая железная лампа. Я подобрал ее в разрушенной крестьянской лачуге, и это каким-то чудом сохранилось в моих пожитках. Арагонские крестьяне заправляют такие лампы оливковым маслом. По форме своей они являются почти точными копиями терракотовых светильников, применявшихся римлянами две тысячи лет тому назад.

И все же, как выяснилось, наш отъезд не был чрезмерно поспешным. В первой же газете, которую мы увидели, объявлялось об аресте Макнэра по обвинению в шпионаже. Испанские власти чуточку поторопились с этим объявлением. По счастью, «троцкизм» не является преступлением, влекущим за собой обязательную выдачу преступника.

Интересно, что подобает первым долгом сделать человеку, после того как он, приезжая из охваченной войной страны, ступает на мирную землю? Лично я первым делом бросился к табачному киоску и купил столько сигар и сигарет, сколько смог втиснуть в свои карманы. Затем все мы отправились в буфет и выпили по чашке чаю, первой чашке чаю со свежим молоком за многие месяцы. Прошло несколько дней, прежде чем я привык к мысли, что сигареты можно купить в любой момент, когда захочется. Мне все казалось, что я увижу двери табачной лавки на запоре, а в витрине прочту категорическое объявление «No hay tabaco» – «Табака нет».

И вот – Англия. Пейзажи южной Англии за окном вагона дышат довольством и покоем. Даже не верится, что где-то там в мире что-то происходит: землетрясение в Японии, голод в Китае, революция в Мексике. Не волнуйтесь, молоко завтра будет оставлено у вашей двери, «Нью Стейтсмен» как обычно выйдет в пятницу... А за окном проплывает Англия, какой я ее помню с детства: полевые цветы на откосах, сочные луга с пасущимися крупными сытыми конями, сонные речки в зарослях ивняка, зеленые кроны вязов, дельфиниумы в садиках... Потом лондонские пригороды, баржи на грязной реке, знакомые улицы, афиши крикетных матчей, мужчины в котелках, голуби на Трафальгар-сквер, красные автобусы, синие мундиры полисменов – вся Англия, погруженная в глубокий-глубокий сон, от которого, боюсь, мы не очнемся, покуда нас не разбудит грохот разрывов.

1937 г.

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

(Перевод В. Мисюченко)

I

Диккенс принадлежит к тем достойным писателям, которых стоит (и многие пытаются) прикарманить. Если вдуматься, даже его погребение в Вестминстерском аббатстве было своеобразной кражей.

Писавшему предисловие к собранию сочинений Диккенса Честертону казалось совершенно естественным приписать тому свое собственное, сугубо личное увлечение средневековьем. Не так давно марксистский писатель Т. А. Джексон предпринял вдохновенную попытку обратить Диккенса в кровожадного революционера. Марксисты называют писателя «почти» марксистом, католики – «почти» католиком, а те и другие вместе объявляют его борцом за дело пролетариата (или «бедноты», как выразился бы Честертон). Правда, есть маленькая книжка о Ленине, где Надежда Крупская вспоминает, как в конце жизни Ленин попал на драматическое представление «Крикета на пустыре» и диккенсовская «мещанская сентиментальность» оказалась столь невыносимой для Ленина, что он ушел с середины спектакля.

Если предположить, что под «мещанством» Крупская имела в виду то, что именно она и могла иметь в виду, тогда мысль о «мещанской сентиментальности» выглядит более истинной, чем суждения Честертона и Джексона. Стоит, однако, заметить, что необычна просквозившая в ленинском замечании неприязнь к Диккенсу: людей, считающих, что его невозможно читать, много, но лишь немногие в какой бы то ни было форме враждебно воспринимают общий дух творчества писателя. Скажем, в свое время Бекхофер Робертс всерьез ополчился на Диккенса, издав пространный роман («Лицевая сторона идолопоклонства»), но то были всего-навсего личные нападки, по большей части вызванные тем, как Диккенс относился к жене. Даже один из тысячи диккенсовских читателей и слухом не слыхал о событиях, которыми напичкан роман и которые умаляют его творчество ничуть не больше, чем вторая по качеству кровать обесценивает «Гамлета»[15]. Книги Робертса хватило лишь на то, чтобы продемонстрировать: литературный образ писателя не имеет ничего общего с его личным обликом. Вполне возможно, в личной жизни Диккенс и был тем бесчувственным эгоистом, каким вывел его Бекхофер Робертс. А вот в опубликованных произведениях просматривается личность совершенно непохожая, личность, которая завоевала Диккенсу куда больше друзей, чем врагов. Вполне могло бы быть и наоборот, ведь Диккенс, даром, что относился к буржуазным писателям, на самом деле, несомненно, был ниспровергателем, радикалом, не ошибется и тот, кто назовет его бунтарем. В этом убедился всякий мало-мальски знакомый с творчеством Диккенса. Например, Гиссинг, лучший из авторов о Диккенсе, сам будучи кем угодно, только не радикалом, осуждал этот изъян в Диккенсе, желал, чтобы его не было, но ему и в голову не приходило отрицать наличие радикализма у писателя.

В «Оливере Твисте», «Тяжелых временах», «Холодном доме», «Крошке Доррит» писатель обрушивается на социальные институты Англии со свирепостью, на какую с тех пор не отваживался никто. Однако и это ему удалось проделать, не вызывая ненависти к себе, более того, те самые люди, на которых он напал, прикарманили его столь основательно, что сам Диккенс превратился в национальный институт. В отношении к Диккенсу английская публика всегда походила на слона, который удары палкой принимает за прелестное щекотанье. Мне и десяти лет не было, а школьные учителя уже напичкали меня Диккенсом по горло. Даже в том юном возрасте я видел в учителях сильное подобие мистера Крикля, и нет нужды повторять общеизвестное: адвокатов восхищает сержант Бузфуз, а «Крошка Доррит» – любимая книга в министерстве внутренних дел. Диккенсу, кажется, удалось подвергнуть критике всех и никого не восстановить против себя. Естественно, это вызывает вопрос: а не было ли в его критике общества чего-либо нереального? Какую определенную позицию – социальную, моральную и политическую – он занимает на самом деле? Как всегда, позицию легче определить, начав с того, кем или чем Диккенс не был.

Прежде всего, вопреки утверждениям господ Честертона и Джексона, он не был «пролетарским» писателем. Начать с того, что он не писал о пролетариате и тем схож с подавляющим большинством романистов как прошлого, так и настоящего. Попробуйте отыскать рабочий класс в художественной литературе, особенно в литературе английской, и все, что вы отыщете, – это провал. Вероятно, тут нужны пояснения. По вполне очевидным причинам сельскохозяйственный работник (пролетарий в Англии) в литературе показан достаточно хорошо, много написано о преступниках, отщепенцах и, в последнее время, о рабочей интеллигенции, а вот обычные городские пролетарии, люди, которые крутят колеса всеобщего движения, внимание романистов не привлекали. Когда же им удавалось обосноваться между двумя обложками, то всегда они превращались в объект жалости или развлекательного комиксования. Главное действие диккенсовских произведений неизменно происходит в среде среднего класса, другими словами, мещанского

сословия. Детальное исследование его романов выявляет подлинный объект писательского внимания: лондонская коммерческая буржуазия и ее присные – адвокаты, клерки, торговцы, содержатели гостиниц, мелкие ремесленники и прислуга. Среди его персонажей сельскохозяйственных рабочих нет, а промышленный рабочий всего один (Стивен Блэкпул в «Тяжелых временах»). Его лучшее изображение рабочей семьи, вероятно, Плорниши в «Крошке Доррит» (Пеготи, например, вряд ли принадлежит к рабочему классу), но в целом с персонажами такого типа писателю не везет. Если спросить обычного читателя, кто из диккенсовских персонажей-пролетариев ему запомнился, то почти наверняка будут названы трое: Билл Сайкс, Сэм Уиллер и миссис Гэмп. Грабитель, лакей и пьяница-повитуха – не очень-то представительный срез английского рабочего класса.

Во-вторых, Диккенс – не «революционный» (в обычном понимании слова) писатель. И тут его позиция требует некоторых уточнений.

Кем бы ни был Диккенс, он не был закулисным душеспасителем, эдаким доброжелательным идиотом, полагающим, будто мир станет совершенным, если дополнить или исправить пару-тройку законов или ликвидировать пару-другую аномалий. Есть смысл сравнить его, к примеру, с Чарльзом Ридом. Рид был куда лучше информирован, чем Диккенс, и несколько более энергичен в общественных делах. Он вправду ненавидел понятные ему злоупотребления, изобразил их в серии романов, которые при всей их абсурдности читались с большим интересом, вероятно, его заслуга в том, что по поводу мелких, но важных вопросов удалось изменить общественное мнение. Но его пониманию было совершенно недоступно, что при существующей организации общества определенные болезни не могут быть излечены. Риду представлялось так: выставь то или иное злоупотребление напоказ, вытащи его на свет божий, разоблачи, представь суду Британского жюри – и все станет хорошо. Диккенс по крайней мере никогда не воображал, что для избавления от прыщей их нужно срезать, у него на каждой странице видно понимание того, что общество ущербно где-то в самой основе. «В какой основе?» – как только возникает этот вопрос, тогда-то и начинается постижение позиции писателя.

Истина в том, что диккенсовская критика общества обращена почти исключительно к морали. Отсюда и полное отсутствие в его произведениях каких бы то ни было конструктивных идей. Он критикует закон, парламентское правление, систему образования и т. п., не давая сколько-нибудь ясных предложений, чем и как их можно заменить. Конечно, созидательные программы вовсе не обязательны для писателя или сатирика, но дело-то в том, что во взглядах Диккенса, в самой их основе, нет идеи разрушения. Нет сколько-нибудь ясного признака, что он хотел бы свергнуть существующий строй или что он усматривал хоть какую-то разницу, если тот был бы свергнут. Ибо подлинная мишень для него не столько общество, сколько «человеческая натура». Трудно найти в какой-либо из его книг место, позволяющее предположить, что экономическая система порочна как система, нигде не нападает он на частное предпринимательство или на частную собственность. Даже в такой книге как «Наш общий друг», где все построено на власти, с какой мертвецы вмешиваются в дела живых посредством идиотских завещаний, автору и в голову не приходит предложить лишить частные лица этой безответственной власти. Конечно, каждый может сам прийти к такому выводу, может вывести его из замечаний о завещании Баундерби в конце «Тяжелых времен». Вообще из всего творчества Диккенса можно понять, каким злом является попустительствующий капитализм, но сам Диккенс такого вывода не делает. Говорят, Маколей отказался рецензировать «Тяжелые времена», так как опровергал «угрюмый социализм» этого романа. Ясно, что в данном случае Маколей использует слово «социализм» в том смысле, в каком лет двадцать назад вегетарианская пища или кубистская картина именовались не

иначе как «большевизмом». В романе нет и строки, которую можно было бы принять по-настоящему за социалистическую, уж если и есть в романе направленность, то – прокапиталистическая, так как вся его мораль состоит в том, что капиталисты должны быть добрыми, а не в том, что рабочие должны быть бунтарями. Баундерби – грубый пустозвон, а Грандгринд – морально слеп, но будь они лучше, система работала бы достаточно хорошо – таков сквозной подтекст. В том, что касается социальной критики, из Диккенса, не приписывая ему иных скрытых смыслов, никак нельзя извлечь большего. Все его «идейное содержание» выглядит поначалу огромной банальностью: если бы люди вели себя достойно – мир был бы достойным.

Естественно, тут требуется ряд персонажей, которые, занимая влиятельное положение, на самом деле вели бы себя достойно. В ход идет повторяющаяся у Диккенса фигура – добрый богатый человек. В особенности герой сей характерен для диккенсовского раннего оптимистического периода. Обычно он – «по торговой части» (вовсе не обязательно, что нам поведают, какой торговлей он занимается, каким товаром торгует), и всегда – сверхчеловечески добросердечный пожилой джентльмен, который «рысцей» носится взад-вперед, увеличивая жалованье своим служащим, глядя детей по головкам, высвобождая должников из тюрем, в общем, действуя как фея-крестная из сказок. Разумеется, эта фигура чистый вымысел, она куда дальше от реальной жизни, чем, скажем, Сквирс или Микобер. Сам Диккенс время от времени должен был замечать, что тот, кто столь ретиво раздает деньги, скорее всего никогда их не обретет. Пиквик, к примеру, «обретался в большом городе», но трудно представить, что он там сколотил состояние. Как бы то ни было, герой сей прошивает большинство ранних произведений, как соединительная нить: Пиквик, Чериблы, старый Чезлвит, Скрудж – та же фигура снова и снова: добрый богач, раздающий гиней. Правда, Диккенс делает шаг к развитию: в книгах его среднего периода добрый богач на время покидает сцену. Нет никого, кто играл бы эту роль в «Сказке двух городов» или в «Великих ожиданиях» (последний роман, по сути, резкая критика благотворительного патронажа), а в «Тяжелых временах» ее с большими сомнениями можно отдать Грандгринду после его обращения. Наш герой вновь на сцене как Миглз в «Крошке Доррит» и как Джон Джарднис в «Холодном доме», к ним можно добавить, пожалуй, и Бетси Тротвуд из «Дэвида Копперфильда». В этих романах, правда, добрый богач выродился из «торговца» в рантье. Это знаменательно. Рантье принадлежит к имущему классу, он может, и почти того не сознавая, заставляет других людей работать на себя, но прямой власти у него очень мало. В отличие от Скруджа или Чериблов он не в силах все исправить, повысив всем зарплату. Из довольно упаднических книг, которые Диккенс написал в 50-е годы, казалось бы, явствовало, что к тому времени он уловил бесполезность благонамеренных личностей в испорченном обществе. Тем не менее в последнем завершённом романе, «Наш общий друг» (опубликован в 1865–1866 годах), добрый богач опять появляется в полном блеске славы в образе Боффина. Боффин по происхождению пролетарий и богат только благодаря наследству, но он обычный *deus ex machina*, разрешающий все и всяческие проблемы, сыплющий деньгами во всех направлениях. Он даже носится «рысцей», как и Чериблы. В некотором отношении «Наш общий друг» стал возвратом к ранней манере и, прямо скажем, возвратом отнюдь не безуспешным. Мысль Диккенса, по-видимому, сделала полный круг: вновь личная доброта – средство от всех бед.

Об одном вопиющем для того времени зле у Диккенса сказано очень мало, о детском труде. Описаний страдающих детей в его книгах предостаточно, но куда чаще страдают они в школах, чем на фабриках. В одном месте детский труд показан писателем в деталях: в сценах, где речь идет о том, как маленький Дэвид Копперфильд моет бутылки на складе фирмы «Мердстон энд Гринби». Это, конечно, автобиография. Диккенс с десяти лет работал на гуталинной фабрике Уоррена, что в

Стренде, точно так, как то описано в романе. Память о тех днях для писателя была ужасно горькой; частично из-за ощущения, что вся эта история бросает тень на его родителей, он даже скрывал ее от жены многие годы после свадьбы. Обращаясь к тому времени, он пишет в «Дэвиде Копперфильде»:

«Меня и сейчас еще немного удивляет та легкость, с которой я, совсем еще мальчик, был отвергнут. Ребенок очень способный и наблюдательный, подвижный, пытливый, чувствительный, легко ранимый и физически и душевно, я, как чудом, был изумлен тем, что никто и не подумал выручить меня. Не было ни чуда, ни помощи, и в десять лет я стал маленькой рабочей лошадкой на службе у „Мердстон энд Гринби“».

И снова, уже описывая разбитных ребят, среди которых он работал:

«Слова бессильны выразить, в какой тайной агонии пребывала душа моя, когда меня засасывало это товарищество... и я чувствовал, как рушатся у меня в груди надежды вырасти человеком образованным и уважаемым».

Говорит это, понятно, не Дэвид Копперфильд, а сам Диккенс. В автобиографии, начатой и брошенной им несколькими месяцами раньше, он пользуется почти теми же словами. Конечно, он прав, говоря, что одаренный ребенок не должен работать по десять часов в день, наклеивая этикетки на бутылки, только вот не говорит он о том, что ни один ребенок не должен быть обречен на подобную судьбу, нет причин полагать, что так он и думал. Дэвид вырвался от Мердстона и Гринби, но Мик Ходок, Мили Картошка и другие все еще там, а примет особого беспокойства у Диккенса по этому поводу не видно. Как обычно, он не пробуждает осознания того, что нужно менять структуру общества. Он презирает политику, не ждет ничего путного, а тем более доброго от парламента (Диккенс был парламентским стенографом, и опыт этот, без сомнения, его разочаровал), к тому же он слегка враждебен и тред-юнионизму, самому обнадеживающему движению той поры. В «Тяжелых временах» и тред-юнионизм изображен немногим лучше рэкета, словно и существует он потому только, что наниматели еще не стали отцами родными для рабочих. Отказ Стивена Блэпула вступить в профсоюз Диккенс подает скорее как достоинство. Как отметил Т. А. Джексон, ассоциация подмастерьев в «Барнеби Редж», к которой принадлежал Сим Тапертит, мыслилась ударом по нелегальным и едва-едва легальным профсоюзам диккенсовских времен с их тайными собраниями, паролями и т. п. Он хочет – и это очевидно, – чтобы с рабочими обращались достойно, но у него нет и следов желания, чтобы они взяли свою судьбу в собственные руки, того менее – путем открытого применения силы.

К революции (в узком понимании этого слова) Диккенс обращается в двух романах – «Барнеби Редж» и «Сказка двух городов». В первом речь идет скорее о бунте, чем о революции. Гордонские бунты 1780 года, хотя поводом для них служил религиозный фанатизм, оказались всего-навсего бесцельной вспышкой грабежа. Отношение к ним Диккенса достаточно характеризует то, что поначалу он намеревался сделать предводителями бунтов трех безумцев, сбжавших из сумасшедшего дома. От этого его отговорили, но главным героем книги фактически остается деревенский дурачок. В главах, где речь идет о бунтах, Диккенс демонстрирует всю глубину ужаса неистовствующей толпы. Восхитительно описаны им сцены, где «отребе» населения ведет себя с необузданной дикостью животных. Эти главы чрезвычайно интересны с психологической точки зрения, поскольку они свидетельствуют о глубине проникновения в данный предмет, тем более, описывая его, писатель мог опираться только на собственное воображение: никаких бунтов такой силы в течение его жизни не было. Вот, например, одно из его описаний:

«Распахнись двери Бедлама – и то на воле не оказались бы такие маньяки, каких породило неистовство той ночи. Безумцы плясали и топтали на клумбах цветы, словно давили врагов человеческих, они рвали цветочные головки со стеблей, подобно дикарям, сворачивающим людям шеи. Одни бросали в воздух зажженные факелы и подставляли под них головы и лица, которые покрывались чудовищными ожогами, вздували кожу отвратительными волдырями. Другие бросались к огню и барахтались в нем, разгребая руками пламя, как воду, иных силой удерживали от удовлетворения смертельной страсти – нырнуть с головой в это море огня. Пьяный парень – по виду ему не было и двадцати – валялся на земле с бутылкой, словно прилипшей к губам, на череп ему с крыши огненным душем струился добела раскаленный свинец, расплавляя голову парня, словно воск... Но среди истошно вопящей толпы не нашлось ни одного, в ком вид этих кошмаров вызвал бы жалость или хотя бы тошноту; ярость, одурманивающая, лютая, бессмысленная ярость не насытила в ту ночь ни единого человека».

Невольно в голову приходит мысль, будто читаешь описание «красной» Испании, сделанной сторонником генерала Франко. Следует, правда, помнить, что во времена Диккенса лондонские «шайки» еще существовали. (Сегодня нет никаких шаек, только стайки остались.) Низкая зарплата, рост и миграция населения породили массу опасного трущобного пролетариата, а ведь такой институт, как полицейские силы, стал складываться лишь к середине XIX века. Когда в воздухе начинали летать камни и обломки кирпичей, защищаться можно было только двумя средствами: закрыть ставни на окнах или приказать войскам открыть огонь.

В «Сказке двух городов» речь идет о революции, для которой действительность дала повод, и отношение к ней Диккенса, хотя и не совсем, но меняется. По сути, «Сказка двух городов» – это книга, которая может оставить по себе, особенно спустя некоторое время, ложное впечатление. Все ее читавшие помнят одно – власть и царство террора. Над всей книгой доминирует гильотина: грохочущие по бульжнику телеги-«самосвалки», окровавленные ножи, головы, отскакивающие в корзину, зловещие старухи, наблюдающие за всем этим, не отрываясь от вязальных спиц. На самом деле такие сцены занимают лишь немногие главы, но написаны они с бешеной экспрессией, с напором, в то время как действие в остальной части книги протекает и неторопливо, и ровно. Все же «Сказку двух городов» под одну обложку с «Багрянцем на цветах» не поместишь, Диккенс понимает, что Французская революция была предопределена и что многие ее жертвы получили по заслугам. Если, говорит он, вести себя так, как вела французская аристократия, то возмездие последует с неотвратимостью природного закона. К мысли этой Диккенс возвращается снова и снова, словно напоминая: пока «милорд» нежится в постели при четырех ливрейных лакеях, подающих ему шоколад, а крестьяне по домам мрут с голоду, в каком-нибудь лесу в это время растет дерево, которое, дайте только срок, пойдет на доски для платформы под гильотину... Неизбежность террора, его причины обозначены совершенно недвусмысленно:

«Излишне... говорить об этой ужасной революции так, будто она – впервые с сотворения мира – принесла урожай, который никто не засеивал, будто не творилось ничего такого, что не приближало (или хотя бы отдаляло) ее начало, будто ученые люди не видели, как нищали миллионы и как варварская алчность господ истощала ресурсы, которые могли бы сделать преуспевающей всю Францию, будто на годы и годы вперед не видели они приближения неизбежного и будто не рассказали они просто и ясно о том, что видели».

А вот еще:

«Все алчущие и ненасытные чудища, какие только можно вообразить со времен появления самого воображения, сплелись, срослись в едином, ужасном и реальном, – гильотине. Богата разнообразием почв и климатических зон Франция, но ни один росток или листок, ни один ключ или родник, ни единое семя не вызреет, не разовьется в ней в обстоятельствах более predetermined, чем те, какие произвели на свет этот ужас. Бросьте вновь человечество на ту же наковальню, сокрушите его теми же молотами – и оно сплющится, свернется в такие же уродливые формы».

Другими словами, французская аристократия сама вырыла себе могилу. Нет тут, однако, осознания того, что нынче зовется исторической необходимостью: понимая, что если есть причины, то итог неизбежен, Диккенс все же убежден, что причин этих можно было бы избежать. Революция произошла потому, что века угнетения превратили французских крестьян в полулюдей, вот если бы злобный дворянин смог, как Скрудж, начать новую жизнь, не было бы ни революции, ни жакерии, ни гильотины – и тем лучше, намного лучше! С «революционным» мышлением это расходится, с «революционной» точки зрения классовая борьба есть основной источник прогресса, а потому дворянин, который обирает крестьянина и понуждает того восставать, играет роль необходимую, точно так же, как и якобинцы, которые бросают этого дворянина на гильотину. Найти у Диккенса хотя бы строку, которой можно было бы придать именно такой смысл, невозможно. В его понимании революция – это чудовище, которое порождается тиранией и которое всегда кончается пожиранием собственных органов. Поднимаясь на гильотину, Сидней Картон пророчески провидит, как Дефарж и другие вдохновители террора все погибнут под тем же ножом, – примерно так оно, кстати, и произошло.

Революционные сцены из «Сказки двух городов» запоминаются потому, что в них есть признаки ночного кошмара, а он – собственный кошмар Диккенса, убежденного, что революция и есть чудовище. Он не перестает настаивать на бессмысленности ужасов революции – массовых боен, несправедливости, неотступной боязни шпионов, в трепет бросающей кровожадности толпы. В «Барнеби Редж» описания парижской черни превосходят все что угодно: например, сцена, когда шайка убийц устраивает свалку у точильного камня из-за нетерпения побыстрее наострить оружие, прежде чем рубить им заключенных во время сентябрьской бойни. В революционерах писатель видит лишь деградировавших дикарей, а то и попросту умалишенных. В безумствах их он разбирается пылливо, с большой глубиной и силой художественного проникновения. Вот как, к примеру, он описывает их танцующими «Карманьолу»:

«Не меньше пятисот человек собралось, и плясали они, как пять тысяч демонов... Плясали под популярную песню Революции, отбивая свирепый ритм, что было подобно скрежетанию зубами в унисон... Они сходились и отступали, били друг друга в ладони, хватили друг друга за головы, волчком крутились поодиночке, сцеплялись и вертелись парами, пока многие в изнеможении не попадали наземь... Вдруг снова они застыли, замерли, вновь отбили ритм, выстраиваясь в линию по ширине прохода, потом низко опустили головы, высоко, как крылья, взметнули руки, уподобившись хищным птицам, и – разлетелись, пронзительно крича. Ни одна схватка не могла быть и вполнину такой ужасной, как этот танец, ставший нарочито низменной забавой: то, что когда-то было невинно и безобидно, выродилось в полную дьявольщину».

Некоторых из этих бедняг Диккенс даже одаривает страстью к гильотинированию детей. Отрывок, который я привел выше в сокращении, стоит прочесть целиком, он и другие, ему подобные, показывают, сколь глубоко было у Диккенса отвращение к

революционной истерии. Присмотритесь, например, к этому штриху: «низко опустили головы, высоко, как крылья, взметнули руки» и т. д. – взгляните в видение зла, которое им передается.

Мадам Дефарж, эта неистовая фурия, несомненно, самое удачное у Диккенса изображение характера злобного. Дефарж и другие – просто «новые угнетатели, поднявшиеся на разрушении старого», в революционных судах председательствуют «самые низкие, самые жестокие, самые недостойные из жителей» и т. д. и т. п. Через всю книгу Диккенс проводит мысль о кошмарной незащищенности личности в революционный период и тем самым обнаруживает солидный дар предвидения. «Закон подозрительности, обрушивший всяческую безопасность для свободы и жизни, предающий любого хорошего и безгрешного человека и берущий под защиту любого плохого и виновного, тюрьмы, забытые не совершившими никаких проступков людьми, которых никто не желал хотя бы выслушать» – такая картина весьма аккуратно вписывается в сегодняшнюю жизнь некоторых стран.

Апологеты всякой революции стремятся преуменьшить ее ужасы, у Диккенса очевиден порыв преувеличить их. С точки зрения исторической, он, несомненно, преувеличил. Даже царство террора было куда меньше, чем он тщится его представить. Никаких цифр он не приводит, но создает впечатление, будто безумная бойня длилась годы напролет, в то время как, если считать по числу убитых, весь террор выглядит просто шуткой рядом с любым из наполеоновских сражений. Окровавленные ножи и «самосвалки», грохочущие по бульвару, пробуждают в писательском сознании особо злое видение, которое он с успехом передает поколениям читателей. Благодаря Диккенсу самое слово «самосвалка» приобрело убийственную окраску, забылось, что это – всего-навсего вид деревенской телеги. До сего дня для среднего англичанина образ Французской революции – это пирамида из отрубленных голов. Не странно ли: Диккенс, симпатизировавший идеям революции куда больше, чем большинство его современников и соотечественников, должен был внести свой вклад, чтобы сформировался такой образ.

Если вам ненавистно насилие, а веры в политику у вас нет, то единственным средством избавления от бед остается просвещение. Молиться о здравии всего общества, может, и поздно, но всегда есть надежда на отдельного представителя рода человеческого, особенно если взяться за него в достаточно молодом возрасте. Такое убеждение в какой-то мере объясняет пристрастие Диккенса к детству.

Никто, во всяком случае никто из английских писателей, не написал о детстве лучше, чем Диккенс. С тех пор накоплены новые знания, обращение с детьми в наши дни стало в общем-то разумным, и все же ни один романист так и не добился подобной силы проникновения в мирозерцание ребенка.

Мне было, если не ошибаюсь, лет девять, когда я впервые прочел «Дэвида Копперфильда». Душевный настрой первых же глав оказался для меня таким доступным, что по наивности я предположил, будто они написаны ребенком. Перечитывая книгу уже взрослым и замечая, как бывшие гиганты, фигуры роковые, например, Мердстоны, уже выглядят для тебя полукомическими чудовищами, все равно понимаешь, что эти страницы не утратили ничего. Диккенс умел найти такой поворот в детском сознании и вне его, что одна и та же сцена, в зависимости от возраста читавшего, могла обратиться и в безудержный бурлеск, и в злое видение. Вспомните, например, как Дэвида Копперфильда несправедливо обвиняют в том, что он съел бараньи котлеты, или как Пип («Великие ожидания»), вернувшись из дома мисс Хавишэм, обнаруживает, что абсолютно не в силах описать увиденного, а потому принимается беззастенчиво лгать, – и лжи его, конечно же, с готовностью



верят. Тут вся обособленность детства. А как точно и тонко передает писатель ход рассуждений в уме ребенка, тягу его ума к зримой образности, чувствительность к определенным впечатлениям. Пип вспоминает, как в детстве представлял себе родителей, глядя на их могильные плиты:

«Очертания букв на отцовской вызвали у меня, необъяснимо почему, представление о нем как о человеке коренастом, плотном, смуглом и с вьющимися черными волосами. Стиль и форма надписи: „а также Георгиана, жена вышеозначенного“ – привели меня к детскому заключению, что моя мать была веснушчатой и болезненной. Пяти небольшим, каждый в фута полтора длиной, каменным ромбам, которые, выстроившись аккуратным рядом у родительских могил, освящали память пяти моих младших братьев... я обязан убеждением, какому верил с религиозной истовостью, будто все они родились лежа на спине и при этом руки держали в карманах штанов, откуда не вынимали их всю жизнь на этом свете».

Похожий отрывок есть в «Дэвиде Копперфильде». Дэвида, укусившего Мердстона за руку, отсылают в школу, обязав носить на спине плакатик с надписью: «Остерегайтесь его. Он кусается». Он рассматривает на двери вырезанные мальчишками имена и по виду каждой надписи, казалось, угадывает, с каким выражением тот или иной мальчик прочтет плакатик:

«Некий Дж. Стиерфорс вырезал свое имя очень глубоко и очень часто, я вообразил, что он прочтет надпись громким голосом, а потом дернет меня за волосы. Сердце трепетало у меня при мысли, что другой мальчик, некто Томми Тредлз, обратит все в игру, притворившись, будто он до смерти боится меня. Был и третий, Джордж Демпл, кто, как я себе представил, эту надпись пропойет».

Читая это место ребенком, я считал, что как раз такое и воображается при виде таких имен. Причина, конечно, в звуковых ассоциациях (Демпл созвучно слову, обозначающему «храм», Тредлз – смахивает на «улепетывать»). Но сколько людей до Диккенса обращали на это внимание? В диккенсовские времена доброжелательное отношение к детям было куда большей редкостью, чем ныне. Начало XIX века не давало и не предвещало родившемуся тогда ребенку ничего хорошего. В юные годы Диккенса детей все еще всерьез судили в уголовных судах, выставляли их на всеобщее обозрение, не так далеко ушло и время, когда тринадцатилетних мальчиков вешали за мелкое воровство. Доктрина «переломить дух ребенка» была в полном расцвете, а «Семья Фейрчальдов» была обязательной книгой для детей почти до конца прошлого века. Ныне эта злая книга распрекрасно издается с исключением нежелательных мест, но стоит ознакомиться с оригинальной версией, чтобы получить некоторое представление, до каких пределов доходило порой стремление приучить ребят к дисциплине. Мистер Фейрчальд, например, когда заставлял своих детей ссорящимися, прежде всего порол их, сопровождая каждый удар розги стихом из доктора Уоттса: «Лишь пес ликует, лая и кусаясь», – а затем заставлял их коротать остаток дня под виселицей, на которой висел разложившийся труп убийцы. В начале прошлого века многие тысячи детишек – некоторым из них едва шесть лет минуло – работали буквально до смерти на шахтах и хлопковых фабриках. Даже в фешенебельных школах учеников до крови секли за ошибку при чтении латинских стихов. В отличие от большинства современников Диккенс, кажется, распознал в любви к порке элемент садистской сексуальности, я думаю, это можно понять из «Дэвида Копперфильда» и «Николаса Никлби».

Но духовная жестокость по отношению к ребенку возмущает писателя не меньше жестокости физической, и, хотя число исключений велико, школьные учителя у него, как правило, негодяи.

Достается на орехи от Диккенса всем имевшимся в тогдашней Англии видам образования, кроме университетов и крупных государственных школ. Есть академия доктора Блимбера, где детишек накачивают греческим языком до того, что они едва не лопаются; есть отвратительные благотворительные школы той поры, из которых вышли такие образчики человеческой породы, как Ной Клейпол и Урия Хип; есть Салем-Хауз и Доутбойз-Холл, есть и мерзкая дамская школа, содержащаяся теткой – бабушкой Уопсля. Кое-что из описанного Диккенсом верно и по сей день. Салем-Хауз – это предок современной «подготовительной школы», хранящей в себе «фамильные черты». А что до тетки – бабушки мистера Уопсля, то сейчас ее дело продолжают старые обманщицы того же пошиба почти в каждом небольшом городке Англии. Однако и тут, по обычаю, диккенсовская критика не конструктивна и не уничтожающа. Идиотизм системы просвещения, основанной на греческом лексиконе и навощенной розге, он не приемлет, но, с другой стороны, ему вовсе не нужна школа нового типа, зарождавшаяся в 50–60-е годы, «современная школа» с ее твердым упором на «факты». Чего же тогда он и впрямь хочет? Как всегда, на поверку все, что ему нужно, это морализованная версия уже существующего: школа старого типа, но без порки, без грубости, без недокорма, да чтоб не так много греческого. Школа доктора Стронга, куда ходит Дэвид Копперфильд после побега из «Мердстон энд Гринби», по сути тот же Салем-Хауз, пороки которого выведены за скобки, зато с добавлением здоровой порции духа «старых седых камней»:

«Школа доктора Стронга была превосходна, от заведения Крикля она отличалась, как добро от зла. В ней царил чинный порядок, во всем основанный на обращении к чести и доброй воле мальчиков... что творило чудеса. Все мы чувствовали себя соиздателями общего порядка в школе, все мы радели о ее облике и достоинстве. Не удивительно, что вскоре нас охватило чувство теплой привязанности к школе – о себе я могу сказать это с полной уверенностью, да и не знал я за все время учебы ни одного мальчика, чувствовавшего иначе. Мы и учились-то с добрыми намерениями, заботясь о престиже школы. После уроков мы затевали благородные игры или проводили время по своему усмотрению вне школы, но и тогда, насколько помню, крайне редко обликом или поведением порочили мы репутацию школы и воспитанников доктора Стронга, в городе о нас отзывались хорошо».

Расплывчатость и неопределенность этого отрывка свидетельствуют о полном отсутствии у Диккенса хоть какой-нибудь теории образования. Моральную атмосферу хорошей школы он представить мог – и не более того. Мальчики «учились с добрыми намерениями», но чему и как они учились? Без сомнения, по слегка разжиженным программам и методике доктора Блимбера. Принимая во внимание выраженное во всем творчестве Диккенса отношение к обществу, можно пережить шок, узнав, что старшего сына он послал учиться в Итон, а всех детей пропустил через обычную образовательную мельницу. Гиссинг полагает, что Диккенс мог поступить так потому, что он болезненно сознавал недостаточность собственного образования. Здесь на Гиссинга, возможно, влияла его личная любовь к классическому обучению. Формально у Диккенса если и было образование, то небольшое, однако, он ничего не потерял, не получив его, и, как представляется, понимал это. В том, что он оказался не способен вообразить школу получше, чем у доктора Стронга (или, в реальной жизни, получше Итона), возможно и проявилась интеллектуальная недостаточность, только отнюдь не та, которую предполагает Гиссинг.

Мне кажется, что всякая критика общества у Диккенса скорее нацелена на то, чтобы изменить его дух, а не на то, чтобы изменить его структуру. Бесплезно связывать его с каким-либо определенным средством социального исцеления, тем более – с какой бы то ни было политической доктриной. Его критика всегда лежит в плоскости

морали, его мировосприятие хорошо выражено в оценке школы доктора Стронга, которая отличалась от криклевой, «как добро от зла». Две вещи могут быть очень схожи, но и их способна разделять пропасть. Небеса и преисподняя расположены по соседству. Бесплезно менять общественные институты без «перемены сердца» – вот, в сущности, о чем он всегда говорит.

Ограничься все этим, и получился бы из него не более как писатель-бодрячок, реакционный лицемер. «Перемена сердца» – фактически то самое алиби людей, которые не желают подвергать опасности статус-кво. Только Диккенс не лицемер, если не считать малозначимых мелочей, а самое сильное впечатление, которое можно вынести из его книг, – это ненависть к тирании. Я уже говорил, что в общепринятом смысле Диккенс не был революционным писателем. Но было бы неверно полагать, будто просто моральная критика общества не способна быть такой же «революционной» – в конце концов революция означает переворот во всем, – как и модная ныне политико-экономическая критика. Блейк не был политиком, но в таких стихах, как «По вольным улицам брожу»[16], больше понимания природы капиталистического общества, чем в трех четвертях социалистической литературы. Прогресс – не иллюзия, он идет, но он медлителен и неизменно разочаровывает. Всегда найдется новый тиран, готовый сменить старого, обычно он не так уж и плох, но все равно – тиран. Следовательно, всегда здравы две точки зрения. Одна: как можно улучшить человеческую натуру, пока не изменена система? Другая: какая польза в изменении системы, пока не улучшена человеческая натура? Каждая из них привлекательна для различных типов личности и, возможно, обе находятся в постоянном процессе чередования, причем моралистская и революционная все время подрывают друг друга. Маркс взорвал сотни тонн динамита под позициями моралистов, и до сих пор мы живем в отзвуке этого грандиозного взрыва. Но уже там и сям работают саперы, закладывается новый динамит, чтобы рвануть Маркса до небес. Потом Маркс или похожий на него вернется с еще большим количеством взрывчатки – и так будет продолжаться процесс, конец которого предсказать невозможно. Центральная проблема – как уберечь власть от злоупотребления ею – остается нерешенной. Как раз это-то сумел понять Диккенс, у которого недоставало способности разглядеть в частной собственности вредоносное нарушение общественного порядка. «Если бы люди вели себя достойно, и мир был бы достойным» – не такая это банальность, как могло показаться поначалу.

## II

Диккенса можно полнее, чем большинство писателей, понять, принимая во внимание его социальное происхождение, хотя подлинная история его семьи вовсе не такова, какой она представляется некоторым по его романам. Отец его был чиновником на государственной службе, через родню матери он был связан с армией и флотом. Но с девяти лет Чарлз воспитывался в лондонской коммерческой среде, как правило, в обстановке перебивающейся бедноты. Духовно он принадлежал к мелкой городской буржуазии и в среде этого сословия являл собой превосходнейший образец, высокий уровень развития которого отмечен по всем «пунктам». В какой-то мере это и делает его столь интересным. Если подыскивать современный эквивалент, то ближе всего к Диккенсу был бы Герберт Уэллс, у которого сходный жизненный путь и который явно кое-чем обязан Диккенсу как романисту. К тому же типу можно отнести и Арнольда Беннета, правда, он был выходцем из Центральной Англии, скорее из промышленной и нонконформистской среды, чем из коммерческой и англиканской.

Великим недостатком – и преимуществом – мелкого городского буржуа является ограниченность взглядов. Мир для него – это мир среднего класса, а все, что выходит за эти рамки, либо смеху подобно, либо немного от лукавого. С одной стороны, он не связан ни с индустрией, ни с землей, с другой – никакой связи с

правлящими классами. Любой, внимательно читавший романы Уэллса, мог заметить: хоть тот и ненавидит аристократа, как отраву, но против плутократа не возражает, а к пролетарию относится без энтузиазма. Наиболее ненавистные ему типы – те, кто, по его мнению, несут ответственность за все беды человечества, – короли, землевладельцы, священники, националисты, солдаты, ученые, крестьяне. На первый взгляд, список, начинающийся королями и заканчивающийся крестьянами, выглядит попросту мешаниной, на самом же деле у всех, включенных в него, есть общий признак. Все они – архаические типы, те, кто руководствуется традицией и чьи взоры обращены в прошлое, то есть в сторону, противоположную той, куда устремлен поднимающийся буржуа, который вкладывает деньги в будущее, а на прошлое смотрит, как на отрезанный ломоть.

Диккенс, хотя и жил тогда, когда буржуазия на самом деле была поднимающимся классом, эту ее черту видит в реальности не так зримо, как Уэллс. Будущему он почти не уделяет внимания, проявляет довольно слезливую любовь к картинности («причудливая старая церковь» и т. д.). Тем не менее список наиболее ненавистных ему типов очень схож с уэллсовским, более того, схожесть их поразительна. На стороне рабочего класса он не очень осознанно: есть у него нечто похожее на общую симпатию к рабочим, потому что они угнетены, – в жизни он мало что о них знает, в книги его они вошли прежде всего как слуги, притом слуги коммерческие. На другом конце шкалы – ненавистный Диккенсу аристократ, а также (тут он на шаг опережает Уэллса) ненавистный крупный буржуа. Границы его истинных симпатий: мистер Пиквик сверху и мистер Баркис снизу. Стоит, однако, пояснить, что понимается под неопределенным термином «аристократ» в приложении к типу, который ненавистен Диккенсу.

Реальной мишенью для Диккенса служит не столько высшая аристократия (она в его книгах почти не появляется), сколько мелкие ее отпрыски: благородные вдовушки-попрошайки, живущие по нормам постоянных дворов в Мейфэйр, бюрократы и профессиональные военные. Бесконечны в его книгах злые, враждебные скетчи об этих людях, а вот отыскать написанное про них в дружелюбном тоне вряд ли удастся, например, благожелательных описаний землевладельцев нет вовсе. Некоторым исключением, не без колебаний, можно было бы считать сэра Лесестера Дедлока. А так Диккенс благосклонен лишь к Уардлу (стандартная фигура «старого доброго сквайра») и Хардейлу в «Барнеби Редж», потому что тот преследуется как католик. Незаметно дружелюбия по отношению к солдатам (то есть офицерам), а флотские лишены его напрочь. Что до чиновников, судей и советников магистратов, то большинству из них домом родным была бы Палата многословия. Единственными служащими, к которым Диккенс проявляет хоть какие-то признаки расположения, стали полицейские, что, кстати, симптоматично.

Англичанин воспринимает взгляды Диккенса легко, поскольку они суть часть английской пуританской традиции, не умершей и по сей день. Класс, к которому, пусть даже как приемш, принадлежал Диккенс, после пары веков прозябания вдруг сделался богатым. В рост он пошел в основном в крупных городах, не имея связи с сельским хозяйством и будучи импотентом политически; собственный опыт заставлял его считать правительство институтом, который либо вмешивается, либо карает. Соответственно, то был класс без традиций общественного служения и с плохо развитой привычкой приносить пользу. Сейчас в этом новом классе XIX века больше всего поражает как раз его полнейшая безответственность: мелкие нувориши все рассматривали и все оценивали с позиций личного успеха, они вообще едва ли осознавали, что живут и действуют в обществе. Вместе с тем некий Тит Барнакл, даже когда он пренебрегает своими обязанностями, должен иметь хотя бы смутное представление, что это за обязанности, которыми он пренебрегает. Взгляды

Диккенса никак не назовешь безответственными, ему чужда смайлсова устремленность на загребание денег, но в тайниках его сознания живет полуубеждение, что правительственный аппарат вообще, целиком не нужен. Парламент – это просто лорд Кудл и сэр Томас Дудл, империя – это просто майор Багсток и его слуга-индус, армия – это просто полковник Чоусер и доктор Сламмер, общественная служба – это просто Бамбл и Палата многословия и т. д. и т. п. И того писатель не видит или видит лишь урывками, что Кудл, Дудл и все другие оставшиеся от XVIII века мумии действуют, исполняя функцию, о которой ни Пиквик, ни Боффин и не подумают беспокоиться.

Надо сказать, что уость взглядов в одном плане оказывает Диккенсу великую услугу: видеть много смертельно опасно для карикатуриста. По Диккенсу, «приличное» общество есть лишь сборище сельских идиотов. Какая коллекция подобралась! Леди Типпинс! Миссис Гоуван! Лорд Верисофт! Достопочтенный Боб Стейблз! Миссис Спарсит (чьим мужем был некий Паулер)! Чета Барнаклов! Напкинс! Да это же журнал регистрации слабоумия! В то же время отрыв Диккенса от землевладельско-военно-чиновничьего сословия не позволяет ему создать полнокровную сатиру. Портреты сословных представителей выглядят удавленными тогда, когда он рисует умственно неполноценных. Бросавшееся Диккенсу при жизни обвинение в том, что он «неспособен изобразить джентльмена», абсурдно, но оно было верно в том смысле, что написанное им против «джентльменского» сословия редко наносило тому ущерб. К примеру, сэр Малберри Хоук – жалкая попытка изобразить тип злыдня-баронета. Хартхаус в «Тяжелых временах» – получше, но для Троллопа или Теккерея он был бы всего-навсего проходным персонажем. Мысль Троллопа вряд ли выходит за черту «джентльменского» круга, большим же преимуществом Теккерея были как раз точки опоры в двух моральных лагерях. В каком-то смысле его мирозерцание сходно с диккенсовским, как и Диккенс, он выступает на стороне пуританского денежного сословия против картежников и должников аристократов. XVIII век, каким он его видит, занозой торчит в XIX веке в образе порочного лорда Стейна. «Ярмарка тщеславия» – это развернутая панорама того, что обрисовал Диккенс в нескольких главах «Крошки Доррит». Но Теккерей по происхождению и воспитанию стоит ближе к сословию, сатирическое изображение которого он дает, и он может создать столь утонченные типы, как, например, майор Пенденис и Роудон Кроули. Майор Пенденис – пустой старый сноб, а Роудон Кроули – твердолобый грубиян, не считающий зазорным годами жить, надувая торговцев, и все же Теккерей понимает, что ни тот ни другой, исходя из их бесчестного кодекса, не является плохим человеком. Пенденис, к примеру, не подпишет «липовый» чек, Роудон, конечно, подпишет, зато, с другой стороны, не оставит друга в беде. Оба они будут храбрецами на поле брани – черта, не вызывающая почтения у Диккенса. В результате читатель проникается чувством забавной терпимости к майору Пенденису и чем-то похожим на уважение к Роудону, хотя именно на их примере читатель лучше, чем с помощью любой диатрибы, постигает полнейшую гнилость паразитирующей, лизоблудствующей жизни этой бахромы шикарного общества. Диккенс на такое не способен. Под его пером и Роудон, и майор обратились бы в традиционную карикатуру. Вообще его критика «приличного» общества довольно поверхностна. Аристократии и крупной буржуазии в его книгах, в основном, отведена роль своего рода «постороннего шума», где-то за кулисами бормочущего хора, вроде званных обедов Подснапа. Когда же он выводит действительно тонкий и разоблачающий портрет, такой, как Джона Доррита или Гарольда Скимпла, то изображается, как правило, лицо второстепенное, малозначимое.

Весьма поражает в Диккенсе, особенно с учетом времени, в которое он жил, отсутствие вульгарного национализма. Все народы, достигшие стадии становления как нации, склонны презирать иностранцев, но мало кто усомнится, что племена

англоговорящих здесь являют наихудшие образцы. Судить об этом можно хотя бы по такому факту: стоит лишь им узнать о существовании иной нации, как тут же придумывается для нее оскорбительная кличка. «Макаронник», «даго», «лягушатник», «олух», «жид», «шини», «ниггер», «восточник», «чинк», «масленщик», «желтопузый» – лишь небольшая коллекция примеров. До 1870 года список был бы короче, ибо иной, чем сейчас, была картина мира, в те времена в сознании англичан умещались всего три-четыре иных нации. Зато уж к ним, а особенно к Франции, ближайшей и самой ненавистной стране, англичане относились с таким невыносимо снисходительным презрением, что до сих пор о «надменности» и «ксенофобии» их ходят легенды. До совсем недавнего времени все английские дети воспитывались в презрении к южноевропейским народам, а история, которой учили в школе, ограничивалась перечислением одержанных Англией побед. Надо почитать, скажем, «Квотерли ревью» 30-х годов, чтобы понять, как выглядит истинное бахвальство. В те годы англичане слагали о себе легенду как о «крепьшах-островитянах» и «неподатливых сердцах из дуба», тогда же едва ли не за научный факт почиталось, что один англичанин равноценен трем иностранцам. На протяжении всего XIX века романы и открытки-комиксы изображали традиционную фигуру «лягушатника» – низенького смешного человечка с небольшой бородкой и высоким цилиндром, постоянно болтающего и жестикулирующего, самодовольного, фривольного, обожающего хвастать своими воинскими доблестями, но, как правило, удирающего без оглядки при появлении настоящей опасности. Ему противостоял, над ним возвышался Джон Буль, «крепкий английский йомен» или (по школьной трактовке) «сильный молчаливый англичанин» Чарльза Кингали, Тома Хьюза и других.

Теккерей, например, был сильно подвержен такому взгляду, хотя случались моменты, когда он, видя дальше, высмеивал его. Один исторический факт крепко засел у него в голове: англичане выиграли битву при Ватерлоо. Немного надо углубиться в его книги, чтобы в каждой не наткнуться на то или иное замечание по этому поводу. Англичанин, полагал он, несокрушим из-за своей огромной физической силы, приобретенной благодаря мясному рациону. Как и большинство англичан того времени, Теккерей разделял забавную иллюзию, будто сыны Альбиона крупнее, выше других людей (справедливости ради: сам Теккерей был и выше, и крупнее большинства людей), и мог написать даже такое:

«Говорю вам, что вы лучше француза. Готов даже деньги выставить в заклад, что вы, читающий сейчас эти строки, ростом больше пяти футов семи дюймов и весите одиннадцать стоунов (больше 170 см и около 70 кг – перев.), а француз же не выше пяти футов четырех дюймов да не тянет и девяти (около 163 см и 57 кг – перев.). Француз после своего супа блюдо овощей ест, вы же обедаете мясом. Вы иное – и высшего качества – животное, франкопобивающее животное (история сотен лет показывает вас таковым)» и т. д. и т. п.

Похожие пассажи разбросаны по всем произведениям Теккерей. Диккенс никогда не был повинен ни в чем подобном. Преувеличение утверждать, что он нигде не вышучивает иностранцев, и, конечно же, его, как и почти всех англичан XIX века, не коснулась европейская культура. Но нигде и никогда не потакал он традиционному английскому бахвальству, стилю разговора, наполненного фразочками типа «островная раса», «бульдोजья порода», «маленький бравый, маленький правый во всем островок» и т. п. В «Сказке двух городов» не найти ни строки, которую можно было понять как: «Смотрите, что вытворяют эти дьяволы-французы!». Единственное место, где у него прорывается нормальная ненависть к иностранцам, – это американские главы «Мартина Чезлвита». Тут, однако, просто реакция щедрого ума на лицемерие. Живи Диккенс сегодня, он съездил бы в Советскую Россию и, вернувшись, написал бы книгу, которая скорее всего походила бы на «Retour de

L'URSS» Андре Жида. Диккенс замечательно свободен от идиотизма расценивать нации, словно это отдельные личности. Он даже шутки, затрагивающие национальности, использует редко. У него, например, нет комичного ирландца или комичного валлийца – и вовсе не потому, что он против шаблонных персонажей и готовых шуток (против этого он как раз не возражает). Еще более значимо то, что он не вызывает никакого предубеждения против евреев. Правда, он принимает как должное («Оливер Твист» и «Великие ожидания»), что скупщиком краденого будет еврей, но в те времена так оно, вероятно, и было. Однако «еврейские шутки», эндемичные английской литературе до самого подъема Гитлера, в книгах Диккенса не появляются, а в «Нашем общем друге» он делает благочестивую, пусть и не очень убедительную, попытку встать на защиту евреев.

Отсутствие вульгарного национализма – частичное свидетельство подлинной огромности ума Диккенса и, частично, результат его отрицательной, довольно бесполезной политической позиции. Во многом он – англичанин, но вряд ли сам себе осознает, и уж, разумеется, мысль о принадлежности к англичанам не вгоняла его в священный трепет. Не было у него империалистических чувств, не было основательных взглядов на внешнюю политику, его не затронула военная традиция. По темпераменту Диккенс гораздо ближе к маленькому торговцу-нонконформисту, который свысока смотрит на «красные мундиры» и считает, что война есть зло, – взгляд односторонний, однако ведь в конечном счете война и есть зло. Показательно, что Диккенс почти не пишет о войне, даже для того, чтобы осудить ее. При всей своей великолепной силе описания, изображения вещей, порой вовсе им не виданных, он никогда не описывает сражений, если не считать штурма Бастилии в «Сказке двух городов». Возможно, сей предмет не вызывал у него интереса, в любом случае Диккенс не стал бы рассматривать поле брани как место, где все, что требуется решить, может быть решено. Это характерно для низшего слоя среднего класса, для пуританского умонастроения.

### III

Диккенс вырос, достаточно близко соприкасаясь с бедностью, чтобы чувствовать отвращение к ней, и он, несмотря на щедрость ума, не свободен от специфических предубеждений тех, кто тщательно скрывает свое нищенское происхождение либо самое нищету. Вошло в привычку именовать его «народным» писателем, поборником «угнетенных масс». Так оно и есть, только до той поры, пока он считает их угнетенными. Есть два момента, оказывающих воздействие на его позицию. Прежде всего, Диккенс выходец из южной Англии, стало быть, кокни, а потому не сталкивался с массой действительно угнетенных – промышленных и сельскохозяйственных рабочих. Забавно наблюдать, что Честертон, тоже кокни, все время пытается выставить Диккенса выразителем взглядов «бедноты», не имея при этом никакого представления, кто же на самом деле является этой «беднотой». Для Честертона «беднота» – мелкие лавочки и прислуга. Сэм Уиллер, утверждает он, «в английской литературе есть великий символ Англии присущего народа», а Сэм Уиллер – то камердинер! Во-вторых, опыт детских лет заложил в Диккенсе ужас перед грубостью пролетариев. Это проявляется у него безо всяких околичностей, как только он пишет о беднейших из бедных, об обитателях трущоб. Описания лондонских трущоб у него полны неприкрытого отвращения:

«Проходы и проезды были узки и загажены, лавочки и лачуги видом своим кричали о крайней нищете, шатались полуголые обитатели, неряшливые, пьяные и безобразные. Проулки и проходы под арками, вкупе со многими выгребными ямами, отрывали прямо на беспорядочные улицы и смрад, и грязь, и жизнь; весь квартал, как воню, был пропитан преступностью и развратом, как копотью, покрыт сквернословием и убожеством» и т. д. и т. д.

Похожих описаний у Диккенса много. Но им создается впечатление о целых популяциях парий, живущих, как он считает, по ту сторону границы человеческого. Почти тем же манером современный доктринер-социалист ничтоже сумняшеся списывает немалый слой населения в «люмпен-пролетариат».

У Диккенса обнаруживается также меньше, чем того можно было бы ожидать от него, понимание преступников. Да, он хорошо осведомлен о социально-экономических причинах преступности, но частенько дает основания предполагать, что считает, будто человек, однажды нарушивший закон, навсегда ставит себя вне общества. В одной из заключительных глав «Дэвида Копперфильда» рассказывается о посещении Дэвидом тюрьмы, где отбывают наказание Латимер и Урия Хип. Диккенс явно считает ужасающие «образцовые» тюрьмы (против которых так незабвенно выступил Чарльз Рид в своем романе «Никогда не поздно исправить») чересчур гуманными. Он негодует, что пища была слишком хороша! Если речь идет о преступности или о крайней нищете, ум Диккенса выказывает привычку к правилу: «Я сам всегда на стороне респектабельности». Чрезвычайно интересно отношение Пипа к Мэгвичу в «Великих ожиданиях» (это явно позиция самого Диккенса). Пип постоянно ощущает собственную неблагодарность по отношению к Джо, но куда меньше – по отношению к Мэгвичу, когда же он узнает, что тот, кто много лет осыпал его благами, на самом деле пересыльный каторжник, то его охватывают бешеные приступы отвращения. «Омерзение, которое я питал к этому человеку, злоба, которую я к нему испытывал, отвращение, с которым я избегал его, были столь велики, словно я видел перед собой какого-то страшного зверя» и т. д. и т. д. Насколько понимаешь из текста, все это не из-за того, что в детстве Пип натерпелся от Мэгвича на церковном погосте, а именно потому, что Мэгвич преступник и каторжник. Легкое дополнение к позиции «я-то-сам-респектабельный»: Пип решает, что он не может принять деньги Мэгвича. Деньги эти были добыты не преступлением, а заработаны честно, но они – деньги бывшего каторжника и уже поэтому «запятнаны». Замечу, в такой ситуации нет никакой психологической фальши. Психологически последняя часть «Великих ожиданий» на уровне лучшего, что создано Диккенсом, читая ее, не расстаешься с мыслью: «Да, именно так Пип и должен себя вести». Все дело в том, что в истории с Мэгвичем Диккенс в Пипе выражает себя с позиции в основе своей снобистской. Вот и попал Мэгвич в тот странный разряд героев, что и Фальстаф, возможно, и Дон Кихот – героев, которые оказываются более трогательными, чем задумывал автор.

Когда же речь идет о не совершавшем преступлений бедняке, об обычном, честном, в поте лица добывающем хлеб бедняке, то, разумеется, во взгляде на него у Диккенса нет и тени презрительности. Он искренне восхищается такими людьми, как Пеготи и Плорниши. Неясно только, считает ли он их действительно ровней. Исключительно интересно читать XI главу «Дэвида Копперфильда», сравнивая ее с автобиографическими заметками (часть их приведена Форстером в «Жизни»), где Диккенс выражает свои чувства по поводу работы на гуталинной фабрике куда сильнее, чем в романе. И через двадцать лет память об этом столь болезненна, что он предпочитает сделать крюк, лишь бы не попасть в тот район Стренда. Он признается, что пройтись там «я не мог без слез и рыданий уже и после того, как мой старший сын научился говорить». Текст свидетельствует недвусмысленно: самую острую боль как тогда, так и прежде, вызывали у него вынужденные встречи с «низкими» знакомцами:

«Слова бессильны выразить, в какой тайной агонии пребывала душа моя, когда я погружался в это товарищество, сравнивая моих нынешних, каждый день на работе встречаемых товарищей с теми, кого оставил я в моем более счастливом детстве. Но и на гуталинной фабрике я был не из последних... Скоро сделался я ничуть не хуже



других, так же проворен и так же мастеровит, как любой из мальчишек. Мы были похожи, и все же поведением и манерами я достаточно отличался от них, чтобы между нами всегда чувствовалась некоторая дистанция. В разговоре ребята, как и взрослые рабочие, обращались ко мне как к „молодому джентльмену“. Кто-то из мужчин... в беседе порой называл меня „Чарльз“, но, помнится, такое случалось, когда мы оставались наедине... Пол Грин раз было взбунтовался против этого „молодого джентльмена“, но Боб Фаджин быстренько его успокоил».

Видите, и тогда должна была чувствоваться «дистанция между ними». Как бы ни восхищался Диккенс трудящимися массами, походить на них он вовсе не желал. Ожидать иного, зная его происхождение и время, в какое он жил, было бы трудно; в начале XIX века классовая вражда была, возможно, не острее нынешней, но внешние различия между классами были куда более значительными. «Джентльмен» и «простой человек» могли бы показаться различными видами животного. Диккенс всей душой на стороне бедных против богатых, но он не мог не думать об облике рабочего класса почти как о позорном клейме. В одной толстовской сказке крестьяне какой-то деревни судили каждого проходящего незнакомца по рукам: загребели ладони твои от работы – оставайся с нами, мягкие у тебя ладони – ступай себе мимо. Пониманию Диккенса такое вряд ли доступно: у всех его героев руки были нежными. Герои помоложе: Николас Никлби, Мартин Чезлвит, Эдвард Честер, Дэвид Копперфильд, Джон Хармон – были из тех, кого обычно относят к «ходячим джентльменам». Диккенсу по душе буржуазная внешность и буржуазный (но не аристократический) выговор в речи. Один из симптомов этого забавен: он не позволяет никому, для кого уготована роль героя, разговаривать языком рабочего. Смешной герой, вроде Сэма Уиллера, или просто трогательный персонаж, вроде Стивена Блэкула, может говорить на языке простонародья, но *jeune premier* всегда держит речь, как диктор Би-Би-Си. Дело тут до абсурда доходит. Маленький Пип, например, воспитывался людьми, у которых сильно заметен эссекский выговор, но сам он с раннего детства употребляет язык образованных (и преуспевающих) слоев английского общества; на самом-то деле в его речи должен бы звучать тот же говор, что и у Джо или по крайней мере у миссис Гарджери. Та же история с Бидди Уопслом, Лиззи Хексэм, Сисси Джуп, Оливером Твистом, некоторые, возможно, добавят к ним и Крошку Доррит. Даже у Рейчел в «Тяжелых временах» едва ли слышится отзвук ланкаширского акцента – вещь невозможная в ее случае.

Частенько ключом к подлинным чувствам писателя в классовом вопросе служит занятая им позиция при столкновении классового различия с половым. Вот воистину ситуация, где ложь чересчур болезненна, потому она и становится тем камнем преткновения, о который разбивается наигранная поза «а-я-сам-не-сноб».

Наиболее четко проявляется это тогда, когда классовое различие сопряжено с различием в цвете кожи. Порою колониальные замашки (аборигенка – дичь для свободной охоты, белые женщины – неприкасаемо священные) в завуалированной форме процветают в «чисто белых» общинах, порождая горькие обиды у обеих сторон. В такой ситуации писатели часто вновь предаются грубым классовым чувствам, от которых при иных обстоятельствах они сами бы отреклись. Хороший пример «классово осознанной» реакции – почти забытый роман Эндрю Бартонна «Люди из Клоптана», где моральный кодекс автора явно замешен на классовой ненависти. Сворачивание бедной девушки богачом он считает поступком ужасным, чудовищным, прямо-таки растлением, в полном отличии от сворачивания ее человеком одного с ней круга. У Троллопа подобная ситуация встречается дважды («Три чиновника» и «Маленький домик в Аллингтоне»), как и следовало ожидать, оба раза он решает ее исключительно под углом зрения высшего сословия. По его мнению, интрижка с горничной или дочкой домовладелицы есть просто «затруднительное положение», в которое лучше не

попадать. Моральные принципы Троллопа строги, он не позволит, чтобы соращение произошло, но подтекст всегда тот, что на чувства девушки из рабочей среды не очень-то стоит обращать внимание; в «Трех чиновниках» он даже оттеняет классовое различие, замечая, что девушка «пахнет». Мередит («Рода Флеминг») придерживается еще более «классово осознанных» взглядов. Теккерей чаще выглядит колеблющимся, в «Пенденисе» (Фанни Бонтон) его позиция очень похожа на троллопову, в «Истории благородного нищего» он ближе к Мередиту.

Можно многое узнать о социальном происхождении Троллопа, Мередита или Бартонна уже по тому, как они обходятся с проблемой класс – секс. То же и с Диккенсом, но здесь, как правило, окажется, что он скорее причисляет себя к среднему классу, чем к пролетариату. Внешне этому противоречит лишь повесть о молодой крестьянке из рукописей доктора Мане в «Сказке двух городов», но она выглядит вставленным историческим дивертисментом для объяснения неукротимой ненависти к мадам Дефарж, принять или оправдать которую Диккенс и не пытается. В «Дэвиде Копперфильде», где описано типичное для XIX века соращение, классовый аспект происходящего не выглядит для автора первостепенным. В викторианских романах действовал закон: половое злодеяние не остается безнаказанным, – так что Стиерфорс погибает в Ярмутских песках, но ни Диккенс, ни старый Пеготи, ни даже Хэм не считают, что совратитель усугубил свою вину тем, что был сыном богатых родителей. Стиерфорсы подвержены классовой мотивации, а Пеготи – нет (это ярко высветила сцена между миссис Стиерфорс и стариком Пеготи), будь у них классовая предвзятость, они скорее всего обратили бы ее против Дэвида точно так же, как и против Стиерфорса.

В «Нашем общем друге» Диккенс очень реалистически, без классовых предубеждений выдерживает линию Юджина Рейнберна и Лиззи Хексэм. По шаблону: «Не прикасайся ко мне, чудовище!» – Лиззи полагалось бы либо «окрутить» Юджина, либо быть им погубленной, чтобы броситься с моста Ватерлоо; Юджин же должен быть либо бессердечным изменником, либо героем, полным решимости бросить вызов обществу. В поведении ни той, ни другого, нет ничего похожего. Лиззи напугана ухаживаниями и фактически бежит от Юджина, почти не притворяясь при этом, что равнодушна к нему. Юджин пленен ею, слишком благороден, чтобы ее совратить, и не смеет жениться на ней из-за своей семьи. В конце концов они женятся, и никому от этого не становится хуже, разве что миссис Твемлоу, которая потеряет несколько приглашений к обеду. В реальной жизни все так могло и быть, а вот «классово сознательный» романист отдал бы девушку Бредли Хедстону.

Когда же все наоборот, когда бедный человек восплает страстью к женщине, которая «выше» его, Диккенс тут же переходит на позиции среднего класса. Ему нравится викторианское понимание женщины (Женщины с большой буквы), стоящей «выше» мужчины. Пип чувствует, что Эстелла «выше» него, Эстер Саммерсон «выше» Гаппи, Крошка Доррит «выше» Джона Чивери, а Люси Мане «выше» Сиднея Картонна. Для одних пар «выше» имеет лишь моральный смысл, но для других – социальный. Когда Дэвид Копперфильд узнает, что Урия Хип собрался жениться на Агнес Уикфилд, то в его реакции безошибочно просматривается классовая закваска. Мерзкий Урия неожиданно признается, что влюблен:

«...О, господин Копперфильд, как чисто, как нежно люблю я землю, по которой ступает моя Агнес!

Помнится, у меня появилось иступленное желание выхватить из камина докрасна раскаленную кочергу и проткнуть его насквозь. Желание унеслось, как пуля, выпущенная из ружья, но сознание было потрясено: видение Агнес, поруганной уже и мыслью об этом рыжем животном, терзало мой мозг (когда я смотрел на него,

сидящего кособоко, словно убогая душа его крепко зажала тело) и вызывало головокружение.

– ...Полагаю, Агнес Уикфилд так же возвышается над вами (сказал Дэвид позже), так же далека от всех ваших устремлений, как сама луна».

Учитывая, что низость природы Хипа – его раболепные манеры, неправильная речь и т. п. – «по кирпичику» выстраивается Диккенсом по всей книге, сомневаться в чувствах писателя тут не приходится. Хипу, разумеется, отведена роль злодея, но ведь и злодеи ведут половую жизнь, так вот мысль о «чистой» Агнес в постели с человеком, который говорить-то грамотно не умеет, и вызывает отвращение Диккенса. Впрочем, его обычный прием – отнести к тому, что мужчина влюблен в женщину, которая «выше» его, как к шутке, тем более что это одна из ходовых шуток в английской литературе со времен шекспировского Мальволио. Один пример – Гаппи в «Холодном доме», другой – Джон Чивери. Есть и довольно недоброжелательное решение в «Пиквикских записках», где Диккенс показывает батских лакеев, которые живут словно в фантастическом сне, подражая «лучшим людям», устраивают званые обеды и обманывают самих себя тем, будто молодые хозяйки влюблены в них. Диккенс явно находит все это очень смешным. В чем-то так оно и есть, хотя можно и усомниться: а не лучше ли лакею иметь, на худой конец, такие вот иллюзии, чем смиренно, в духе катехизиса, принимать свой статус.

Отношением к слугам Диккенс век свой не опередил. В XIX веке бунт против домашнего услужения только начинался, что жутко тревожило каждого, чей годовой доход превышал 500 фунтов. Не перечислять шуток в юмористических изданиях прошлого столетия, построенных на чванстве прислуги. «Панч» годами печатал шутивную серию под рубрикой «Прислужницизмы», где все так или иначе крутилось вокруг удивительного по тем временам факта: слуга – тоже человек. Диккенс тут тоже не без греха: его книги полны обычными смешными слугами, которые и бесчестны («Великие ожидания»), и неумелы («Дэвид Копперфильд»), и нюхом чуют хорошую еду («Пиквикские записки») и т. д. и т. д., – все это едва ли не в духе окраинной домохозяйки с одной, в прах повергнутой, прислужкой «за все». Забавная – для радикала XIX века – особенность: когда у Диккенса возникает желание набросать портрет симпатичного слуги, то в его творении узнаваемо проступают черты феодального стиля. Сэм Уиллер, Марк Тапли, Клара Пеготи – все они персонажи феодальных времен, все они в жанре «старинного слуги дома», кто не отделяет себя от хозяйской семьи, кто и предан по-собачьи, и одновременно фамильярен по-свойски. Несомненно, Марк Тапли и Сэм Уиллер в определенном смысле «вышли» из Смоллета, а следовательно, и из Сервантеса, но то, что этот тип и Диккенса привлекал к себе, очень интересно. Понятия Сэма Уиллера явно от средневековья. Он устраивает собственный арест, чтобы последовать за Пиквиком в тюрьму Флит, позже отказывается от женитьбы, так как чувствует, что Пиквику еще понадобятся его услуги. Вот характерная сценка между ними:

«– С жалованьем или без жалованья, со столом или без стола, с жильем или без жилья, но Сэм Уиллер, случись вам перебраться со старой гостиницы в Боро, от вас не отстанет, будь оно все как будет...

– Но, друг мой, – сказал мистер Пиквик, когда мистер Уиллер, немного смущенный собственной горячностью, снова уселся, – вам следует принять во внимание и чувства молодой особы.

– Уже принял, сэр, принял я ко вниманию ее чувства, – ответил Сэм. – Об молодой особе я уже подумал. Поговорил вот с ней. Сказал вот, какая моя ситуация, – она

готова ждать, покуда я буду готов, и я думаю, она подождет. Ну, а если же нет, значит она не такая молодая особа, какой я ее считал, и я, значит, откажусь от готовности».

Легко представить, что молодая женщина сказала бы на это в реальной жизни. Обратите только внимание на феодальную атмосферу: Сэм Уиллер ничтоже сумняшеся готов пожертвовать годами жизни ради своего хозяина, и в то же время он может сидеть в его присутствии. Современный слуга не подумает сделать ни того, ни другого. Понятия Диккенса в вопросе о прислуге недалеко выходят за рамки пожелания, чтобы хозяин и слуга любили друг друга. Слоппи в «Нашем общем друге», пусть и полная неудача как персонаж, но относится к тому же преданному типу, что и Сэм Уиллер. Преданность эта, в общем, естественна, человечна и привлекательна, но таковым был и феодализм.

Диккенс, видимо, идет привычным путем – к идеализированному варианту уже существующего. Писал он в ту пору, когда домашнее услужение должно было выглядеть неизбежным злом: никаких механизмов и приспособлений в домашнем хозяйстве не существовало, а неравенство в доходах было огромным. То была пора больших семей, прихотливой пищи и неудобных жилищ, когда рабская каторга в подвальной кухне по четырнадцать часов в сутки была явлением слишком обыденным, чтобы на него стоило обращать внимание. При наличии же факта рабства единственно приемлемыми становились отношения феодальные. Сэм Уиллер и Марк Тапли созданы воображением писателя, так же как и чета Чериблов: коль суждено делиться на хозяев и слуг, то лучше, если хозяином окажется мистер Пиквик, а слугой станет Сэм Уиллер. Без высокого уровня технического развития равенство людей практически недостижимо. Творчество Диккенса показывает, что оно недостижимо и в воображении.

#### IV

Диккенс ничего не пишет о сельском хозяйстве и бесконечно много – о еде. Это не простое совпадение. Он был кокни, а Лондон есть пуп земли примерно в том же смысле, в каком живот есть центр тела, – город потребителей, людей глубоко цивилизованных, но не в первую очередь полезных. Человека, чуть глубже копнувшего в диккенсовских книгах, поражает: для писателя XIX века автор весьма невежествен, он крайне мало знает о том, что и как происходит в действительности. На первый взгляд, мое утверждение абсолютно неверно. Попробую объяснить.

Есть у Диккенса живые зарисовки «низкой жизни» (жизни в долговой тюрьме, например), он стал популярным писателем и умеет писать о простых людях. То же можно сказать обо всех значительных английских романистах XIX века. Они чувствовали себя как дома в мире, в котором жили, в то время как писатель наших дней столь беспомощен в изоляции, что типичным современным романом стал роман о писателе романов. Джойс, к примеру, может потратить чуть не десяток лет в терпеливых попытках установить контакт с «обычным человеком», но и тогда его «обычный человек» в конце концов оказывается евреем, к тому же и умничающим. Диккенс по крайней мере этим не страдал, для него не существует трудностей в изображении простых чувств, любви, устремлений, алчности, возмездия и т. п. Заметно, однако, как он избегает писать о труде.

В его романах все относящееся к труду происходит за кулисами. Дэвид Копперфильд единственный из героев, у которого есть правдоподобная профессия: подобно самому Диккенсу, вначале он стенограф, а затем писатель. Что до большинства остальных, то о способах добывания ими средств к существованию можно только догадываться.

Пип, к примеру, «ведет дело» в Египте, какое дело – не сказано, а описание трудовой жизни Пипа занимает в книге примерно полстраницы. Кленнэм занимался чем-то не очень определенным в Китае, позже он входит в еще одно едва обозначенное дело вместе с Дойсом. Мартин Чезлвит архитектор, но, судя по всему, работе отводит немного времени. Ни разу их приключения не были прямо связаны с их работой. Контраст тут между Диккенсом и, скажем, Троллопом поразителен. Одна из причин, несомненно, в том, что Диккенс очень мало знает о профессиях, которыми должны бы заниматься его герои. Что конкретно происходило на фабриках Грандгринда? На чем зарабатывал деньги Подснэп? Как осуществил Мердль свои мошенничества? Известно, что Диккенс никогда не мог проникнуть в детали парламентских выборов или в махинации фондовой биржи, как это умел делать Троллоп. Едва речь заходила о торговле, финансах, промышленности или политике, Диккенс тут же искал прибежища в неопределенности или сатире. Это относится даже к судебным процессам, о чем он и впрямь должен был знать много. Сравните, к примеру, судебное заседание у Диккенса с судом в «Ферме Орли».

Частично этим объясняются ненужные рамификации в романах Диккенса, их жуткий викторианский «сюжет». Справедливости ради: не все его романы в этом смысле похожи. «Сказка двух городов» – хорошая и очень простая история, «Тяжелые времена» – тоже, хотя и на свой лад; но как раз эти две книги всегда обособляют как «не похожие на Диккенса» (кстати, обе не публиковались месячными порциями журналов[17]).

Два романа, названные именами героев, тоже сюжетно хороши, если не обращать внимания на побочные фабульные линии. Типичный же диккенсовский роман («Николаас Никлби», «Оливер Твист», «Мартин Чезлвит», «Наш общий друг») всегда накручивается на остов мелодрамы. Меньше и позже всего в таких книгах запоминается основной сюжетный ход, с другой стороны, полагаю, среди их читателей нет ни одного, кто не хранил бы в памяти отдельные страницы до смертного часа. Диккенс воспринимает человеческие существа с величайшей живостью, но всегда видит их в частной жизни, считает их «действующими лицами», а не действующими членами общества, то есть воспринимает их, так сказать, в статике. Соответственно, наибольшим его достижением стали «Записки Пиквика», где вовсе нет сюжета, а есть череда скетчей, рассказов, зарисовок; о развитии характеров в этой книге говорить не приходится, ее герои, дурашливо резвясь, просто удаляются все дальше в подобие бесконечности. Стоит писателю попытаться заставить своих героев действовать, как сразу начинается мелодрама, устроить так, чтобы действие вращалось вокруг их обычных профессий, занятий он не в силах, отсюда кроссворд совпадений, интриг, убийств, переодеваний, упрятанных завещаний, давно утерянных братьев и т. д. и т. д. В этот коловорот в конце концов втягиваются даже такие типы, как Сквиерс и Микобер.

Конечно, абсурдно считать Диккенса маловразумительным или мелодраматическим писателем. Многие из написанного им скрупулезно фактологично, по силе же воплощения зримых образов ему, вероятно, никогда не было равных. Его однажды прочитанное описание стоит перед мысленным взором всю жизнь. В какой-то мере именно образная конкретность указывает на то, чего ему недостает, ведь, прямо скажем, обычные зеваки и ухватывают как раз наружное, нефункциональное, поверхностное у вещей и явлений. Прелестно, как Диккенс умеет, описывая внешний облик, обойти процесс. Почти все яркие картинки, которые ему удастся оставить в памяти читателей, увидены в моменты отдыха, в кофейнях провинциальных гостиниц или из окна дилижанса; замечаются гостиничные вывески, медные ручки на дверях, раскрашенные кувшины, интерьеры лавок и жилищ, одежды, лица и, больше всего, еда. Все видится глазами потребителя. Описывая Кокстаун, он сумел всего

несколькими абзацами создать в воображении обстановку ланкаширского городка, какой бы ее увидел слегка высокомерный южанин: «В нем был черный канал, река, вода в которой стала пурпурной от зловонных красителей, и хаотичное скопище сплошь застекленных построек, где день-деньской что-то дребезжало и тряслось, где поршень паровой машины монотонно двигался вверх-вниз, словно голова у слона в состоянии меланхолического умопомешательства».

Ближе этого к описанию заводской техники Диккенс не подступил. Инженер или хлопкообработчик увидели бы ее по-другому, но никто из них не сумел бы найти такой импрессионистской детали с головами слонов.

Есть одна, несколько иная, сторона, где взгляды Диккенса лишены телесности: он человек, который воспринимает жизнь зрением и слухом, но отнюдь не руками, не мускулами. Его собственные привычки – отнюдь не образ жизни лежебоки, как могло бы показаться, несмотря на слабое здоровье и физическое развитие, он был активен до неугомонности, всю жизнь обожал пешие прогулки и походы, умел плотничать, во всяком случае, настолько, чтобы соорудить декорации на сцене. Но он был не из тех людей, у кого руки чешутся поработать. Очень трудно, к примеру, представить Диккенса копающимся в огороде. Он не дает никакого повода заподозрить себя в знании агротехники и явно понятия не имеет ни об охоте, ни о спорте. Кулачный бой, к примеру, его не интересует, вообще в его романах крайне мало физической жестокости или грубости. Мартин Чезлвит и Марк Тапли ведут себя чрезвычайно сдержанно, столкнувшись с американцами, которые грозят им револьверами и ножами. Средний английский или американский романист не преминул бы ввязать их в драку, разворотить пару-тройку скул и затеять перестрелку во всех направлениях. Диккенс в этом плане не такой дикий, он понимает, сколь безумно насилие, принадлежит к осторожному слою горожан, которых разворачивание скул не привлекает даже в теории. Его взгляды на спорт социально окрашены. В Англии, в основном по причинам географическим, спорт, прежде всего игровой на открытом воздухе, и снобизм слиты неразсторжимо. Английские социалисты часто напрочь отвергали рассказы о том, что Ленин любил охоту: в их глазах охота, травля и т. п. просто снобистские ритуалы земельного дворянства, – они забывали, что в такой огромной девственной стране, как Россия, к подобным занятиям могут относиться совсем по-иному.

Для Диккенса почти любой вид спорта годится в объекты сатиры. Таким образом, целый пласт жизни XIX века – бокс, скачки, петушиные бои, барсучья травля, браконьерство, крысоловство, – тот пласт, что так дивно увековечил Линч в иллюстрациях к Сюртису, оказался вне поля зрения Диккенса.

Еще более поражает в этом «прогрессивном» радикале его равнодушие к технике, нет у него интереса ни к техническим устройствам, ни к тому, что эти устройства способны производить. Как замечает Гиссинг, Диккенс никогда не описывает железнодорожные путешествия с таким энтузиазмом, с каким он рассказывает о путешествиях в дилижансе. Забавное чувство охватывает, будто во всех его произведениях живешь в первой четверти XIX века. Он и вправду все время возвращается к этому периоду: в «Крошке Доррит», написанной в середине 50-х, речь идет о 20-х годах, в «Великих ожиданиях» (1861 год) время не обозначено, но явно описаны 20–30-е годы. Ряд изображений и открытий, которые сделали современный мир возможным (электрический телеграф, пушка с затворным механизмом, резина, угольный газ, бумага из целлюлозы), стали известны при жизни Диккенса, но в произведениях своих он едва их замечает. Куда как странна сумятица, с которой он в «Крошке Доррит» повествует об «изобретении» Дойса, представляется оно как нечто гениальное и революционное, «имеющее огромное значение для его

страны и соотечественников его», к тому же в романе оно становится не главным, но все же сюжетосвязующим звеном, – и тем не менее остается неизвестно, что же представляет собой сие «изобретение»! С другой стороны, облик Дойса дополнен типичным диккенсовским штрихом: тот привык к характерному для инженеров движению большим пальцем. После этого образ Дойса прочно застревает в памяти, добивается Диккенс такого эффекта, как обычно, фиксацией некоего внешнего признака.

Есть люди (примером служит Теннисон), у которых нет технической жилки и которым все же дано распознать социальные возможности техники. Ум Диккенса скроен по-иному. Будущее он понимает слабо, под человеческим прогрессом обычно имеет в виду моральный прогресс, когда люди становятся лучше. Возможно, он никогда не согласился бы с тем, что люди хороши лишь настолько, насколько им позволяет уровень технического развития. В этой точке разрыв между Диккенсом и его современным аналогом, Г. Уэллсом, наиболее велик. Уэллс носит будущее на шее, как ожерелье из мельничного жернова. На Диккенса его далекий от науки склад ума возлагает бремя не меньшее, хотя и иного рода: из-за него писателю трудно выработать позитивный подход к чему бы то ни было. Он враждебен феодальному аграрному прошлому, но и с индустриальным настоящим не в ладу, что ж, все остальное (в смысле науки, прогресса и т. п.) есть будущее, которое едва ли тревожит его мысли. Вот почему, нападая на внешние проявления всего и вся, Диккенс не предоставляет для выбора альтернативных образцов. Как я уже сказал, он критикует существующую систему просвещения совершенно справедливо, но для ее изменения не может предложить ничего, кроме более добрых школьных учителей. Что ему стоило хотя бы намекнуть, какой могла бы быть школа? Что ему стоило создать собственную систему обучения для своих сыновей, вместо того чтобы посылать их в обычные школы, где в них вдалбливали греческий язык? Не мог – он лишен такого рода воображения. Незыблемое моральное чувство у него есть, но слишком мало интеллектуальной любознательности. В этом коренится то, что действительно стало огромным недостатком у Диккенса, то, что действительно отдаляет XIX век от нас: у него нет понятия труда.

Нельзя назвать ни одного из главных героев (Дэвид Копперфильд сомнительное исключение, ибо он всего-навсего сам Диккенс), кого прежде всего интересовала бы работа. Герои работают, чтобы добывать средства на жизнь и жениться на героине, а не потому, что охвачены пылкой страстью к какому-то конкретному делу. Мартин Чезлвит, к примеру, вовсе не горит желанием быть архитектором, с тем же успехом он мог быть врачом или адвокатом. В любом случае в последней главе типичного романа Диккенса проявляется *deus ex machina* с мешком золота, и герой освобождается от дальнейшей борьбы за существование. Страсть, превращающая людей разного темперамента в ученых, изобретателей, художников, землеоткрывателей и революционеров и выраженная в словах: «Вот для чего я пришел на этот свет. Все остальное неинтересно. Я сделаю это, даже если буду умирать с голоду», – такая страсть почти совершенно отсутствует в книгах Диккенса. Хорошо известно, что сам он работал, как каторжный, и верил в свой труд, как немногие из писателей. Видимо, иного приложения сил, кроме писательства (и, пожалуй, актерства), которое бы так отвечало его страсти, он вообразить не мог. В общем, это естественно, если учесть его, прямо скажем, негативное отношение к обществу. По большому счету, ничем он так не восхищался, ничто так не любил, как обычное благородство. Наука неинтересна, а машинерия жестока и безобразна (головы слонов).

Бизнес хорош для натур грубых, вроде Баундерби. Что до политики, то ее лучше оставить Титу Барнаклу. Действительно, ничего другого не остается, как жениться на героине, обустроиться, жить в достатке и быть добрым. А это лучше всего

получается в личной жизни.

Тут, возможно, приоткрывается завеса над тайной диккенсовского воображения. Какой образ жизни для него желательнее всего? Когда Мартин Чезлвит выяснил отношения с дядей, когда Николас Никлби женился на деньгах, когда Джон Хармэн обогатился за счет Боффина, что они стали делать?

Ответ очевиден: ничего. Николас Никлби вложил женины деньги в некое дело и «стал богатым и преуспевающим торговцем», после того как он сразу удалился в Девоишир, можно предположить, что работать не покладая рук ему не пришлось. Супруги Снодграсс «приобрели и обустроили небольшую ферму, больше для времяпрепровождения, чем для доходов». В таком вот духе заканчивается большинство книг Диккенса, эдаким радужным ничегонеделаньем. Если он и не одобряет молодых людей, которые не работают (Хартхаус, Гарри Гоуван, Ричард Карстон, Рейнберн до своего обращения), то потому, что они циничны и аморальны, или потому, что они оказываются бременем для других. Для «хорошего» же, да еще и такого, кто сам себя содержит, устраняются все причины, мешающие потратить лет пятьдесят исключительно на стрижку купонов. Домашней жизни всегда хватает – таково, в конце концов, было общее мнение в диккенсовский век. «Благородная обеспеченность», «достаток», «джентльмен независимых средств» (или «в незатрудненных обстоятельствах») – сами выражения эти исчерпывающе определяют странную, пустую мечту средней буржуазии XVIII–XIX веков. То была мечта о полной праздности. Чарльз Рид как нельзя лучше выражает подобное настроение в финале «Чистогана». Альфред Харди, герой «Чистогана», типичный (в школьном стиле) герой романа XIX века, вместилище дарований, которые под пером Рида складываются в «гения»: он выпускник Итона и ученый в Оксфорде, знает большинство греческих и латинских классиков наизусть, может боксировать с чемпионами и выиграть приз «Бриллиантовые весла» на регате в Хенли. Он проходит через невероятные приключения, проявляя, разумеется, безукоризненный героизм, затем, в двадцать пять лет, наследует состояние, женится на Джулии Додд и устраивается в окрестностях Ливерпуля в одном доме с родителями жены:

«Они жили, благодаря Альфреду, все вместе на вилле „Альбион“... О ты, маленькая счастливая вилла! Ты похожа на рай, как только может походить на него жилище смертных. Увы, придет день, когда стены твои не смогут вместить всех счастливых твоих обитателей. Джулия подарит Альфреду очаровательного сынишку, приедут две няни, и на вилле станет тесновато. Еще через два месяца Альфред с женой перебрались на соседнюю, всего в двадцати ярдах от „Альбиона“, виллу. Для переезда была и еще одна причина: как часто случается после долгих разлук, небеса даровали капитану и миссис Додд счастье понянчить младенца» и т. д., и т. д.

Вот он, типовой образец викторианского счастливого конца: картина огромной, из трех-четырех поколений, счастливой семьи, втиснутой в один дом и постоянно умножающейся численно, словно устричная колония. Поражает совершенно воздушная, огражденная от невзгод и не требующая усилий жизнь, которая протекает там. Это даже не буйное безделье сквайра Вестерна.

Тут обретает значение городское происхождение Диккенса, его незаинтересованность в гвардейско-спортивно-военной стороне жизни. Его герои, добравшись до денег и «обустроившись», мало того что не занимаются никакой работой, они перестают ездить верхом, охотиться, сражаться на дуэлях, путаться с актрисами или терять деньги на скачках. Они просто пребывают по домам на пуховой перине респектабельности, желательно – прямо по соседству с родственниками, ведущими



точно такую же жизнь:

«Став богатым и преуспевающим торговцем, Николас первым делом купил старый отцовский дом. Время плавно текло, постепенно он оказался окружен детьми, дом был перестроен и расширен, но ни одна из старых комнат не была порушена, ни одно старое дерево не выкорчевано, ничто, сколько-нибудь напоминавшее о былых временах, не убиралось и не менялось.

Рядом – камнем можно добросить – находился еще один приют радости, тоже оживляемый милыми и детскими голосами. Там жила Кэт... такое же честное, нежное создание, такая же любящая сестра, такая же всеми любимая, как и в дни ее девичества». Снова та же елейно-кровосмесительная атмосфера, что и в отрывке из Рида. Очевидно, идеальный диккенсовский финал, который в совершенстве достигнут в «Николас Никлби», «Мартине Чезлвите» и «Пиквике», к которому в разной степени сводится дело почти во всех остальных романах. Исключения – «Тяжелые времена» и «Великие ожидания»; в последнем, в общем-то, «счастливое окончание» есть, но оно противоречит общей направленности романа и было вставлено по настоянию Балвера Литтона.

Идеал, к которому надо стремиться, выглядит примерно так: сто тысяч фунтов, причудливый старинный дом, обильно увитый плющом, нежная женственная супруга, орда детишек и никакой работы. Все спокойно, тихо, мирно и, что важнее всего, по-домашнему. На поросшем мхом церковном погосте, что неподалеку, вниз по дороге, – могилы родных и любимых, ушедших из жизни до того, как достигнут счастливый финал. Прислуга комична и феодальна, дети ластятся к отцу с матерью, старые друзья собираются у камина, вспоминая былые дни, следует бесконечная череда обильных блюд, холодный пунш и вишневый негус[18], пуховые постели с грелками, рождественские праздники с шарадами и жмурками, но никогда никаких происшествий, кроме ежегодного рождения ребенка. Забавно: а ведь картина и в самом деле счастливая, не правда ли? Во всяком случае, Диккенсу удастся изобразить ее таковой. Мысль о подобном существовании ему приятна. Уже этого достаточно, чтобы понять: с тех пор как написана первая книга Диккенса, прошло больше ста лет. Никто из ныне живущих не в силах слить воедино такую бесцельность с такой кипенью жизни.

V

Дочитавший до этого места поклонник Диккенса, наверное, успел хорошенько рассердиться на меня.

Рассуждая о творчестве Диккенса, я все время имел в виду лишь «идейное содержание» и почти не касался его литературных качеств. У любого писателя, тем более романиста, признает он это или нет, есть свое «содержание», под воздействием которого оказываются самые незначительные детали его творчества. Всякое искусство – пропаганда. Отрицать этого не подумали бы ни сам Диккенс, ни большинство романистов-викторианцев. С другой стороны, не всякая пропаганда – искусство. Вначале я сказал, что Диккенс один из тех писателей, которых стоит прикарманить. Прикарманивали его и марксисты, и католики, и, больше всего, консерваторы. Вопрос в том, что тут красть? Почему каждый столь заботлив о Диккенсе? Почему Диккенс заботит меня?

На такой вопрос всегда нелегко ответить. Как правило, эстетическая привязанность либо необъяснима, либо настолько извращена неэстетическими мотивами, что в голову приходит мысль, не является ли вся литературная критика огромной системой надувательства. Привязанность к Диккенсу осложняется его известностью, ему

выпало быть одним из тех «великих писателей», которыми по горло пичкают в детстве. Временами это вызывает бунт и тошноту, но порой, особенно на склоне лет, приводит и к иным последствиям. Скажем, почти все в глубине души хранят привязанность к патриотическим стихам, затверженным наизусть еще в детстве, – «Эй, пехота морская английская», «Задача легкой бригады» и т. п. Удовольствие вызывают не столько стихи, сколько разбуженные ими воспоминания. Когда обращаешься к Диккенсу, чувствуешь воздействие той же ассоциативной силы. Наверное, в большинстве английских домов найдутся одна-две его книги. Многие дети знакомятся с его героями, еще не научившись читать, ибо в целом Диккенсу очень повезло с иллюстраторами. Воспринятое же в столь раннем возрасте разумному критическому анализу не подлежит. При этой мысли вспоминается все, что есть плохого и глупого у Диккенса: чугунные «сюжеты», неудачные характеры, longuers[19], абзацы белых стихов, жуткие страницы «пафоса». Потом задаешься вопросом: когда я говорю, что мне нравится Диккенс, не имею ли я попросту в виду, что мне нравится думать о своем детстве? Не есть ли Диккенс всего-навсего институциональный обычай?

Если так, то он обычай, от которого никуда не денешься. Как часто думают о любом, даже любимом, писателе, доподлинно сказать и подсчитать трудно, но я позволю себе усомниться, чтобы человек, на самом деле прочитавший Диккенса, мог прожить неделю, не вспоминая о нем по какому-либо поводу. Принимаете вы его, нет ли, только он – здесь, как Нельсонова колонна. В любой момент ум ваш готов откликнуться либо на сценку, либо на отрывок, либо на героя, взятых из книги, название которой вы, может, и не помните. Микоберовы письма! Уинкль свидетельствует в суде! Миссис Гэмп! Миссис Уититерли и сэр Тамли Снаффим! У Тодгерсов! (Джордж Гессинг говорил, что, проходя у Памятника, он всегда думал не о большом лондонском пожаре, а о заведении Тодгерсов.) Миссис Лео Хантер! Сквиерс! Силас Уегт и «Упадок и распад Российской империи»! Мисс Милз и пустыня Сахара! Уопсль, играющий Гамлета! Миссис Джеллиби! Манталани, Джерри Кранчер, Баркис, Памблчук, Трейси Тапмен, Скимпол, Джо Гарджери, Пекснифф и т. д. и т. д. без конца. Трудно назвать это даже серией книг, это больше похоже на целый мир, мир не всегда и не во всем смешной, ибо у Диккенса запоминаются и его викторианская болезненность с некрофилией, и кроваво-громовые сцены – смерть Сайкса, самовоспламенение Крука, Фаджин в камере смертников, старухи с вязаньем вокруг гильотины. Поразительно, как это крепко западает в сознание даже тех людей, кто об этом не думает! Комедиант из мюзик-холла может (во всяком случае, еще совсем недавно мог) выйти на эстраду и изобразить Микобера или миссис Гэмп, будучи уверен, что его поймут, даже если в публике и один из двадцати зрителей не прочел ни единой книги Диккенса от корки до корки. Люди могут делать вид, что ни в грош его не ставят, и при этом – неосознанно цитировать его.

Диккенс – писатель, которого можно копировать, впрочем, до известного предела. Создатели подлинно массовой литературы из Диккенса дерут безо всякого стыда. Заимствуется, правда, культ «образа», то есть эксцентричность, а это традиция, которую сам Диккенс воспринял от писателей-предшественников и развил в своем творчестве. Копированию, имитации не поддается, однако его неистощимая выдумка, когда выдумываются не персонажи, еще меньше – «ситуации», а повороты фраз и конкретные детали. Выдающимся, безошибочным признаком диккенсовского стиля является бесполезная деталь. Приведу пример того, что я имею в виду. Рассказ, который цитируется ниже, не очень и забавен, но одна фраза в нем индивидуальна, как отпечаток пальца. Джек Хопкинс в гостях у Боба Сойера, рассказывает историю о ребенке, проглотившем сестрино ожерелье:

«На следующий день малыш проглотил две бусины, еще через день справился с тремя

и так далее, пока в неделю не покончил с ожерельем целиком – сглотал все двадцать пять бусин. Сестра, девушка трудолюбивая и не привыкшая баловать себя украшениями, глаза выплакала, потеряв ожерелье, все вверх дном перевернула, разыскивая его, но, об этом можно было бы и не говорить, найти не смогла. Несколько дней спустя семейство сидело за обедом – подали запеченную баранью лопатку, обложенную картофелем, – малыш, который есть не хотел, игрался в столовой, как вдруг раздался чертовский звук, будто небольшой град приударил. „Не надо этого делать, малыш“, – сказал отец. „Я не делал никак“, – ответил ребенок. „Что ж, – назидательно отчеканил родитель, – больше этого не делай“. Краткая тишина – и звук раздался снова, да еще пуще прежнего. „Если ты не будешь слушать, что тебе говорят, сынок, – возвысил голос отец, – то очутишься в постели быстрее, чем поросенок успеет хрюкнуть“. Для большего послушания он слегка встряхнул мальчишку, чем вызвал грохот, какого никто прежде не слышивал. „Черт побери, это внутри ребенка, – воскликнул папенька, – да у него попка не на месте!“ „Вовсе нет, папочка, – захныкал малыш, – это ожерелье, я его проглотил, палочка“. Отец подхватил ребенка, помчался с ним в больницу, бусины от тряски по дороге издавали в животе мальчика жуткий грохот, так что прохожие поднимали глаза к небу или заглядывали в окна подвалов, пытаясь понять, откуда доносится столь странный звук.

– Сейчас парень в больнице, – заключил Джек Хопкинс. – Когда он ходит, то так чертовски шумит, что его пришлось закутать в тулуп сторожа из опасения, как бы он не перебудил всех больных».

Такую историю можно найти в любой юмористической газете XIX века. Безошибочная же черта диккенсовского стиля, то, о чем другой и не подумал бы, конечно же, запеченная баранья лопатка, обложенная картофелем. Чем она способствует рассказу? Ответ: ничем. Это нечто абсолютно бесполезное, вычурная загогулинка с краю страницы; только такими загогулинами и создается особый аромат Диккенса. Что еще заметно в процитированном отрывке? Да то, что рассказывать Диккенс не торопится, времени на историю не жалеет. Интересный пример, правда, слишком длинный для цитирования, рассказ Сэма Уиллера об упрямом больном в XLIX главе «Пиквикских записок». Тут есть с чем сравнить, поскольку Диккенс, сознательно или бессознательно, заимствует: та же история рассказана древнегреческим автором. Не могу найти подлинного текста, читал его много лет назад еще школьником, но звучит он примерно так:

«Некто Трациан, известный своей упрямостью, был предупрежден лекарем: если он выпьет хоть чашу вина, то оно убьет его. После этого Трациан выпил чашу вина, тут же бросился с крыши и умер. „Вот так, – успел сказать он, – я докажу, что вовсе не вино убило меня“».

В изложении древнего грека на весь анекдот – несколько строчек. В пересказе Сэма Уиллера на него ушло несколько страниц. До сути анекдота еще добираться и добираться, а мы уже все узнали о том, во что больной одевается, что он ест, как себя ведет, даже о газетах, которые он читает, даже об особенностях конструкции докторской коляски, позволявших скрыть прискорбный факт – штаны у кучера не подходили к его картузу. Наконец, следует диалог доктора с больным: «„Сдобы не полезны, сэр“, – возразил врач не без ярости...» и т. д. и т. д. В конце концов, сам анекдот оказался погребен под деталями. То же самое можно увидеть во всех характернейших пассажах Диккенса. Его воображение глушит все, словно сорняк какой-то. Сквиерс обращается к ученикам – и мы тут же слышим об отце Болдера, которому не хватало двух фунтов с лишним, о мачехе Моббса, которая слегла в постель, узнав, что Моббс не ест жиров, и которая надеялась, что мистер Сквиерс

розгой вправит ему мозги. Миссис Лео Хантер пишет поэму «Лягушка испускает дух» – приводятся полные две строфы. Боффину вздумалось разыграть роль скупого – и мы тут же погружаемся в жуткие биографии скряг XVIII столетия с такими именами, как Валчер (Стервятник) Хонкинс и преподобный Блubberри (Пройдоха) Джонс; появляются названия глав: «Рассказ о пироге с бараниной», «Сокровища Данхилла». Миссис Харрис, которой и не существует вовсе, описана с такими подробностями, каких в обычном романе хватило бы любым трем персонажам. Ни с того ни с сего, прямо в середине предложения мы узнаем, к примеру, что ее младенец-племянник выставялся на обозрение в колбе на Гринвичской ярмарке вместе с розовоглазой леди, прусским карликом и живым скелетом[20]. Джо Гарджери рассказывает, как грабители проникли в дом Памблчука, торговца зерном и семенами: «и кассу они у него взяли, и шкатулку с наличными, и вино у него выпили, и припасов отведали, и по физии ему надавали, и за нос его оттащали, и привязали они его к спинке кровати, и всыпали ему дюжину горячих, и запихали они ему в рот полный букет цветущих однолетних трав, чтоб не кричал», – любой другой писатель ограничился бы и половиной учиненных безобразий; кстати, снова безошибочно диккенсовское – цветущие однолетние травы. Одно громоздится на другое, деталь на деталь, узор на узор. Тщетно возражать, мол, такого рода вещи и есть рококо – такое возражение лучше отнести к свадебному торту. Это может нравиться, а может и не нравиться. У других писателей XIX века – Сюртиса, Бархэма, Теккеря, даже Маррьята – что-то есть о диккенсовской щедрости, через край бьющей своеобычности, но ни у одного не найти ничего равного по размаху. Очарование этих писателей ныне частично определяется ароматом эпохи, и хотя Маррьят все еще официально «мальчишеский писатель», а у Сюртиса легендарная слава среди охотников, читают их сегодня, в основном, «книжные черви», библиофилы.

Знаменательно, что к самым успешным (не самым лучшим) творениям Диккенса относят «Пиквикские записки», которые не роман, «Тяжелые времена» и «Сказку двух городов», которые совсем не смешны. Прирожденная писательская плодовитость очень мешала ему, потому что бурлеск, противиться которому писатель никогда не мог, постоянно взрывал то, что мыслилось как ситуации серьезные. Хороший пример можно найти в начальной главе «Великих ожиданий». Бежавший каторжник, Мэгвич, только что схватил на погосте шестилетнего Пипа. С точки зрения Пипа, сцена начинается очень страшно: покрытый грязью каторжник, с цепью, свисающей с ноги, неожиданно выскакивает из-за надгробий, хватая ребенка, переворачивает его вверх тормашками и выворачивает у него карманы. Затем, запугивая малыша, требует принести ему еды и напильник:

«Вытянув меня, как по струнке, за руки на могильном камне, он продолжал требовать страшным голосом:

– Завтра утром, да пораньше, принесешь мне напильник и припасов, принесешь побольше – вона туда, где старина Баттери лежит. Сделаешь так и слова не пикнешь, виду не подашь, что там ли, сям ли встретил такого, как я, или любого другого какого – будет тебе жизнь оставлена. Не сделаешь, как я сказал, или сделаешь хоть чуточку не так, хоть на самый пустяк не так – вырвут у тебя сердце с печенкой и съедят. Может, думаешь, я один? Как бы не так! Со мной тут молодчик прячется, так я с ним рядом суший ангел. Он слышит, что я сейчас говорю. Как, он и сам не поймет, но может он тайком добраться до любого мальчишки, и до сердца его, и до печенки. Мальчишке и думать нечего прятаться от этого молодчика: хоть дверь на запоре держи, хоть в постельке теплой схоронись, хоть в одеяло с головой укутайся, – думаешь, в безопасности ты да в спокойствии, а молодчик-то подкрадется да и разорвет. Сейчас вот удерживаю я молодчика, чтоб он тебя не обидел, но трудно мне. Жутко трудно держать его, чтоб он тебя наизнанку не

вывернул. Ну, что скажешь теперь?»

Тут искушение Диккенсом просто овладело. Прежде всего ни один убегающий от погони, голодный человек никогда не произнесет ничего и отдаленно похожего. Более того, хотя речь обнаруживает превосходное знание того, как устроено детское сознание, реально произнесенные слова совершенно не созвучны тому, что должно последовать. Речь Мэгвича делает его злым-дядюшкой из рождественского спектакля, а в глазах ребенка он – просто отвратительное страшилище. Позже в романе он не предстанет ни тем, ни другим, его чрезмерная признательность, на которой построен сюжет, выглядит неправдоподобной опять-таки в сравнении с его речью на погосте. Как обычно, воображение «понесло» Диккенса, живописные детали были слишком хороши, чтобы от них отказаться. Даже в обрисовке характеров более цельных, чем Мэгвич, его порой заносит в сторону какая-нибудь соблазнительная фраза. Мердстона, он, например, награждает привычкой ежеутренне заканчивать уроки Дэвида Копперфильда жуткой порцией арифметики: «Если в сырной лавке я куплю четыре тысячи двойных глосестерских сыров по четыре с половиной пенса каждый, то чему равна сумма оплаты?» Снова типично диккенсовская деталь – двойные глосестерские сыры. Только для Мердстона эта деталь слишком человечна, сам он для задачи выбрал бы пять тысяч денежных сундуков. Каждый раз, когда в романе звучит подобная нотка, целостность его нарушается. В общем, ничего особо страшного тут нет, ясно ведь, что Диккенс такой писатель, у которого отрывки значительно прекраснее целого. Он весь – во фрагментах, весь – в деталях: архитектура никудышная, зато как чудесны обводы водосточных труб. Особенно это различимо тогда, когда он лепит образ того или иного персонажа и тот под нажимом создателя вынужден действовать вопреки собственной (от автора полученной!) природе.

Конечно, упрек Диккенсу в том, что он заставляет своих героев быть непоследовательными, необычен. Обычно его упрекают как раз в обратном. На типажи его смотрят просто как на «типы», каждый из которых грубо олицетворяет единственный признак, чуть ли не ярлыком для узнавания снабжен. Диккенс «всего лишь карикатурист» – таково обычное обвинение, которое по отношению к нему оказывается и более и менее, чем справедливым. Сам писатель себя карикатуристом не считал, он всегда заставлял действовать персонажи, которые, казалось бы, обречены на статичность. Сквирс, Микобер, мисс Моучер[21], Уегг, Скимпол, Пекснифф и многие другие в конце концов втягиваются в сюжет, где им не место, и начинают вести себя весьма неправдоподобно. Они появляются на сцене, как картинки волшебного фонаря, и исчезают, запутавшись в сумятице третьестепенного фильма. Иногда можно пальцем ткнуть в единственное предложение, разрушающее оригинальный замысел. Скажем, в «Дэвиде Копперфильде». После знаменитого обеда (где баранью ногу недожарили) Дэвид, провожая гостей, задерживает на лестнице Тредлза:

«– Тредлз, – сказал я, – бедняга Микобер лишен дурных намерений, но на вашем месте я бы не стал одалживать его ничем.

– Мой дорогой Копперфильд, – улыбнулся в ответ Тредлз, – мне совсем нечего дать в долг.

– Ну, знаете, у вас есть имя, – сказал я».

В контексте эта ремарка раздражает слегка, хотя рано или поздно нечто подобное неизбежно. История явно правдивая: Дэвид растет, в конце концов ему надлежит видеть в Микобере то, чем тот и является, – негодного попрошайку. Позднее,

разумеется, сентиментальность одолевает Диккенса, и Микоберу дано начать новую жизнь. Правда, с той поры, несмотря на значительные усилия, оригинальный Микобер никогда уже не будет «схвачен». Как правило, «сюжет», куда впутываются герои Диккенса, вызывает не слишком большое доверие, но все же в нем есть по крайней мере претензия на реальность, а вот мир, которому герои принадлежат, выглядит какой-то неведомой землей, растворен в вечности. Тут-то и понимаешь, что «всего лишь карикатурист» на самом деле не обвинение. То, что Диккенса всегда считали карикатуристом, вопреки его постоянному стремлению предстать в ином качестве, есть, возможно, самый точный показатель его гения. Различные уродства, им созданные, до сих пор воспринимаются как уродства, в какие бы грядущие мелодрамы они ни впутывались. Первичное их воздействие настолько ярко, живо, что ничто в последующем не способно затушевать его. Такое бывает с людьми, которых мы знали в детстве; их мы вспоминаем в каком-то одном качестве, совершающими что-то определенное. Миссис Сквиерс всегда пьет слабительное, у миссис Гаммидж всегда глаза на мокром месте, миссис Рарджери всегда бьет мужа головой о стенку, миссис Джелиби всегда изводит бумагу на памфлеты, когда в гости приезжают ее дети, – вот они все, навсегда запечатленные, словно блистательные миниатюры, нарисованные на крышках табакерок, совершенно фантастические, неправдоподобные, они все же более цельны и бесконечно больше запоминаются, чем творения серьезных писателей. Даже по меркам своего времени Диккенс был писателем совершенно искусственным. Как выразился Раскин, он «предпочитал работать в круге сценического костра». Герои его еще больше искажены и упрощены, чем у Смоллета. Однако правил для писания романов нет, и для любого произведения искусства существует только одно испытание, о котором стоит беспокоиться, – выживание, испытание временем. Диккенсовские типажи его выдержали, даже если люди, которые их помнят, едва признают их за человеческие существа. Они чудовища, но они существуют.

Повествование о чудовищах, однако, имеет и негативную сторону. Суть ее в том, что Диккенс может обращаться лишь к определенным состояниям, настрою, огромные области человеческого сознания не затрагиваются им никогда. В книгах его не сыскать поэтических чувств, нет подлинной трагедии, даже любовь как физическая страсть не привлекает его внимания. Его произведения, конечно, не так бесполы, какими их порой объявляют, а если учесть, в какое время он творил, то нельзя не признать, что он разумно откровенен. Не найдешь только у него и следа тех чувств, которыми наполнены «Манон Леско», «Саламбо», «Кармен», «Сияющие вершины».

Если верить Олдосу Хаксли, Д. Г. Лоуренс однажды назвал Бальзака «гигантским карликом» – в какой-то мере то же можно сказать и о Диккенсе. Целые миры существуют, о которых он либо не знает, либо не желает упоминать. Исключая довольно околичный путь, Диккенс не очень многому может научить. Сказать это – значит тотчас же вспомнить о великих русских писателях XIX века. Почему способность понимания Толстого кажется куда большей, почему кажется, что он может куда больше, чем Диккенс, поведать нам о нас самих? Дело тут не в большей одаренности и, если на то пошло, не в большем уме. Дело в том, что Толстой пишет о людях, которые растут, развиваются, его герои обретают свои души в борьбе, в то время как диккенсовские раз и навсегда отшлифованы и совершенны. По моему разумению, диккенсовские типы встречаются гораздо чаще и выглядят ярче, чем толстовские, но они всегда однозначны, неизменны, как картины или предметы мебели. С диккенсовским героем невозможно вести воображаемый диалог, как, скажем, с Пьером Безуховым. Вовсе не из-за большей серьезности Толстого: существуют и смешные персонажи, с которыми мысленно можно поговорить по душам, – Блум, к примеру, или Пекуш, или уэллсова миссис Полли. Все дело в том, что у

героев Диккенса нет духовной жизни. Они говорят именно то, что им следует говорить, их нельзя представить беседующими о чем-то ином. Они никогда не учатся, никогда не размышляют. Возможно, самый рассуждающий из его героев – Поль Домби, но его мысли – это какая-то чепуха всмятку.

Значит ли это, что романы Толстого «лучше», чем Диккенса? Истина в том, что абсурдно делать такие сравнения в терминах «лучше» и «хуже». Доведись мне сравнивать Толстого с Диккенсом, я бы сказал: притягательность Толстого во времени будет расти и шириться, Диккенс же за пределами англоязычной культуры едва доступен; с другой стороны, Диккенс способен доходить до простых людей, а Толстой – нет. Герои Толстого могут раздвигать границы, диккенсовских можно изобразить на сигаретной пачке. Только ни для кого нет обязательности выбора между ними, как никто не обязан выбирать между сосиской и розой. Целевые назначения их едва ли сходятся в какой-нибудь точке.

## VI

Будь Диккенс просто комическим писателем, скорее всего, в наши дни никто не помнил бы его имени. В лучшем случае, выжили бы несколько его книг, что-нибудь в духе таких писаний, как «Фрэнк Фарлей», «Мистер Вердант Грин», «Выволочки мужу по методу миссис Кодль» – как подобие похмелья викторианской атмосферы, эдакое приятное легкое дуновение аромата устриц и крепкого портера. Кто порой не испытывал «сожаления» оттого, что Диккенс забросил жилу «Пиквика» ради разработок вроде «Крошки Доррит» или «Тяжелых времен»? От популярного писателя всегда хотят, чтобы он писал понравившуюся публике книгу снова и снова, при этом забывают, что человек, который написал бы одну и ту же книгу дважды, не способен написать ее и единожды. Любой писатель, если он только напрочь не лишен жизни, движется по своеобразной параболе, нисходящая часть которой подразумевается, заложена в восходящей. Джойсу пришлось начать бесстрастной мастеровитостью «Дублинцев», а закончить на языке грез «Пробуждения Финнегана», однако «Улисс» и «Портрет художника» – участки той же траектории. В сферу искусства, для которой он и впрямь не очень подходил, Диккенса выдвинуло то, что одновременно стало причиной нашей памяти о нем, простой факт, что он был моралистом, осознание, что ему «есть что сказать». Он все время читал проповедь – и это последняя тайна его изобретательности. Способность творить появляется лишь тогда, когда развита способность обеспокоиться. Литературному поденщику, ищущему, над чем бы позабавиться, не создать характеров вроде Сквиерса и Микобера. За шуткой, достойной смеха, всегда стоит идея, как правило, идея подрывная. Диккенс мог забавляться с упоением, потому что он восставал против власти, а для желающего высмеять ее власть всегда под боком. Так что местечко для еще одного пирожного с кремом всегда найдется.

Радикализм у Диккенса довольно смутного свойства, и все же он ощутим всегда. В этом различие между моралистом и политиком. Не было у него созидательных идей, не было даже ясного понимания природы общества, которое он критиковал, только эмоциональное ощущение чего-то неладного. Усилия его сфокусированы в словах: «Ведите себя достойно», – которые, как я уже сказал, вовсе не так поверхностны, как звучат.

Большинство революционеров потенциальные тори, ибо они воображают, будто все можно наладить, переменяв форму общества, когда же, как порой случается, перемена осуществлена, они не видят необходимости менять что-то дальше. Подобной умственной грубости Диккенс лишен. Зыбкость, смутность недовольства у него есть признак, что оно постоянно. То, против чего выступает Диккенс, не связано с тем или иным укладом, а, по выражению Честертона, связано с «выражением на

человеческом лице». Грубо говоря, его мораль – христианская мораль, только, несмотря на англиканское воспитание, он, в сущности, христианин от библии, о чем и позаботился сообщить в своем завещании. В любом случае, считать его воистину религиозным человеком нельзя. Он «верит», это несомненно, но религия в смысле благочестия, видимо, не проникает глубоко в его сознание[22]. Христианин он прежде всего в квази-инструктивном принятии стороны угнетенных против угнетателей. Во всем и повсюду он на стороне обездоленных, побежденных и логичен в этом до конца, меняя сторону, когда побежденный становится победителем. К примеру, он не выносит католическую церковь, но, как только католиков начинают притеснять, он на их стороне («Барнеби Редж»). Еще больше ему ненавистно сословие аристократов, но, как только они оказались свергнутыми, он резко меняет свои симпатии (революционные главы «Сказки двух городов»). Стоит ему отойти от эмоциональных оценок, он тут же сбивается с пути. Всем известный пример – финал «Дэвида Копперфильда», где любой его прочитавший чувствует, как концы не сошлись с концами. Неладно то, что финальные главы ощутимо, хотя и не выпяченно, пропитаны культом успеха. Это евангелие от Смайлса, но не евангелие от Диккенса. Привлекательные в своей расхристанности персонажи выпроваживаются: Микобер сколачивает состояние, Хип угодил в тюрьму (оба события вызывающе невозможны), и даже Дора убита, чтобы открыть дорогу Агнес. Если угодно, можно считать Дору женой Диккенса, а Агнес его золовкой, только суть в том, что Диккенс «сделался респектабельным» и творит насилие по собственному своему хотению. Возможно, поэтому Агнес стала самой спорной из его героинь, эдаким ангелочком бесполом викторианского любовного романа, почти такой же плохой, как и теккереевская Лаура.

Ни один взрослый при чтении Диккенса не может не почувствовать его ограниченности, и все же остается природная щедрость его ума – этот якорь, удерживающий его в родной стихии. Вероятно, тут главный секрет его популярности. Добродушная антиномичность на диккенсовский лад – одна из примет западной массовой культуры. Она видна в народных сказаниях и комических куплетах, вымышленных фигурах вроде Микки-Мауса и Моряка-Пучеглаза (оба они – варианты Джека-Убоища), в истории социализма рабочего класса, в массовых протестах (всегда неэффективных, но не всегда трюкаческих) против империализма, в порывах, которые заставляют судей налагать большие штрафы для возмещения ущерба, если бедняка сбивает машина богача; это ощущение того, что всегда находишься не на стороне обездоленных, на стороне слабых против сильных. В определенном смысле ощущение это устарело лет на пятьдесят. Простой человек до сих пор живет в духовной стихии Диккенса, но почти все современные интеллектуалы прибились к той или иной форме тоталитаризма. С марксистской или фашистской точки зрения, почти все, за что ратует Диккенс, можно приписать «буржуазной морали». Хотя в моральных воззрениях вряд ли кто более «буржуазен», чем английские трудящиеся классы. Обычные люди в западных странах никогда не вступают – духовно, умственно – в мир «реализма» и силовой политики. Может быть, спустя немного времени, они войдут в этот мир – вот тогда Диккенс так же устареет, как лошадь, запряженная в кэб. В свое да и в наше время популярным Диккенса делала способность выразить в смешной, упрощенной, а потому и запоминающейся форме прирожденную пристойность простого человека. Очень важно, что в этом плане «простыми» могут быть названы самые различные люди. В такой стране, как Англия, несмотря на ее классовую структуру, и в самом деле существует определенное культурное единство. Через все века христианства, особенно после французской революции, западный мир преследует идея свободы и равенства. Только идея, но проникла она во все слои общества. Чудовищнейшая несправедливость, жестокость, ложь, высокомерие существуют везде и всюду, но немного найдется людей, способных взирать на это с таким равнодушием, как, скажем, римский рабовладелец. Даже миллионера мучает неосознанное чувство



вины, как собаку, которая пожирает украденную баранью ногу. Почти каждый, каково бы ни было его реальное поведение, эмоционально откликается на идею человеческого братства. Диккенс проповедовал кодекс, в который верили и до сих пор верят даже те, кто его нарушает. Иначе трудно разъяснить два разноречия: почему его читают рабочие люди (такого не произошло ни с одним другим писателем его статуса) и почему похоронен он в Вестминстерском Аббатстве.

Когда читаешь любую прозу, отмеченную яркой индивидуальностью стиля, ловишь себя на ощущении, будто за строчками, за страницами проступает лицо. Не обязательно «натуральное» лицо писателя. У меня такое ощущение очень велико при чтении Свифта, Дефо, Филдинга, Стендаля, Теккерея, Флобера, хотя я не знаю, как выглядели некоторые из них, да и не хочу знать. Со страниц проступает лицо, которое, полагаем мы, следует иметь автору. Так вот, читая Диккенса, я вижу лицо, не совсем схожее с фотографическими изображениями, хотя и напоминающее их. Лицо человека лет сорока. Небольшая бородка. Стоячий воротничок. Человек смеется. В смехе различима нотка гнева, но никакого торжества, никакого злорадства. Передо мной лицо человека, который вечно с чем-то сражается, сражается открыто и его не запугать, лицо человека, который щедро гневен, – иными словами, лицо либерала девятнадцатого столетия, свободного интеллектуала – тип, равной ненавистью ненавидимый всеми вонючими ортодоксами, что ныне соревнуются за обладание нашими душами.

1939 г.

#### МЫСЛИ В ПУТИ

(Перевод А. Зверева)

Читая блистательную и гнетущую книгу Мальколма Маггериджа «Тридцатые», я вспомнил, как однажды жестоко обошелся с осой. Она ела джем с блюдечка, а я ножом разрубил ее пополам. Не обратив на это внимания, она продолжала пировать, и сладкая струйка сочилась из ее рассеченного брюшка. Но вот она собралась взлететь, и только тут ей стал понятен весь ужас ее положения. То же самое происходит с современным человеком. Ему отсекали душу, а он долго – пожалуй, лет двадцать – этого просто не замечал.

Отсечь душу было совершенно необходимо. Было необходимо, чтобы человек отказался от религии в той форме, которая ее прежде отличала. Уже к девятнадцатому веку религия, по сути, стала ложью, помогавшей богатым оставаться богатыми, а бедных держать бедными. Пусть бедные довольствуются своей бедностью, ибо им воздастся за гробом, где ждет их райская жизнь, изображавшаяся так, что выходил наполовину ботанический сад Кью-гарденз, наполовину ювелирная лавка. Все мы дети Божии, только я получаю десять тысяч в год, а ты два фунта в неделю. Такой вот или сходной ложью насквозь пронизывалась жизнь в капиталистическом обществе, и ложь эту подобало выкорчевать без остатка.

Оттого и наступил долгий период, когда едва ли не каждый думающий человек становился в каком-то смысле бунтарем, а часто безрассудным бунтарем. Литература преимущественно вдохновлялась протестом и разрушением. Гиббон, Вольтер, Руссо, Шелли, Диккенс, Стендаль, Сэмюэл Батлер, Ибсен, Золя, Флобер, Шоу, Джойс – в том или ином отношении все они изничтожают, подрывают, саботируют. Два столетия мы тем одним и занимались, что подпиливали да подпиливали сук, на котором сидим. И вот с внезапностью, мало кем предвиденной, наши старания увенчались успехом – сук рухнул, а с ним и мы сами. К несчастью, вышло маленькое недоразумение. Внизу оказалась не мурава, усыпанная лепестками роз, а выгребная яма, затянутая

колючей проволокой.

Впечатление такое, словно за какой-то десяток лет мы откатились ко временам каменного века. Вдруг ожили человеческие типы, казалось бы, вымершие давным-давно: пляшущий дервиш, и разбойничий атаман, и Великий Инквизитор, – причем сегодня они отнюдь не пациенты психиатрической лечебницы, а властители мира. Видимо, нельзя жить, полагаясь исключительно на могущество машин и на обобществленную экономику. Сами по себе они только помогают воцариться кошмару, в котором мы принуждены существовать, – этим бесконечным войнам и бесконечным лишениям из-за войн, и колючей проволоке, за которой оказались народы, обреченные на рабский труд, и лагерным баракам, куда гонят толпы исходящих криком женщин, и подвалам, где палачи расстреливают выстрелами в затылок, неслышными через обитые пробкой стены. Ампутация души – это, надо полагать, не просто хирургическая операция вроде удаления аппендикса. Такие раны имеют свойство гноиться.

Смысл книги Маггериджа поясняют два места из Екклесиаста: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!»; «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Теперь смысл этот стал очень близок многим, кто всего несколько лет назад высмеивал его. Мы существуем среди кошмара именно по той причине, что пытались создать земной рай. Мы верили в «прогресс», в то, что нам под силу руководить простым смертным, воздавали кесарям Богово – примерно так принимаются рассуждать.

Сам Маггеридж, увы, тоже не дает повода допустить, что он верит в Бога. По крайней мере, исчезновение этой веры в человеке для него, очевидно, аксиома. Тут он, не приходится сомневаться, прав, а если считать действительными только санкции, исходящие свыше, ясно, что из этого следует. Нет иной мудрости, кроме страха перед Богом, однако никто не боится Бога, а значит, никакой мудрости не существует. Человеческая история заключается лишь в подъемах и крушениях материальных цивилизаций – одна вавилонская башня вслед другой. А если так, можно с уверенностью представить, что нас ждет. Войны и снова войны, революции и контрреволюции, гитлеры и сверхгитлеры – вниз, вниз, в пропасть, куда страшно заглянуть, хотя, подозреваю, Маггеридж зачарован такой перспективой.

Прошло уж лет тридцать с той поры, как Хиллэр Беллок в своей книге «Государство рабов» на удивление точно предсказал происходящее в наши дни. К сожалению, ему нечего было предложить в качестве противоядия. У него все свелось к тому, что вместо рабства необходимо вернуться к мелкой собственности, хотя ясно, что такого возвращения не будет и что оно невозможно. Сегодня практически нет альтернативы коллективистскому обществу. Вопрос лишь в том, будет ли оно держаться силами добровольного сотрудничества или силой пулеметов. Решительно ничего не вышло из идеи Царства Божиего на земле, как оно прежде мыслилось, но, впрочем, еще и до того, как явился Гитлер, стало понятно, насколько далека эта идея от реального будущего, которое нас ожидает. То, к чему мы идем сейчас, имеет более всего сходства с испанской инквизицией; может, будет и еще хуже – ведь в нашем мире плюс ко всему есть радио, есть тайная полиция. Шанс избежать такого будущего ничтожен, если мы не восстановим доверие к идеалу человеческого братства, значимому и без размышлений о «грядущей жизни». Эти размышления и побуждают неискующих людей, вроде настоятеля Кентерберийского собора, всерьез верить, будто Советская Россия явила образец истинного христианства. Разумеется, они пали жертвами пропаганды, однако исповедуемый марксистами «реализм» тоже не оправдался, какими бы материальными достижениями он ни располагал. Получается,

что нет альтернативы, помимо той, от которой нас так заботливо предостерегают Маггеридж, Ф. А. Фойгт и думающие в сходном духе: эта альтернатива – столько раз осмеянное Царство земное, иными словами, общество, в котором люди, памятуя, что они смертны, стремятся относиться друг к другу как братья.

Значит, у них должен быть общий отец. И поэтому часто говорят, что ощущения братства у людей не будет, пока их не сплотит вера в Бога. На это можно ответить, что большинство из них полуосознанно уже прониклись таким ощущением. Человек – не особь, он лишь клеточка вечносущего организма, и смутно он это осознает. Иначе не объяснить, отчего человек готов погибнуть в бою. Нелепо утверждать, что он так поступает исключительно по принуждению. Если бы принуждать приходилось целые армии, невозможной сделалась бы любая война. Люди погибают, сражаясь из-за абстракций, именуемых честью, долгом, патриотизмом и т. д., – разумеется, не в охотку, но, во всяком случае, по собственному выбору.

Означает это лишь одно: они отдают себе отчет в существовании какой-то живой связи, которая важнее, нежели они сами, и простирается как в будущее, так и в прошлое, давая им чувство бессмертия, коль скоро они ее ощутили. «Погибших нет, коль Англия жива» – звучит высокопарной болтовней, но замените слово «Англия» любым другим по вашему предпочтению, и вы убедитесь, что тут схвачен один из главных стимулов человеческого поведения. Люди жертвуют жизнью во имя тех или иных сообществ – ради нации, народа, единоверцев, класса – и постигают, что перестали быть личностями, лишь в самый момент, как засвистят пули. Чувствуй они хоть немного глубже, и эта преданность сообществу стала бы преданностью самому человечеству, которое вовсе не абстракция.

«О дивный новый мир» Олдоса Хаксли был превосходным шаржем, запечатлевшим гедонистическую утопию, которая казалась достижимой, заставляя людей столь охотно обманываться собственной убежденностью, будто Царство Божие тем или иным способом должно сделаться реальностью на Земле. Но нам надлежит оставаться детьми Божиими, даже если Бог из молитвенников более не существует.

Иной раз это постигали даже те, кто старался динамитом взорвать нашу цивилизацию. Знаменитое высказывание Маркса, что «религия есть опиум народа», как правило, вырывают из контекста, придавая ему существенно иной, нежели вкладывал в него автор, смысл, хотя подмена едва заметна. Маркс – по крайней мере, в той работе, откуда эта фраза цитируется, – не утверждал, что религия есть наркотик, распространяемый свыше; он утверждал, что религию создают сами люди, удовлетворяя свойственную им потребность, насущность которой он не отрицал. «Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира... Религия есть опиум народа». Разве тут сказано не о том, что человеку невозможно жить хлебом единым, что одной ненависти недостаточно, что мир, достойный людского рода, не может держаться «реализмом» и силой пулеметов? Если бы Маркс предвидел, как велико окажется его интеллектуальное влияние, возможно, то же самое он сказал бы еще не раз и еще яснее.

1940 г.

ИСКУССТВО ДОНАЛЬДА МАКГИЛЛА  
(Перевод В. Мисюченко)

Кто не видел в витринах дешевых писчебумажных лавок «комиксы», эти раскрашенные почтовые открытки за один-два пенни с их неизбывными толстухами в купальниках, с

их топорным рисунком и невыносимым колоритом, где царствуют цвета желтый, как у яиц лесной завирушки, да позаимствованный у почтового ведомства красный[23]?

Вопрос должен бы быть риторическим, но что любопытно: многие, видимо, или не подозревают о существовании таких открыток, или наивно считают их всего-навсего принадлежностью приморских курортов, такой же, как негры-джазисты или мятные леденцы. На самом же деле открытки-комиксы продаются везде (их, к примеру, можно купить едва ли не в любом Вулвортсе[24]), производятся они в количествах прямо-таки устрашающих, причем постоянно появляются все новые и новые серии. Их не следует путать ни с сентиментальными, «герои» которых щеночки да котеночки, ни с полупорнографическими, в германском духе, где выжимают комизм из любовных ухаживаний детишек, ни с какими другими видами рисованных открыток. Они образуют собственный жанр, специфика которого – очень «низкий» юмор с шуточками о теще, пеленках и сапоге полицейского, а также отсутствие художественно-изобразительных претензий. Выпускают их с полдюжины издательств, хотя число людей, которые их рисуют, по-видимому, не очень велико.

Лично у меня они ассоциируются прежде всего с именем Дональда Макгилла: он не только самый плодовитый современный художник-открыточник, на голову превосходящий всех своих коллег, он еще и наиболее совершенен в выражении жанра, последовательно верен его традициям. Кто такой Дональд Макгилл, я не знаю. Очевидно, его имя своеобразная торговая марка (по крайней мере одна серия открыток выпускается просто как «комиксы Дональда Макгилла»), в то же время, уверен, что это и имя реального человека, стиль рисунков которого узнаваем с первого взгляда. Всякий, взявший на себя труд пересмотреть кипу его открыток, заметит: как произведения рисовальщика многие из них отнюдь не жалки; однако только дилетант может сделать вид, будто они сами по себе имеют какую бы то ни было эстетическую ценность. Открытка-комикс есть просто иллюстрация к шутке, неизменно – шутке «низкой», чей успех или провал зависит от способности вызывать смех. За рамками этого комикс имеет лишь «идеологический» интерес. Макгилл – умный рисовальщик, в изображении лиц у него чувствуются ухватки настоящего карикатуриста, но особая ценность его открыток в их абсолютной типичности. Воистину они являются эталоном комической почтовой открытки. Лишенные малейших черт подражательности, они по существу ничем не отличаются от открыток-комиксов последних сорока лет, поэтому из них можно почерпнуть сведения о смысле и цели всего жанра.

Возьмите с дюжину этих произведений, предпочтительно макгилловых (если из любой кучи открыток вы наудачу будете выбирать самые забавные, то скорее всего обнаружится, что большинство из них рисовал Макгилл), и разложите их на столе. Что видите?

Прежде всего бросается в глаза всеподавляющая вульгарность. И это помимо неизбывной непристойности, помимо чудовищного колорита. Низменность интеллектуальной атмосферы в них совершенна, она создается не только природой юмора, но и, в большей степени, гротескным, кричащим, лубочным качеством рисунков. Изображения, как бы сделанные рукой ребенка, полны уродливых линий и пустот, каждая фигура, каждый жест, каждое выражение нарочито безобразны, лица ухмыляются, женские прелести чудовищно развиты, зады выпирают, как у готтентотов[25]. Но почти сразу возникает трудно выразимое ощущение чего-то знакомого. Что все это напоминает? Во-первых, они, конечно, напоминают вам такие же открытки-комиксы, которые вы рассматривали в детстве. Но это не все. У вас перед глазами сейчас нечто с традициями столь же глубокими, как и у греческой трагедии, своего рода подмир созданных для шлепка задниц и вечно худых тещ,

который стал частью западноевропейского сознания. Не сказал бы, что все шутки, если перебирать их одну за другой, непременно окажутся затасканными. Бесстыдства им не занимать, но открытки-комиксы повторяют самих себя не так часто, как юмористические колонки в приличных журналах. Только их основная, тема, вид шутки, к которому они тяготеют, не меняется никогда. Некоторые из них по-настоящему остроумны, в стиле Макса Миллера. Образчики:

– Мне нравится провожать домой опытных девушек.

– Но у меня нет опыта!

– Так мы еще и до дома не дошли!

– Я бог знает сколько лет бьюсь, чтобы получить шубу. Как тебе досталась твоя?

– Я перестала биться.

Судья: Вы уклоняетесь от прямого ответа, сэр. Спали вы или не спали с этой женщиной?

Ответчик: Глаз не сомкнул, ваша честь!

В целом они все же не остроумны, а юмористичны, причем, замечу (особенно это касается открыток Макгилла), что чаще рисунок на них куда забавнее шуточной подписи под ним. Совершенно очевидно, что непристойность является характернейшей, можно сказать, выдающейся чертой открыток-комиксов. Подробнее об этом я еще скажу, а пока – беглый анализ их обычной тематики с некоторыми необходимыми разъяснениями:

Секс. Больше половины, если не три четверти, шуток связаны с сексом, от безобидных до балансирующих на грани непечатного. Вероятный фаворит номер один – незаконнорожденный младенец. Типичные надписи: «Не могли бы вы обменять этот предохраняющий талисман на детскую бутылочку с соской?», «На крестины она меня не позвала, так я к ней и на свадьбу не пойду». Далее следуют новобрачные, старые девы, голые статуи и женщины в купальных костюмах. Все это *ipso facto*[26] забавно, всего лишь упоминание об этом способно вызвать смех. Шутки с рога носцами используются редко, а таких, где речь идет о гомосексуалистах, нет совсем.

Постулаты сексуальной шутки:

1) Брак выгоден только женщинам. Каждый мужчина плетет сети обольщения, а каждая женщина – сети брака. Ни одна женщина никогда добровольно незамужней не остается.

2) Сексуальная привлекательность исчезает к двадцати пяти годам. Хорошо сохранившиеся, симпатичные люди, переступившие порог первой молодости, никогда не изображаются. Влюбленная парочка поры медового месяца вновь появляется на сцене в облике зловещего вида жены и оплывшего красноносого усача-мужа. Никаких промежуточных стадий не допускается.

Семейная жизнь. Самая любимая шутка после секса – подкаблучник-муж. Типичная подпись: «Твоей жене сделали рентгеновский снимок челюсти в больнице? – Снимок не получился, у них все время кино выходило».

Постулаты:

- 1) Такой вещи, как счастливый брак, на свете не существует.
- 2) Ни одному мужу никогда не взять верх над женой в споре.

Пьянство. Как пьянство, так и чрезмерная трезвость *ipso facto* забавны, смешны.

Постулаты:

- 1) У всех пьяниц возникают оптические иллюзии.
- 2) Пьянство – отличительная черта мужчин средних лет.

Пьяные юноши или женщины не изображаются никогда.

Шутки «00». Таких много. Ночные горшки *ipso facto* смешны, так же как и общественные туалеты. Изображение на типичной открытке с подписью «Друг по нужде»: шляпа, слетевшая с головы мужчины, скатывается по лестнице, ведущей в дамский туалет.

Внутриклассовый снобизм рабочих. Многие в открытках дает основание предположить, что предназначены они обеспеченным рабочим и служащим победнее. Много шуток построено на неправильном словоупотреблении, неграмотности, просторечии и грубых манерах обитателей трущоб. Не счесть открыток, изображающих неопрятных фурий, похожих на опереточных уборщиц, которые обмениваются «не подобающей леди» руганью. Образчик ответного остроумия: «Жаль, что ты не статуя, а я не голубка!» Некоторые открытки, появившиеся с началом войны, затрагивают тему эвакуации, причем с неодобрительным отношением к эвакуированным. Довольно часты расхожие шутки о бродягах, нищих и преступниках, а также о комичной прислуге. Попадают и смешные землекопы, матросы с барж (лингво-духовные наследники былых бурлаков) и т. п. Но шуток, задевающих профсоюзы, нет. Говоря обобщенно, объектом осмеяния считается любой, чей доход гораздо больше и гораздо меньше 5 фунтов в неделю. «Важная шишка» почти так же автоматически попадает в смешные персонажи, как и обитатель трущоб.

Постоянные персонажи. Редко или совсем не изображаются иностранцы. Если брать территориальный признак юмора, то главное лицо здесь – шотландец, этот неисчерпаемый кладезь шуток. Адвокат всегда мошенник, а священник всегда психованный идиот, говорящий глупости невпопад. Все еще появляются, совсем как во времена короля Эдуарда, «щеголь» или «сердцеед», хотя вид их и подустарел: вечерние туалеты, шелковые цилиндры или даже короткие гетры и тросточки с набалдашниками. Вот еще пример выживания – суфражистка, примадонна смеха в период до 1914 г., типаж слишком ценный, чтобы отказаться от него. Внешне она ничуть не изменилась, но теперь играет роль лектора-феминистки или фанатички трезвости.

Особенность самых последних лет – полное отсутствие антиеврейских открыток, «еврейский юмор», всегда более злонравный, чем «шотландский юмор», пропал сразу же после прихода к власти Гитлера.

Политика. Любое современное событие, культ или движение (например, «свободная любовь», феминизм, ПВО, нудизм), которое чревато комическими возможностями, быстро находит путь на рисованую открытку. Общая атмосфера открыток тем не менее исключительно старомодна, она навеяна политическим радикализмом, свойственным году эдак 1900-му. В спокойные времена комиксы не только не патриотичны, но и слегка осмеивают патриотизм в шутках по поводу «Боже, храни короля», Юнион-Джека[27] и т. д. Где-то в 1939 году на открытках нашла свое преломление европейская ситуация, прежде всего через смешные грани ПВО. Даже сейчас (1941 год – перев.) немногие открытки в военной теме выходят за пределы ПВО-шуточек – толстуха застряла в горловине лаза подземного убежища; патрульные, забыв о своих обязанностях, глазят в окно на раздевающую женщину, пренебрегающую светомаскировкой, и т. д. и т. п. На некоторых выражены антигитлеровские чувства, впрочем, не очень мстительные. Одна (не Макгилла) изображает Гитлера с обычной гипертрофированной задницей, наклонившегося, чтобы сорвать цветок. Подпись: «А что бы сделал Ты, приятель?» Тут, пожалуй, потолок патриотического полета, которым с радостью ограничится любая открытка. В отличие от двухпенсовых еженедельных газет, открытки-комиксы не стали продукцией какой-либо огромной компании-монополии, и как средство формирования общественного мнения они явно не принимаются в расчет. В них не найти и тени попытки навязывать взгляды, приемлемые для правящего класса.

Здесь следует вернуться к разговору о непристойности, этой в глаза бьющей, самодовлеющей особенности открыток-комиксов. Из-за нее-то их и помнят все, в ней их целеполагающая основа, выраженная, правда, так, что распознаешь ее не сразу и не вдруг.

Постоянно повторяющийся, едва ли не доминирующий мотив комиксов – женщина с пышно развитым задом. На половине, если не больше, открыток, даже когда содержание шутки никак не связано с сексом, изображена эта самая женская фигура, упитанная, «сладострастная», в платье, облегающем тело, словно вторая кожа, с грудями или ягодицами (в зависимости от того, куда обращена фигура) сильно преувеличенных размеров. Нет и не может быть сомнения, что такие картинки ослабляют узду на очень распространенном сдерживаемом чувстве, которое естественно в стране, где женщины, пока молоды, склонны к худобе до костлявости. В то же время комиксы Макгилла (и это относится ко всем открыткам данного жанра) не столь прямолинейны, как порнография: вещицы попикантнее, они скорее пародия на порнографию. Готтентотские фигуры женщин – это карикатура на тайный идеал англичанина, а не портрет этого идеала. Присматриваясь к открыткам Макгилла внимательнее, замечаешь, что юмор данного сорта сопряжен, и прочно, с довольно строгим моральным кодексом. Если в таких газетах, как, например, «Эсквайр» или «Ви паризьен» в основу юмора всегда закладывается распущенность, полное сокрушение устоев, то основа комиксов Макгилла – брак, супружество. В них четыре ведущие темы для шуток: нагота, незаконнорожденные дети, старые девы и молодожены, – ни одна из которых не позабавит действительно распутное общество или же общество «изошренное». В открытках с парочками, проводящими медовый месяц, царит дух непотребного действия тех деревенских свадеб, где до сих пор заходятся от смеха, пришивая колокольчик к постели новобрачных. Вот, например, изображение на одной из них: молодой муж, выбираясь поутру из постели после брачной ночи, восклицает: «Первое утро в нашем собственном гнездышке, дорогая! Пойду заберу молоко с газетой и принесу тебе чашку чая». В общую картинку врезан рисунок крыльца их дома: на нем четыре газеты и четыре бутылки молока. Если хотите, непристойно, но – не безнравственно. Скрытый смысл тут – и как раз такого смысла «Эсквайр» или «Ньюйоркер» избегали бы любой ценой – в том, что

брак есть нечто глубоко захватывающее, волнующее, по сути, самое большое событие в жизни среднего человека. Точно так же и с шутками о «пилящих» женах и властных тираноподобных тещах: на самом деле они, по крайней мере, подразумевают стабильное общество, где брак нерасторжим, а привязанность к семье сама собой разумеется. С этим-то и связан отмеченный мною раньше факт: нет или почти нет изображений симпатичных людей за порогом первой молодости. Есть «ненаглядные» парочки и есть среднего возраста пары, живущие как кошка с собакой, но никаких — между ними. Интимная связь в виде незаконного, но более или менее пристойного любовного романа, предмет расхожих шуток французских юмористических газет, не тема для открыток-комиксов. В этом отражены, на комическом уровне, взгляды рабочего класса, согласно которым юность и приключения — чуть ли не личная жизнь вообще — кончаются с супружеством. Много сказано о классовых различиях, но одним из немногих подлинных классовых отличий, до сих пор существующих в Англии, является то, что рабочие старятся гораздо раньше. Живут они, если выживают в детстве, не менее долго и физической активности своей раньше не теряют, зато очень рано теряют свое юное обличье. Это заметно везде и во всем, но легче всего обнаруживается при регистрации на военную службу старших возрастов: выходцы из верхушки среднего и высшего сословия выглядят примерно на десять лет моложе остальных. Обычно это относят на счет более тяжелой жизни, которую приходится вести трудящимся классам, однако сомнительно, можно ли и поныне приписывать этому такую разницу. Правда скорее такова: рабочие раньше становятся пожилыми оттого, что раньше мирятся с этим. Ведь выглядеть или нет моложе после, скажем, тридцати в значительной степени зависит от желания добиться этого. Возможно, я слишком обобщаю, и это меньше касается хорошо оплачиваемых рабочих, особенно тех, что живут в муниципальных домах и в квартирах с удобствами, но даже по ним не так сложно заметить разницу в облике. Кстати, тем самым рабочие более традиционны, более привержены христианскому прошлому, чем богатые дамы, которые с помощью физических упражнений, косметики и отказа от вынашивания детей стараются быть молодыми и в сорок лет. Стремление остаться молодым любой ценой, попытка сохранить сексуальную привлекательность и даже в пожилые годы видеть будущее для себя, а не просто для своих детей, — это культивируемое новообразование утверждает себя — не очень надежно — на наших глазах. Может быть, оно исчезнет, когда уровень нашей жизни упадет, а уровень рождаемости повысится. «Молодость недолговечна» — формула нормальных, традиционных отношений. Именно ее, древнюю мудрость, и выражают (без сомнений, неосознанно) Макгилл и его коллеги, не допуская на открытки никаких переходных стадий между нежной парочкой поры медового месяца и лишенными какой бы то ни было привлекательности фигурами мамыши и папаши.

Я уже говорил, что не меньше половины комиксов Макгилла построены на сексуальных шутках, часть из них (примерно десять процентов) превосходит в неприличии все, что только печатается в Англии. Их распространителям и продавцам, как правило, весьма достается, и наказаний было бы значительно больше, не защити себя самые неприличные шутки двусмысленностью. Одного примера достаточно, чтобы показать, как это делается. Открытка с подписью «Они ей не поверили». Молодая женщина, разведя ладони рук фута на два, сообщает о длине чего-то паре своих товаров, от изумления раскрывших рты. За ее спиной на стене висит чучело рыбы в стеклянном ящике, а рядом — фотография почти обнаженного атлета. Совершенно очевидно, что женщина не о рыбе речь ведет, но доказать этого невозможно. Так вот, вряд ли найдется в Англии газета, которая напечатала бы такого сорта шутку, и абсолютно точно, что нет ни одной, которая стала бы делать это из номера в номер. Существует мощный поток так называемой мягкой порнографии, несть числа иллюстрированным газетам, наживающимся на женских ножках, но нет популярной литературы, специализирующейся на «вульгарной», фарсовой стороне секса. С другой



стороны, шутки, не отличимые от макгилловых, — обычная разменная монета ревью и мюзик-холлов, можно услышать их и по радио тогда, когда цензор то ли одобрительно кивает головой, то ли клюет носом в дреме. В Англии разрыв между тем, что можно сказать, и тем, что может быть напечатано, исключительно велик. Реплики и жесты, против появления которых на сцене вряд ли кто возразит, вызовут взрыв общественного негодования при попытке воспроизвести их на бумаге. (Сравните сценические репризы Макса Миллера с его же еженедельной колонкой в «Санки диспетч».) Открытки-комиксы единственное существующее исключение из этого правила, единственное средство, в котором действительно «низкому» юмору позволено быть печатным. Только на открытках да на сцене варьете свободно используются пышные зады, собачка и фонарный столб, детские пеленки и прочие подобные штучки. Зная об этом, можно понять, какую миссию выполняют комиксы на свой скромный лад.

Они дают простор взгляду Санчо Пансы на жизнь, тому отношению к жизни, которое Ребекка Уэст определила однажды как «извлечение максимума забавы от шлепанья по задницам в подвальных кухнях». К комбинации Дон Кихот — Санчо Панса, которая всего-навсего отражает древний дуализм тела и души в художественной литературе, беллетристика последних четырехсот лет обращалась чаще, чем то можно было бы объяснить простым подражанием. Снова и снова, в бесконечных вариациях являла она себя: Бувар и Пекут, Дживз и Вустер, Блум и Дедалус, Холмс и Ватсон (вариант Холмс — Ватсон исключительно тонок, поскольку привычные физические характеристики двух партнеров в нем поменялись местами). Очевидно, комбинация приобрела живучесть в нашей цивилизации не потому, что каждый из персонажей в реальной жизни встречается в «чистом виде», а потому что два принципа — благородное безрассудство и простонародная мудрость — бок о бок сосуществуют почти в каждом человеке. Обратите мысленный взор в самого себя: который из них вы — Дон Кихот или Санчо Панса? Почти уверен: вы — оба. Часть вашего существа рвется в герои или святые, но другая ваша часть — это маленький толстячок, кому хорошо ведомо преимущество оставаться в живых, да чтоб и шкура была цела. Он — ваше скрытое «я», глас чрева, протестующего против души. Его натура стремится к безопасности, мягким постелям, ничегонеделанью, кружкам пива и женщинам со «сладолюбивыми» фигурами. Это он прокалывает воздушные шарики ваших прекраснотушных порывов и побуждает вас следовать за Номером Первым, быть неверным своей жене, уклоняться от уплаты долгов и т. д. и т. п. Позвольте вы себе оказаться под его влиянием или нет — это другой вопрос. Но чистая ложь утверждать, что он не часть вашего существа, такая же ложь утверждение, что в вас не сидит и Дон Кихот, хотя большая часть того, что говорится или пишется, представляет собой ту или другую ложь, обычно — первую.

Одно «но». Хотя в разных ипостасях Санчо Панса входит в круг постоянных персонажей литературы, в реальной жизни, особенно при нынешнем порядке общественного устройства, его точка зрения никогда по справедливости в расчет не принималась. Существует глобальный постоянный заговор притворства, будто никакого Санчо здесь нет или, по крайней мере, будто здесь он, Санчо, вовсе не при чем. В кодексах закона и морали, в религиозных системах никогда не отводится места для юмористического взгляда на жизнь. Все, что смешно, носит подрывной характер, каждая шутка в конечном счете — это пирожное с кремом, так что причина обилия шуток, вращающихся вокруг непристойности, проста: любое общество, во имя выживания, вынуждено настаивать на весьма высоком стандарте половой морали. Грязная шутка, разумеется, не всерьез атакует мораль, она нечто вроде мгновенного бунта сознания, одномоментного желания, чтобы все стало по-другому. То же самое можно сказать и про все другие шутки, сосредоточенные на трусости, лени, бесчестии или любом другом качестве, поощрять которое общество позволить

себе не может. Обществу всегда приходится требовать от людей несколько больше, чем оно может в действительности от них получить. Оно вынуждено требовать безупречной дисциплины и самоотверженности, ему приходится ожидать от своих поеданных упорной работы, уплаты налогов, верности женам, оно должно исходить из того, что мужчины считают славной гибель на поле боя, а женщины хотят изнашивать себя, вынашивая и вскармливая детей. То, что можно назвать официальной литературой, базируется именно на этих постулатах. Я никогда не мог читать полководческих приказов перед сражениями, речей фюреров и премьер-министров, гимнов общеобразовательных школ, левых политических партий и государств, трактатов о трезвости, папских энциклик, а также проповедей против азартных игр и предохранения от беременности без того, чтобы чтение не сопровождалось хором многих миллионов пренебрежительно фыркающих простых людей, у которых все эти высокопарные сентименты не находят отклика в душах. Тем не менее в конечном итоге высокопарность берет верх, и лидеры, предлагающие кровь, тяжкий труд, слезы и пот, всегда добиваются большего от своих последователей, чем те, кто предлагает безопасность и добрые времена. В решающие моменты человеческие существа героичны. Женщины бестрепетно выходят один на один с детской кроваткой и половой щеткой, революционеры держат язык за зубами в камере пыток, броненосцы тонут с орудиями, продолжающими палить, даже когда вода заливают палубу. Только дело-то в том, что и иной элемент внутри каждого из нас, этот ленивый, трусливый, бегущий от долгов прелюбодей, никак не может быть загнан в небытие, время от времени он требует к себе внимания.

Открытки-комиксы суть одно из выражений его точки зрения, скромное, не такое важное, как мюзик-холл, но все же заслуживающее внимания. В обществе в основе своей до сих пор христианском они, естественно, делают упор на сексуальных шутках; в тоталитарном обществе, будь в нем вообще свобода выражения, они делали бы упор на лени и трусости, во всяком случае, на том или ином негероическом проявлении человеческой натуры. Нет смысла проклинать их за то, что они вульгарны и безобразны. Как раз такими они и призваны быть. Существование комиксов, тот факт, что люди нуждаются в них, симптоматично важно. Как и мюзик-холлы, это своего рода сатурналии, безобидный бунт против добродетели. Они выражают всего одно направление в мышлении человека, но такое, которое всегда есть и которое, как вода, всегда найдет для себя выход. В целом человеческие существа хотят быть хорошими, но – не слишком хорошими и не во всякое время. Ибо:

«Есть праведник, который гибнет в правоте своей, и есть порочный, который продлевает жизнь свою в пороке своем. Не переусердствуй в праведности и не делай себя слишком мудрым – зачем тебе уничтожать себя? Не переусердствуй и в пороке и глупцом не будь – зачем умирать тебе, прежде чем настанет время твое?» [28]

В прошлом дух нынешних комиксов был слит с главным потоком литературы, шутки, едва отличимые от макгилловых, походя звучали между убийствами в шекспировских трагедиях. Нынче это уже невозможно. Целая категория юмора, бывшая составной частью нашей литературы примерно до 1800 г., выродилась в плохо нарисованные открытки, влачит едва легальное существование в витринах дешевых писчебумажных лавок. Уголок человеческого сердца, из которого этот юмор исходит и для которого он предназначен, легко мог бы выразить себя и в худших формах. Уже из-за этого одного я буду сожалеть, когда увижу, что комиксы-открытки исчезли.

1941 г.

## ЛИТЕРАТУРА И ТОТАЛИТАРИЗМ

(Перевод А. Зверева)

Начиная свое первое выступление, я говорил, что наше время не назовешь веком критики. Это эпоха причастности, а не отстраненности, и поэтому стало так трудно признать литературные достоинства за книгой, содержащей мысли, с которыми вы не согласны. В литературу хлынула политика в самом широком смысле этого слова, она захватила литературу так, как при нормальных условиях не бывает, – вот отчего мы теперь столь обостренно чувствуем разлад между индивидуальным и общим, хотя он и наблюдался всегда. Стоит только задуматься, до чего сложно сегодняшнему критику сохранить честную беспристрастность, и станет понятно, какие именно опасности ожидают литературу в самом близком будущем.

Время, в которое мы живем, угрожает покончить с независимой личностью, или, верней, с иллюзиями, будто она независима. Меж тем, толкуя о литературе, а уж тем паче о критике, мы, не задумываясь, исходим из того, что личность вполне независима. Вся современная европейская литература – то есть та, которая создавалась последние четыре века, – стоит на принципах честности, или, если хотите, на шекспировской максиме: «Своей природе верен будь». Первое наше требование к писателю – не лгать, писать то, что он действительно думает и чувствует. Худшее, что можно сказать о произведении искусства, – оно фальшиво. К критике это относится даже больше, чем непосредственно к литературе, где не так уж досаждают некое позерство, манерничанье, даже откровенное лукавство, если только писатель не лжет в самом главном. Современная литература по самому своему существу – творение личности. Либо она правдиво передает мысли и чувства личности, либо же ничего не стоит.

Как я уже сказал, это для нас само собой разумеется, но едва стоит нам это признать, как осознаешь, какая над литературой нависла угроза. Ведь мы живем в эпоху тоталитарных государств, которые не предоставляют, а возможно, и не способны предоставить личности никакой свободы. Упомянув о тоталитаризме, сразу вспоминают Германию, Россию, Италию, но, думаю, надо быть готовым к тому, что это явление сделается всемирным. Очевидно, что времена свободного капитализма идут к концу, и то в одной стране, то в другой он сменяется централизованной экономикой, которую можно характеризовать как социализм или как государственный капитализм – выбор за вами. А значит, иссякает и экономическая свобода личности, то есть в большой степени подрывается ее свобода поступать как ей хочется, свободно выбирая себе профессию, свободно передвигаясь в любом направлении по всей планете. До недавней поры мы еще не предвидели последствий подобных перемен. Никто не понимал как следует, что исчезновение экономической свободы скажется на свободе интеллектуальной. Социализм обычно представляли себе как некую либеральную систему, одухотворенную высокой моралью. Государство возьмет на себя заботы о вашем экономическом благоденствии, освободив от страха перед нищетой, безработицей и т. д., но ему не будет никакой необходимости вмешиваться в вашу частную интеллектуальную жизнь. Искусство будет процветать точно так же, как в эпоху либерального капитализма, и даже еще нагляднее, поскольку художник более не будет испытывать экономического принуждения.

Опыт заставляет нас признать, что эти представления пошли прахом. Тоталитаризм посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и вообразить. Важно отдавать себе отчет в том, что его контроль над мыслью преследует цели не только запретительные, но и конструктивные. Не просто возбраняется выражать – даже допускать – определенные мысли, но диктуется, что именно надлежит думать; создается идеология, которая должна быть принята личностью, норовят управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения. Она изолируется, насколько возможно,

от внешнего мира, чтобы замкнуть ее в искусственной среде, лишив возможности сопоставлений. Тоталитарное государство обязательно старается контролировать мысли и чувства своих подданных по меньшей мере столь же действенно, как контролирует их поступки.

Вопрос, приобретающий для нас важность, состоит в том, способна ли выжить литература в такой атмосфере. Думаю, ответ должен быть краток и точен: нет. Если тоталитаризм станет явлением всемирным и перманентным, литература, какой мы ее знали, перестанет существовать. И не надо (хотя поначалу это кажется допустимым) утверждать, будто кончится всего лишь литература определенного рода, та, что создана Европой после Ренессанса.

Есть несколько коренных различий между тоталитаризмом и всеми ортодоксальными системами прошлого, европейскими, равно как восточными. Главное из них то, что эти системы не менялись, а если менялись, то медленно. В средневековой Европе церковь указывала, во что веровать, но хотя бы позволяла держаться одних и тех же верований от рождения до смерти. Она не требовала, чтобы сегодня верили в одно, завтра в другое. И сегодня дело обстоит так же для приверженца любой ортодоксальной церкви: христианской, индуистской, буддистской, магометанской. В каком-то отношении круг его мыслей заведомо ограничен, но этого круга он держится всю свою жизнь. А на его чувства никто не посягает.

Тоталитаризм означает прямо противоположное. Особенность тоталитарного государства та, что, контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном. Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных, однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями власти предрержащих. Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины. Вот очевидный, самый простой пример: до сентября 1939 года каждому немцу вменялось в обязанность испытывать к русскому большевизму отвращение и ужас, после сентября 1939 года – восторг и страстное сочувствие. Если между Россией и Германией начнется война, а это весьма вероятно в ближайшие несколько лет, с неизбежностью вновь произойдет крутая перемена. Чувства немца, его любовь, его ненависть при необходимости должны моментально обращаться в свою противоположность. Вряд ли есть надобность указывать, чем это чревато для литературы. Ведь творчество – прежде всего чувство, а чувства нельзя вечно контролировать извне. Легко определять отвечающие данному моменту установки, однако литература, имеющая хоть какую-то ценность, возможна лишь при условии, что пишущий ощущает истинность того, что он пишет; если этого нет, исчезнет творческий инстинкт. Весь накопленный опыт свидетельствует, что резкие эмоциональные переоценки, каких тоталитаризм требует от своих приверженцев, психологически невозможны, и вот прежде всего по этой причине я полагаю, что конец литературы, какой мы ее знали, неизбежен, если тоталитаризм установится повсюду в мире. Так ведь до сих пор и происходило там, где он возобладал. В Италии литература изуродована, а в Германии ее почти нет. Основное литературное занятие нацистов состоит в сжигании книг. Даже в России так и не свершилось одно время ожидавшееся нами возрождение литературы, видные русские писатели кончают с собой, исчезают в тюрьмах – обозначилась эта тенденция весьма определенно.

Я сказал, что либеральный капитализм с очевидностью идет к своему концу, а отсюда могут сделать вывод, что, на мой взгляд, обреченной оказывается и свобода мысли. Но я не думаю, что это действительно так, и в заключение просто хочу выразить свою веру в способность литературы устоять там, где корни либерального мышления особенно прочны, – в немилитаристских государствах, в Западной Европе,

Северной и Южной Америке, Индии, Китае. Я верю – пусть это слепая вера, не больше, – что такие государства, тоже с неизбежностью придя к обобществленной экономике, сумеют создать социализм в нетоталитарной форме, позволяющей личности и с исчезновением экономической свободы сохранить свободу мысли. Как ни поворачивай, это единственная надежда, оставшаяся тем, кому дороги судьбы литературы. Каждый, кто понимает ее значение, каждый, кто ясно видит главенствующую роль, которая принадлежит ей в истории человечества, должен сознавать и жизненную необходимость противодействия тоталитаризму, навязывают ли его нам извне или изнутри.

1941 г.

#### ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ В ИСПАНИИ

(Перевод А. Зверева)

I

Прежде всего о том, что запомнилось физически, – о звуках, запахах, зримом облике вещей.

Странно, что живее всего, что было потом на испанской войне, я помню неделю так называемой подготовки, перед тем как нас отправили на фронт, – громадные кавалерийские казармы в Барселоне, продуваемые ветрами денники и мощные брусчаткой дворы, ледяная вода из колонки, где мы умывались, мерзкая еда, которую сдабривали флажечки вина, девушки в брюках – служащие милиции, рубившие дрова под котел, переключки ранним утром и комическое впечатление, производимое моей простецкой английской фамилией рядом со звучными именами Мануэль Гонсалес, Педро Агилар, Рамон Фенелос, Роке Баластер, Хайме Доменен, Себастиан Вильтрон, Рамон Нуво Босх. Называю именно этих людей, потому что помню каждого из них. За исключением двоих, которые были просто подонками и теперь наверняка со рвением служат у фалангистов, все они, вероятно, погибли. О двоих я это знаю точно. Старшему из них было лет двадцать пять, младшему – шестнадцать.

Одно из существенных воспоминаний о войне – повсюду тебя преследуют отвратительные запахи человеческого происхождения. О сортирах слишком много сказано писавшими про войну, и я бы к этому не возвращался, если бы наш казарменный сортир не внес свою лепту в разрушение моих иллюзий насчет гражданской войны в Испании. Принятое в романских странах устройство уборной, когда надо садиться на корточки, отвратительно даже в лучшем своем исполнении, а наше отхожее место сложили из каких-то полированных камней, и было там до того скользко, что приходилось стараться изо всех сил, чтобы устоять на ногах. К тому же оно всегда оказывалось занято. Память сохранила много другого, столь же отталкивающего, но мысль, потом так часто меня изводившая, впервые мелькнула в этом вот сортире: «Мы солдаты революционной армии, мы защищаем демократию от фашистов, мы на войне, на справедливой войне, а нас заставляют терпеть такое скотство и унижение, словно мы в тюрьме, уж не говоря про буржуазные армии». Впоследствии было немало такого, что способствовало подобным мыслям, – скажем, тоска окопной жизни, когда нас мучил зверский голод, склоки да интриги из-за каких-нибудь обидок, затяжные скандалы, которые вспыхивали между людьми, измученными нехваткой сна.

Сам ужас армейского существования (каждый, кто был солдатом, поймет, что я имею в виду, говоря о всегдашнем ужасе этого существования) остается, в общем-то, одним и тем же, на какую бы войну ты ни угодил. Дисциплина – она одинакова во всех армиях. Приказы надо выполнять, а невыполняющих наказывают; между офицером

и солдатом возможны лишь отношения начальника и подчиненного. Картина войны, возникающая в таких книгах, как «На Западном фронте без перемен», в общем-то, верна. Визжат пули, воняют трупы, люди, очутившись под огнем, часто пугаются настолько, что мочатся в штаны. Конечно, социальная среда, создающая ту или другую армию, сказывается на методах ее подготовки, на тактике и вообще на эффективности ее действий, а сознание правоты дела, за которое сражается солдат, способно поднять боевой дух, хотя боевитость скорее свойство гражданского населения. (Забывают, что солдат, находящийся где-то поблизости от передовой, обычно слишком голоден и запуган, слишком намерзся, а главное, чересчур изнурен, чтобы думать о политических причинах войны.) Но законы природы неотменимы и для «красной» армии, и для «белой». Вши – это вши, а бомбы – это бомбы, хоть ты и дерешься за самое справедливое дело на свете.

Зачем разъяснять вещи, настолько очевидные? А затем, что и английская, и американская интеллигенция в массе своей явно не представляла их себе и не представляет по-прежнему. У людей короткая память, но оглянитесь чуток назад, полистайте старые номера «Нью массез» или «Дейли уоркер» – на вас обрушится лавина воинственной болтовни, до которой были тогда так охочи наши левые. Сколько там бессмысленных, избитых фраз! И какая невообразимая в них тупость! С каким ледяным спокойствием наблюдают из Лондона за бомбежками Мадрида! Я не имею в виду пропагандистов из правого лагеря, всех этих ланнов, гарвинов et hoc genus[29]; о них что и толковать. Но вот люди, которые двадцать лет без передышки твердили, как глупо похвалиться воинской «славой», высмеивали рассказы об ужасах войны, патриотические чувства, даже просто проявления мужества, – вдруг они начали писать такое, что, если переименовать несколько упомянутых ими имен, решишь, что это – из «Дейли мейл» образца 1918 года. Английская интеллигенция если и верила во что безоговорочно, так это в бессмысленность войны, в то, что она – только горы трупов да вонючие сортиры и что она никогда не может привести ни к чему хорошему. Но те, кто в 1933 году презрительно фыркал, услышав, что при определенных обстоятельствах необходимо сражаться за свою страну, в 1937 году начали клеймить троцкистом и фашистом всякого, кто усомнился бы в абсолютной правдивости статей из «Нью массез», описывающих, как раненые, едва их перевязали, рвутся снова в бой. Причем метаморфоза левой интеллигенции, кричавшей, что «война – это ад», а теперь объявившей, что «война – это дело чести», не только не породила чувства несовместимости подобных лозунгов, но и свершилась без промежуточных стадий. Впоследствии левая интеллигенция по большей части столь же резко меняла свою позицию, и не один раз. Видимо, их очень много, и они составляют основной костяк интеллигенции – те, кто в 1935 году поддерживал декларацию «Корона и страна», два года спустя потребовали «твердой линии» в отношениях с Германией, еще через три присоединились к Национальной конвенции, а сейчас настаивают на открытии второго фронта.

Что касается широких масс, их мнения, необычайно быстро меняющиеся в наши дни, их чувства, которые можно регулировать, как струю воды из-под крана, – все это результат гипнотического воздействия радио и телевидения. У интеллигентов подобные метаморфозы, я думаю, скорее вызваны заботами о личном благополучии и просто о физической безопасности. В любую минуту они могут оказаться и «за» войну, и «против» войны, ни в том, ни в другом случае отчетливо не представляя себе, что она такое. С энтузиазмом рассуждая о войне в Испании, они, разумеется, понимали, что на этой войне тоже убивают и что оказаться убитым нерадостно, однако считалось, будто солдат Республиканской армии война почему-то не обрекает на лишения. У республиканцев даже сортиры воняли не так противно, а дисциплина не была настолько суровой. Просмотрите «Нью стейтсмен», чтобы убедиться: именно

так и рассуждали; да и теперь о Республиканской армии пишется все тот же вздор. Мы стали слишком цивилизованными, чтобы уразуметь самое очевидное. Меж тем истина совсем проста. Чтобы выжить, надо драться, а когда дерутся, нельзя не перепачкаться грязью. Война – зло, но часто меньшее из зол. Взавшие меч и погибают от меча, а не взявшие меча гибнут от гнусных болезней. Сам факт, что надо напоминать о таких банальностях, красноречиво говорит, до чего мы дошли за годы паразитического капитализма.

## II

В добавление к сказанному несколько слов о жестокостях.

Я мало видел жестокостей на войне в Испании. Знаю, что они иной раз чинились республиканцами и намного чаще (да и сегодня это продолжается) фашистами. Что меня поразило и продолжает поражать – так это привычка судить о жестокостях, веря в них или подвергая их сомнению, согласно политическим предпочтениям судящих. Все готовы поверить в жестокости, творимые врагом, и никто – в творимые армией, которой сочувствуют; факты при этом попросту не принимаются во внимание. Недавно я набросал перечень жестокостей, совершенных с 1918 года до сегодняшнего дня; оказалось, каждый год без исключения где-то совершают жестокости, и трудно припомнить, чтобы хоть раз и левые, и правые приняли на веру свидетельства об одних и тех же бесчинствах. Еще удивительнее, что в любой момент ситуация может круто перемениться, и то, что вчера еще считалось бесспорно доказанным бесчинством, превратится в нелепую клевету – лишь оттого, что иным стал политический ландшафт.

Что касается нынешней войны, ситуация необычна, поскольку наша «кампания жестокостей» была проведена еще до первых выстрелов, причем проводили ее главным образом левые, хотя при нормальных условиях они всегда твердили, что не верят в рассказы про всякие бесчинства. Правые же, которые так много шумели о жестокостях, пока шла война 1914–1918 годов, предпочли бесстрастно наблюдать происходившее в нацистской Германии, решительно не замечая в ней никакого зла. Но как только началась война, вчерашние пронацисты всю закричали о чудовищных ужасах, тогда как антифашистами вдруг овладели сомнения, вправду ли существует гестапо. Тут не только результат советско-германского пакта. Частично все это вызвано тем, что до войны левые ошибочно полагали, будто никогда Германия не нападет на Англию, а оттого можно высказываться и в антинемецком, и в антибританском духе; частично – тем, что официальная военная пропаганда присущими ей отвратительным лицемерием и самонадеянностью обязательно побудит умного человека проникнуться симпатией к врагу. Цена, которую мы заплатили за систематическую ложь в годы Первой мировой войны, выразилась и в чрезмерном германофильстве по ее окончании. С 1918 по 1933 год вас освистали бы в любом левом кружке, если бы вы высказались в том духе, что Германия тоже несет хотя бы долю ответственности за войну. Наслушавшись в те годы стольких желчных комментариев по поводу Версальского договора, я что-то не вспомню не то что споров, но хотя бы самого вопроса: «А что было бы, если бы победила Германия?» Точно так же обстоит дело с жестокостями. Правда сразу начинает восприниматься как ложь, если исходит от врага. Я заметил, что люди, готовые принять на веру любой рассказ о бесчинствах, творимых японцами в Нанкине в 1937 году, не верили ни слову о бесчинствах, совершаемых в Гонконге в 1942-м. Стараются даже убедить себя, будто нанкинских жестокостей как бы и не было, просто о них теперь разглагольствует английское правительство, чтобы отвлечь внимание публики.

К сожалению, говоря о бесчинствах, сказать придется и вещи, куда более горькие, чем это манипулирование фактами, становящимися материалом для пропаганды. Горько

то, что бесчинства действительно имеют место. Скептицизм нередко порождается тем, что одни и те же ужасы приписываются каждой войне, но из этого прежде всего следует подтверждение истинности подобных рассказов.

Конечно, в них воплощаются всякие фантазии, но лишь оттого, что война создает возможность превратить эти небылицы в реальность. Кроме того – теперь говорить это немодно, а значит, надо об этом сказать, – трудно сомневаться в том, что те, кого с допущениями можно назвать «белые», в своих бесчинствах отличаются особой жестокостью, да и бесчинствуют больше, чем «красные». Скажем, относительно того, что творят японцы в Китае, никакие сомнения невозможны. Невозможны они и относительно рассказов о фашистских бесчинствах в Европе, совершаемых вот уже десять лет. Свидетельств накоплено великое множество, причем в значительной части они исходят от немецкой прессы и радио.

Все это действительно было – вот о чем надо было думать. Это было, пусть то же самое утверждает лорд Галифакс. Грабежи и резня в китайских городах, пытки в подвалах гестапо, трупы старых профессоров-евреев, брошенные в выгребную яму, пулеметы, расстреливающие беженцев на испанских дорогах, – все это было, и не меняет дела то обстоятельство, что о таких фактах вдруг вспомнила «Дейли телеграф» – с опозданием в пять лет.

### III

Теперь два запомнившихся мне эпизода; первый из них ни о чем в особенности не говорит, а второй, думаю, до некоторой степени поможет понять атмосферу революционного времени.

Как-то рано утром мы с товарищем отправились в секрет, чтобы вести снайперский огонь по фашистам; дело происходило под Уэской. Их и наши окопы разделяла полоса в триста ярдов – дистанция, слишком большая для наших устаревших винтовок; надо было подползти метров на сто к позициям фашистов, чтобы при удаче кого-нибудь из них подстрелить через щели в бруствере. На наше горе нейтральная полоса проходила через открытое свекольное поле, где негде было укрыться, кроме двух-трех канав; туда надлежало добраться затемно, а возвращаться с рассветом, пока не взошло солнце. В тот раз ни одного фашистского солдата не появилось – мы просидели слишком долго, и нас застала заря. Сами мы сидели в канаве, а сзади – двести ярдов ровной земли, где и кролику не затаиться. Мы собрались с духом, чтобы все же попробовать броском вернуться к своим, как вдруг в фашистских окопах поднялся гвалт и загомонили свистки. Появились наши самолеты. И тут из окопа выскочил солдат, видимо, посланный с донесением командиру; он побежал, поддерживая штаны обеими руками, вдоль бруствера. Он не успел одеться и на бегу подтягивал штаны. Я не стал в него стрелять. Правда, стрелок я неважный и вряд ли со ста ярдов попал бы, да и хотелось мне одного – добежать назад, пока фашисты заняты самолетами. Но при всем том не выстрелил я главным образом из-за того, что у него были спущены штаны. Я ведь ехал сюда убивать «фашистов», а этот, натягивающий штаны, – какой он «фашист», просто парень вроде меня, и как в него выстрелить?!

О чем говорит этот случай? Да ни о чем в особенности, потому что такое все время происходит на любой войне. Второй случай – совсем другое дело. Не уверен, что смогу о нем рассказать так, чтобы вы были тронуты, но, поверьте, на меня он произвел глубочайшее впечатление и дал почувствовать моральный дух того времени.

Еще когда я проходил подготовку, как-то появился у нас в казарме жалкий мальчишка из барселонских трущоб. Он был оборван и бос. Да и кожа у него была



совсем темная (видимо, примешалась арабская кровь), и жестикулировал он отчаянно, не как европейцы, – особенно запомнилась мне протянутая рука с вертикально поставленной ладонью, чисто по-индейски. Как-то у меня стянули пачку дешевеньких сигар, тогда их можно было еще купить. По глупости я доложил об этом офицеру, и один из тех прохвостов, о которых я упоминал, тут же закричал, что у него тоже кое-что пропало – 25 песет. Почему-то офицер сразу решил, что вор – тот темнокожий подросток. В милиции за воровство карали очень сурово, теоретически могли даже расстрелять. Несчастливого парнишку повели в караулку и обыскали, он не сопротивлялся. Всего больше меня поразило, что он почти и не пытался доказать свою невиновность. Фатализм его говорил о том, в какой же отчаянной нужде он вырос. Офицер приказал ему раздеться. Со смирением, внушавшим мне ужас, он снял с себя все до последнего лоскута, тряпки его перетряхнули. Понятно, не нашлось ни сигар, ни монет; он их действительно не крал. Самое печальное было то, что и потом, когда подозрения отпали, он стоял все с тем же выражением стыда на лице. Вечером я пригласил его в кино, угостил коньяком и шоколадом. Впрочем, сама попытка загладить деньгами мой проступок перед ним – разве это не ужасно? Ведь, пусть на минуту, я решил, что он вор, а такое не искупается.

Прошло несколько недель, я уже был на фронте, и у меня начались неприятности с солдатом моего отделения. Я получил звание «капо», то есть капрала, и под моей командой находилось двенадцать человек. На фронте стояло затишье, было чудовищно холодно, и главная моя забота состояла в том, чтобы часовые не засыпали на посту. И вдруг один солдат отказывается идти в караул, утверждая – вполне справедливо, – что позиция, куда его направили, пристреляна противником. Человек он был хилый, вот я и сгреб его в охапку, насильно заставляя выполнить приказ. Остальные тут же прониклись ко мне враждебностью – испанцы, когда их хватают, похоже, взрываются быстрее, чем мы. Меня вмиг окружили с криками: «Фашист! Фашист! Отпусти его! Тут не буржуйская армия, ты, фашист!» и т. д. Насколько позволял мой скверный испанский язык, я отвечал им, тоже крича во всю глотку, что приказы надо выполнять; начавшись с пустяка, вырос один из тех грандиозных скандалов, которые разваливают всякую дисциплину в Республиканской армии. Кто-то был на моей стороне, другие против меня. Рассказываю я об этом к тому, что горячее всех меня поддерживал тот чумазый паренек. Едва разобравшись что к чему, он пробился поближе ко мне и принялся страстно доказывать мою правоту. Он орал, вытягивая руку по-индейски: «Да вы что, он же у нас самый хороший капрал!» Позднее он подал просьбу перевести его в мое отделение.

Почему это происшествие так меня растрогало? Потому что в обычных обстоятельствах было бы немыслимо, чтобы между нами снова установилась симпатия. Как бы я ни старался извиниться за то, что подозревал его в краже, это его не смягчило бы, а только еще более ожесточило. Спокойная цивилизованная жизнь имеет еще и ту особенность, что развивает крайнюю, чрезмерную тонкость чувств, при которой любые из главнейших человеческих побуждений начинают выглядеть слишком грубыми. Щедрость ранит так же сильно, как черствость, а проявления благодарности неприятны не меньше, чем свидетельства черствости души. Но в Испании 1936 года мы переживали ненормальное время. Широкие чувства и жесты там казались естественнее, чем бывает обычно. Я мог бы рассказать еще десяток похожих историй, которые ничего примечательного в себе не содержат, однако врезались мне в память, потому что в них тот особый воздух времени, когда все ходило в потрепанных костюмах, а со стен сверкали яркие краски революционных плакатов, и друг к другу обращались только словом «товарищ», и можно было за пенни купить на любом углу отпечатанные листовками на прозрачной бумаге антифашистские стихи, а выражения вроде «международной солидарности

пролетариата» произносились с пафосом, потому что неграмотные люди, любившие их повторять, верили, что такие фразы что-то означают. Разве можно испытывать к человеку дружеское расположение и поддержать его в минуту спора, если, заподозрив, что ты у этого человека что-то украл, тебя в его присутствии бесцеремонно обыскивали? Нельзя, конечно, – и все-таки можно, если вас объединило нечто такое, что придает чувствам широту. А это одно из косвенных следствий революции, хотя в данном случае революция осталась незавершенной и, как все понимали, была обречена.

#### IV

Борьба за власть между различными группировками Испанской Республики – тема болезненная и слишком сложная; я не хочу ее касаться, не пришло еще время. Упоминаю об этом с единственной целью предупредить: не верьте ничему, или почти ничему из того, что пишется про внутренние дела в правительственном лагере. Из каких бы источников ни исходили подобные сведения, они остаются пропагандой, подчиненной целям той или иной партии, – иначе сказать, ложью. Правда о войне, если говорить широко, достаточно проста. Испанская буржуазия увидела возможность сокрушить рабочее движение и сокрушила его, прибегнув к помощи нацистов, а также реакционеров всего мира. Сомневаюсь, чтобы когда бы то ни было удалось определить суть случившегося более точно.

Помнится, я как-то сказал Артуру Кёстлеру: «История в 1936 году остановилась», – и он кивнул, сразу поняв, о чем речь. Оба мы подразумевали тоталитаризм – в целом и особенно в тех частностях, которые характерны для гражданской войны в Испании. Еще смолodu я убедился, что нет события, о котором правдиво рассказала бы газета, но лишь в Испании я впервые наблюдал, как газеты умудряются освещать происходящее так, что их описания не имеют к фактам ни малейшего касательства, – было бы даже лучше, если бы они откровенно врал. Я читал о крупных сражениях, хотя на деле не прозвучало ни выстрела, и не находил ни строки о боях, когда погибали сотни людей. Я читал о трусости полков, которые в действительности проявляли отчаянную храбрость, и о героизме победоносных дивизий, которые находились за километры от передовой, а в Лондоне газеты подхватывали все эти вымыслы, и увлекающиеся интеллектуалы выдумывали глубокомысленные теории, основываясь на событиях, каких никогда не было. В общем, я увидел, как историю пишут, исходя не из того, что происходило, а из того, что должно было происходить согласно различным партийным «доктринам». Это было ужасно, хотя, впрочем, в каком-то смысле не имело ни малейшего значения. Ведь дело касалось вовсе не самого главного – речь, в частности, шла о борьбе за власть между Коминтерном и испанскими левыми партиями, а также о стремлениях русского правительства не допустить настоящей революции в Испании. Общая картина, которую рисовали испанские правительственные сообщения, не была лживой. Все главное, что происходило на войне, в этих сообщениях указывалось. Что же касается фашистов с их сторонниками, разве могли они придерживаться такой правды? Разве они бы сказали о своих истинных целях? Их версия событий являлась абсолютным вымыслом и другой при данных обстоятельствах быть не могла.

Единственный пропагандистский трюк, который мог удасться нацистам и фашистам, заключался в том, чтобы изобразить себя христианами и патриотами, спасающими Испанию от диктатуры русских. Чтобы этому поверили, надо было изображать жизнь в контролируемых правительством областях как непрерывную кровавую бойню (взгляните, как пишут «Католик хералд» и «Дейли мейл» – правда, все это кажется детски невинным по сравнению с измышлениями фашистской печати в Европе), а кроме того, до крайности преувеличивать масштабы вмешательства русских. Из всего нагромождения лжи, которая отличала католическую и реакционную прессу, я коснусь

лишь одного пункта – присутствия в Испании русских войск. Об этом трубили все преданные приверженцы Франко, причем говорилось, что численность советских частей чуть не полмиллиона. А на самом деле никакой русской армии в Испании не было. Были летчики и другие специалисты-техники, может быть, несколько сот человек, но не было армии. Это могут подтвердить тысячи сражавшихся в Испании иностранцев, не говоря уже о миллионах местных жителей. Но такие свидетельства не значили ровным счетом ничего для франкистских пропагандистов, из которых ни один не побывал на нашей стороне фронта. Зато этим пропагандистам хватало наглости отрицать факт немецкой и итальянской интервенции, хотя итальянские и немецкие газеты открыто воспевали подвиги своих «легионеров». Упоминаю только об этом, но ведь в таком стиле велась вся фашистская военная пропаганда.

Меня пугают подобные вещи, потому что нередко они заставляют думать, что в современном мире вообще исчезло понятие объективной истины. Кто поручится, что подобного рода или сходная ложь в конце концов не проникнет в историю? И как будет восстановлена подлинная история испанской войны? Если Франко удержится у власти, историю будут писать его ставленники, и – раз уж об этом зашла речь – сделается фактом присутствие несуществовавшей русской армии в Испании, и школьники будут этот факт заучивать, когда сменится не одно поколение. Но допустим, что фашизм потерпит поражение и в сравнительно недалеком будущем власть в Испании перейдет в руки демократического правительства – как восстановить историю войны даже при таких условиях? Какие свидетельства сохранит Франко в достояние потомкам? Допустим, что не погибнут архивы с документами, накопленными республиканцами, – все равно, каким образом восстановить настоящую историю войны? Ведь я уже говорил, что республиканцы тоже часто прибегали к лжи. Занимая антифашистскую позицию, можно создать в целом правдивую историю войны, однако это окажется пристрастная история, которой нельзя доверять в любой из самых важных подробностей. Во всяком случае, какую-то историю напишут, а когда уйдут все воевавшие, эта история станет общепринятой. И значит, если смотреть на вещи реально, ложь с неизбежностью приобретает статус правды.

Знаю, распространен взгляд, что всякая принятая история непременно лжет. Готов согласиться, что история большей частью неточна и необъективна, но особая мета нашей эпохи – отказ от самой идеи, что возможна история, которая правдива. В прошлом врал с намерением или подсознательно, пропускали события через призму своих пристрастий или стремились установить истину, хорошо понимая, что при этом не обойтись без многочисленных ошибок, но, во всяком случае, верили, что есть «факты», которые более или менее возможно отыскать. И действительно, всегда накапливалось достаточно фактов, не оспариваемых почти никем. Откройте Британскую энциклопедию и прочтите в ней о последней войне – вы увидите, что немало материалов позаимствовано из немецких источников. Историк-немец основательно разоидется с английским историком по многим пунктам, и все же останется массив, так сказать, нейтральных фактов, насчет которых никто и не будет полемизировать всерьез. Тоталитаризм уничтожает эту возможность согласия, основывающегося на том, что все люди принадлежат к одному и тому же биологическому виду. Нацистская доктрина особенно упорно отрицает существование этого вида единства. Скажем, нет просто науки. Есть «немецкая наука», «еврейская наука» и т. д. Все такие рассуждения конечной целью имеют оправдание кошмарного порядка, при котором Вождь или правящая клика определяют не только будущее, но и прошлое. Если Вождь заявляет, что такого-то события «никогда не было», значит, его не было. Если он думает, что дважды два пять, значит, так и есть. Реальность этой перспективы страшит меня больше, чем бомбы, а ведь перспектива не выдумана, коли вспомнить, что нам довелось наблюдать в последние несколько лет.

Не детский ли это страх, не самоистязание ли – мучить себя видениями тоталитарного будущего? Но, прежде чем объявить тоталитарный мир наваждением, которое не может сделаться реальностью, задумайтесь о том, что в 1925 году сегодняшняя жизнь показалась бы наваждением, которое реальностью стать не может. Есть лишь два действенных средства предотвратить фантасмагорию, когда черное завтра объявляют белым, а вчерашнюю погоду изменяют соответственно распоряжению. Первое из них – признание, что истина, как бы ее ни отрицали, тем не менее существует, следит за всеми вашими поступками, поэтому нельзя ее уродовать способами, призванными ослабить ее воздействие. Второе – либеральная традиция, которую можно сохранить, пока на Земле остаются места, не завоеванные ее противниками. Представьте себе, что фашизм или некий гибрид из нескольких разновидностей фашизма воцарился повсюду в мире, – тогда оба эти средства исчезнут. Мы в Англии недооцениваем такую опасность, поскольку своими традициями и былым сознанием защищенности приучены к сентиментальной вере, что в конце концов все устраивается лучшим образом и того, чего более всего страшишься, не происходит. Сотни лет воспитывавшиеся на книгах, где в последней главе непременно торжествует Добро, мы полуинстинктивно верим, что злые силы с ходом времени покарают сами себя. Главным образом на этой вере, в частности, основывается пацифизм. Не противьтесь злу, оно каким-то образом само себя изживет. Но, собственно, почему, какие доказательства, что так и должно произойти? Есть хоть один пример, когда современное промышленно развитое государство рушилось, если по нему не наносился удар военной мощью противника?

Задумайтесь хотя бы о возрождении рабства. Кто мог представить себе двадцать лет назад, что рабство вновь станет реальностью в Европе? А к нему вернулись прямо у нас на глазах. Разбросанные по всей Европе и Северной Африке трудовые лагеря, где поляки, русские, евреи и политические узники других национальностей строят дороги или осушают болота, получая за это ровно столько хлеба, чтобы не умереть с голоду, – это ведь самое типичное рабство. Ну, разве что пока еще отдельным лицам не разрешено покупать и продавать рабов. Во всем прочем – скажем, в том, что касается разъединения семей, – условия наверняка хуже, чем были на американских хлопковых плантациях. Нет никаких оснований полагать, что это положение вещей изменится, пока сохраняется тоталитарный гнет. Мы не постигаем всего, что он означает, ибо в силу какой-то мистики проникнуты чувством, что режим, который держится на рабстве, должен рухнуть. Но стоило бы сравнить сроки существования рабовладельческих империй древности и всех современных государств. Цивилизации, построенные на рабстве, иной раз существовали по четыре тысячи лет.

Вспоминая древность, я со страхом думаю о том, что те миллионы рабов, которые веками поддерживали благоденствие античных цивилизаций, не оставили по себе никакой памяти. Мы даже не знаем их имен. Сколько имен рабов можно назвать, перебирая события греческой и римской истории? Я сумел бы привести два, максимум три. Спартак и Эпиктет. Кроме того, в Британском музее, в кабинете римской истории, хранится стеклянный сосуд, на дне которого выгравировано имя сделавшего его мастера: «Felix fecit».

Я живо представляю себе этого бедного Феликса (рыжеволосый галл с металлическим ободком на шее), но на самом деле он, возможно, и не был рабом, так что достоверно мне известно только два имени, и, может быть, лишь немногие другие сумеют назвать больше. Все остальные рабы исчезли бесследно.

V

Главное сопротивление Франко оказывал испанский рабочий класс, особенно городские профсоюзы. Потенциально – важно помнить, что только потенциально, –

рабочий класс остается самым последовательным противником фашизма просто по той причине, что переустройство общества на началах разумности дает рабочему классу всего больше. В отличие от других классов и прослоек пролетариат невозможно все время подкупать.

Сказав это, я не хочу идеализировать рабочих. В той длительной борьбе, которая развернулась после русской революции, поражение понесли именно они, и нельзя не видеть, что повинны в этом они сами. Постоянно то в одной стране, то в другой организованное рабочее движение подавлялось открытым незаконным насилием, а пролетарии других стран, которые по теории должны были испытывать чувство солидарности, наблюдали за этим со стороны, не ударив пальцем о палец; причина – она-то и объясняет многие втайне совершенные предательства – та, что между белыми и цветными рабочими о солидарности никогда и речи не заходило. Кто же поверит в международную классовую сознательность пролетариата после событий последних десяти лет? Английских рабочих куда больше интересовал и будоражил результат вчерашнего футбольного матча, чем расправы над их товарищами в Вене, Берлине, Мадриде и еще где угодно. Но это не изменит моего убеждения, что рабочий класс будет бороться с фашизмом даже после того, как все другие капитулируют. Во Франции немцы победили с такой легкостью еще и оттого, что поразительную нестойкость выказали интеллигенты, включая тех, кто держался левых политических взглядов. Интеллигенты громче всех протестуют против фашизма, но очень многие из них впадают в пораженческие настроения, как только фашизм наносит свой удар. Они слишком хорошо все предвидят, чтобы недооценивать нависшую над ними угрозу, а главное, они поддаются подкупу; нацисты же, совершенно очевидно, считают нужным не скупиться на подачки, чтобы купить интеллигенцию. С рабочим классом все наоборот. Не умея распознать обмана, рабочие легко поддаются на приманки фашизма, но рано или поздно обязательно становятся его противниками. По-иному быть не может, оттого что они на собственной шкуре убеждаются в ложности всех фашистских посулов. Чтобы обеспечить себе стойкую поддержку рабочих, фашизм должен был бы повысить общий уровень жизни, а этого он не может, да, видимо, и не добивается. Борьба пролетариата напоминает рост растения. Оно слепо и неразумно, но достаточно инстинкта, чтобы оно тянулось к свету, и, какие бы нескончаемые препятствия ни возникали, оно все равно к нему тянется. За что борются рабочие? Просто за сносную жизнь, которая – это они понимают все лучше – теперь вполне для них возможна. Они осознают это то более отчетливо, то инстинктивно. В Испании было время, когда люди к этому стремились совершенно осознанно, видя перед собой конкретную задачу, которую надо решить, и веря, что они ее решат. Вот откуда свойственный республиканской Испании первых месяцев войны необыкновенный подъем духа. Простой народ безошибочно чувствовал, что Республика ему нужна, а Франко враждебен. Люди сознавали свою правоту, потому что сражались, отстаивая то, что мир обязан и мог им дать.

Об этом надо помнить, чтобы правильно понять испанскую войну. Замечая одни только жестокости, гнусность, бессмысленность войны – а в данном случае еще и казни, интриги, ложь, неразбериху, – трудно удержаться от вывода, что «одни ничуть не хуже других. Я сохраню нейтралитет». Однако на деле нейтральным быть нельзя, и вообще трудно представить себе войну, когда было бы безразлично, кто победит. Почти всегда одна сторона более или менее ясно знаменует прогресс, а другая – реакцию. Ненависть, вызываемая Республикой у миллионеров, аристократов, кардиналов, прожигателей жизни, полковников блимпов и прочей публики такого рода, сама по себе достаточна, чтобы ощутить расстановку сил. По сути, это была классовая война. Если бы в ней победила Республика, выиграло бы дело простого народа повсюду на Земле. Но победил Франко, и повсюду на Земле держатели

прибыльных акций потирали руки. Вот в чем главное, а все прочее – только накопье.

## VI

Исход испанской войны решался в Лондоне, Париже, Риме, Берлине – где угодно, только не в Испании. После лета 1937 года все, кто был способен видеть вперед, поняли, что Республике не победить, если не произойдет глубоких перемен в международной расстановке сил, и, решив продолжить борьбу, Негрин со своим правительством, видимо, отчасти рассчитывали, что мировая война, разразившаяся в 1939 году, начнется годом раньше. Раздоры в лагере Республики, о которых так много писали, не были главной причиной поражения. Созданная правительством милиция собиралась наспех, ее плохо вооружили, тактика была примитивной, но ничего бы не переменилось и при условии изначально полного политического единства. Когда вспыхнула война, простой испанский рабочий с фабрики не умел стрелять из винтовки (в Испании никогда не было всеобщей воинской повинности), сильно мешал наладить противодействие традиционный пацифизм левых. Тысячи иностранцев, сражавшихся в Испании, были хороши в окопах, но людей, владеющих какой-нибудь военной специальностью, среди них нашлось очень мало. Утверждение троцкистов, что войну можно было выиграть, если бы не саботировали революцию, вероятно, неверно. Оттого, что были бы национализированы заводы, разрушены церкви и написаны революционные манифесты, армии не прибавилось бы умения. Фашисты победили, поскольку были сильнее; у них было современное оружие, а у Республики – нет. Политическая стратегия изменить тут ничего не могла.

Самое непостижимое в испанской войне – это позиция великих держав. Фактически войну выиграла для Франко немцы и итальянцы, чьи мотивы были совершенно ясны. Труднее осознать мотивы, которыми руководствовались Франция и Англия. Кто в 1936 году не понимал, что, достаточно было Англии оказать испанскому правительству помощь, хотя бы поставив оружия на несколько миллионов фунтов, Франко был бы разгромлен, а по немцам нанесен мощный удар. Не требовалось в то время быть ясновидящим, чтобы предсказать близящуюся войну Англии с Германией; можно было даже с определенностью назвать дату ее начала – через год или два. И тем не менее самым подлым, трусливым и лицемерным способом английские правящие классы отдали Испанию Франко и нацистам. Почему? Самый простой ответ: потому что были профашистски настроены. Это, вне сомнения, так, и все же, когда дело дошло до решительного выбора, они оказались против Германии. По сей день остается очень неясным, какие у них были планы, когда они поддерживали Франко; возможно, никаких конкретных не было. Злонамеренны или просто глупы английские правители – вопрос, на который в наше время ответить крайне сложно, а бывает, что этот вопрос становится чрезвычайно важным. Что же до русских, цели, которые они преследовали в испанской войне, совершенно непостижимы. Может, правы наивные либералы, полагающие, что русские участвовали в войне для того, чтобы, защищая демократию, обуздать нацизм? Но если так, отчего их участие было столь ничтожным по масштабам и зачем они бросили Испанию, когда ее положение стало критическим? Или согласиться с католиками, которые уверяли, что русское вмешательство должно было раздуть в Испании революционный пожар? Но зачем же они сделали все от них зависящее, чтобы подавить испанское революционное движение, защитить частную собственность и предоставить власть не рабочим, а среднему классу? А может быть, правы троцкисты, заявившие, что целью вмешательства было предотвратить революцию в Испании? Тогда проще было вступить в союз с Франко. Понятнее всего их действия становятся, если видеть за этой линией несколько мотивов, противоречащих один другому. Уверен, со временем выяснится, что внешняя политика Сталина, претендующая выглядеть дьявольски умной, на самом деле представляет собой примитивный оппортунизм. Как бы то ни было, испанская война продемонстрировала, что нацисты имели четкий план действий, а их противники – нет. С

профессиональной точки зрения война велась на очень низком уровне, а основная стратегия была предельно простой. Побеждали те, кто был лучше вооружен. Нацисты вместе с итальянцами поставляли оружие своим друзьям-фашистам в Испании, а западные демократы и Россия отказывали в оружии тем, в ком следовало им видеть своих друзей. И поэтому Республика погибла, «изведав все, что ни одну республику не минет».

Трудный вопрос, правильно ли было побуждать испанцев, хотя победить они не могли, драться до последнего, к чему их дружно призывали левые в других странах. Лично я думаю, что правильно, потому что, на мой взгляд, даже чтобы выжить, лучше сражаться и потерпеть поражение, чем капитулировать без борьбы. Пока еще рано говорить об уроках, которыми важна эта война, для того чтобы найти правильную тактику в битве с фашизмом. Оборванные, плохо вооруженные армии Республики продержались два с половиной года – гораздо дольше, чем ожидал противник. Но и сегодня никто не знает, помешала ли фашистам эта затяжка держаться составленного ими графика или, наоборот, отсрочила большую войну, предоставив нацизму лишнее время, когда они доводили до совершенства свою военную машину.

## VII

Думая об испанской войне, я всегда вспоминаю два эпизода. Вот первый: госпиталь в Лериде, печальные голоса солдат из милиции, поющих песню с припевом, который кончался так:

Una resolucion

Luchar hast'al fin![30]

Что же, они и боролись до самого конца. Последние полтора года солдаты Республики сидели на самом скудном рационе и обходились почти без сигарет. Даже в середине 1937 года, когда я покинул Испанию, мясо и хлеб исчезли, табак стал редкостью, а кофе и сахар были недостижимой мечтой.

А вот и второе, что запомнилось: итальянец из милиции, который приветствовал меня в тот день, когда я в нее вступил. Я писал о нем на первых страницах своей книги про испанскую войну и здесь не хочу повторяться. Стоит мне мысленно увидеть перед собой – совсем живым! – этого итальянца в засаленном мундире, стоит взглянуть в это суровое, одухотворенное, непорочное лицо, и все сложные выкладки, касающиеся войны, утрачивают значение, потому что я точно знаю одно: не могло тогда быть сомнения, на чьей стороне правда. Какие бы ни плели политические интриги, какую бы ложь ни писали в газетах, главным в этой войне было стремление людей вроде моего итальянца обрести достойную жизнь, которую – они это понимали – от рождения заслуживает каждый. Думать о том, какая судьба ждала этого итальянца, горько, и сразу по нескольким причинам. Поскольку мы встретились в военном городке имени Ленина, он, видимо, принадлежал либо к троцкистам, либо к анархистам, а в наше необыкновенное время таких людей непременно убивают – не гестапо, так ГПУ. Это, конечно, вписывается в общую ситуацию со всеми ее непреходящими проблемами. Лицо этого итальянца, которого я и видел-то мимолетно, осталось для меня зримым напоминанием о том, из-за чего шла война. Я его воспринимаю как символ европейского рабочего класса, который травит полиция всех стран, как воплощение народа – того, который лег в братские могилы на полях испанских сражений, того, который теперь согнан в трудовые лагеря, где уже несколько миллионов заключенных.

Называя имена людей, которые поддерживают фашизм или оказали ему свои услуги, поражаешься, как они несхожи. Что за конгломерат! Назовите мне иную политическую

платформу, которая сплотила бы таких приверженцев, как Гитлер, Петен, Монтегю Норман, Павелич, Уильям Рэндолф Херст, Стрейчер, Бухман, Эзра Паунд, Хуан Марч, Кокто, Тиссен, отец Кафлин, муфтий Иерусалимский, Арнольд Ланн, Антонеску, Шпенглер, Беверли Николс, леди Хаустон и Маринетти, побудив всех их сесть в одну лодку! Но на самом деле это несложно объяснить. Все они из тех, кому есть что терять, или мечтатели об иерархическом обществе, которые страшатся самой мысли о мире, где люди станут свободны и равны. За всем крикливым пустословием насчет «безбожной» России и вульгарного «материализма», отличающего пролетариат, скрывается очень простое желание людей с деньгами и привилегиями удержать им принадлежащее. То же самое относится и к разговорам о бессмысленности социальных преобразований, пока им не сопутствует «совершенствование души», которое, на их взгляд, внушает куда больше надежд, чем изменение экономической системы. Петен объясняет крушение Франции тем, что народ «желает наслаждений». Чтобы оценить это высказывание, надо всего лишь сопоставить наслаждения, доступные обычному французскому крестьянину или рабочему, с теми, которым волен предаваться сам Петен. А наглость, с какой все эти политики, священнослужители, литераторы и прочие поучают рабочего-социалиста, коря его за «материализм»! А ведь рабочий требует для себя не более того, что эти проповедники считают жизненно необходимым минимумом. Чтобы в доме была еда, чтобы избавиться от гнетущего страха безработицы, чтобы не сомневаться в будущем детей, чтобы раз в день принять ванну и чтобы постельное белье менялось как полагается, а крыша не протекала и работа не отнимала все время, оставляя хотя бы немного сил, когда прозвучит гудок на ее окончание. Никто из обличающих «материализм» не мыслит без всего этого нормальной жизни. А как легко было бы достичь такого минимума, стремись мы к этой цели хотя бы лет двадцать! Чтобы весь мир добился уровня жизни Англии – для этого не потребовалось бы затрат больше, чем те, каких требует нынешняя война. Я не утверждаю – да и никто не утверждает, – что сама по себе подобная цель достаточна, а остальное решится само собой. Я говорю лишь о том, что с лишениями, с животным трудом должно быть покончено, прежде чем подступаться к большим проблемам, стоящим перед человечеством. Самая сложная из них в наше время создана утратой веры в личное бессмертие, и сделать тут нельзя ничего, пока обычный человек вынужден работать, как скот, и дрожать от страха перед тайной полицией. Как правы рабочие в своем «материализме»! Как они правы, считая, что сначала надо наесться, а потом хлопотать о душе, подразумевая просто порядок действий, а не ценностей! Уразумеем это, и тогда переживаемый нами кошмар хотя бы сделается объяснимым. Все наблюдения, способные сбить с толку, все эти сладкие речи какого-нибудь Петена или Ганди, и необходимость пятнать себя низостью, сражаясь на войне, и двусмысленная роль Англии с ее демократическими лозунгами, а также империей, где трудятся кули, и зловеющий ход жизни в Советской России, и жалкий фарс левой политики – все это оказывается несущественным, если видишь главное: борьбу постепенно обретающего сознание народа с собственниками, с их оплачиваемыми лжецами, с их прихлебалами. Вопрос стоит просто. Узнают ли такие люди, как тот солдат-итальянец, достойную, истинно человеческую жизнь, которая сегодня может быть обеспечена, или этого им не дано? Загонят ли простых людей обратно в трущобы, или это не удастся? Сам я, может быть, без достаточных оснований верю, что рано или поздно обычный человек победит в своей борьбе, и я хочу, чтобы это произошло не позже, а раньше – скажем, в ближайшие сто лет, а не в следующие десять тысячелетий. Вот что было настоящей целью войны в Испании, вот что является настоящей целью нынешней войны и возможных войн будущего.

Больше я не встречал моего итальянца, и мне не удалось узнать его имя. Можно считать несомненным, что он погиб. Через два года после нашей встречи, когда война была явно проиграна, я написал в память о нем стихи.



Солдат-итальянец мне руку пожал  
В караулке, где встретились мы.  
Мои тонкие пальцы в ладони он смял,  
Красной, как слой сурьмы.  
Нам бы свидеться с ним никогда не пришлось,  
Если б пушки молчали вокруг.  
Но теперь то, о чем я мечтал, сбылось,  
Потому что нашелся друг.  
Для тебя те слова, от которых тошнит,  
Святые – ты смысл их постиг.  
И знание людей тебя не тяготит,  
Ты усвоил его не из книг.  
Нас битва влекла и пьянила борьба,  
Мы оба ринулись в бой.  
И вот оказалось, что это судьба,  
Но лишь после встречи с тобой.  
Что ж, удачи тебе, итальянец-солдат!  
Но удачи для храбрых нет.  
И не думай, чем люди тебя наградят,  
Пусть душа свой оставит след.  
А где скитаться ей суждено?  
Между призраков и теней,  
Между пулей и ложью – они заодно,  
Между белых и красных огней.  
Ибо где он, Гонсалес Мануэль,  
Агилар где, скажи скорей?  
И где Рамон Фенеллоса теперь?  
Об этом спроси у червей.  
И имя, и дело твое зачеркнут  
До того, как костям истлеть.  
А ложь, что убила тебя, погребут  
Под ложью, чтоб ей не взлететь.  
Но то, что в тебе увидел я,  
Насилием не сломить,  
Чист твой дух, и безгрешна совесть твоя –  
Их бомбами не убить.

1942 г.

АРТУР КЁСТЛЕР

(Перевод А. Зверева)

Одна из бросающихся в глаза особенностей английской литературы нашего времени – обилие иностранцев, игравших в ней ведущую роль: вспомним Конрада, Генри Джеймса, Шоу, Джойса, Йетса, Паунда, Элиота. Впрочем, если затронут национальный престиж, можно сказать, что Англия смотрится вполне достойно во многих областях литературы, и такой вывод будет совершенно справедлив, пока речь не заходит о литературе, грубо говоря, политической, памфлетной. Я подразумеваю ту особого рода литературу, которая возникла в ходе политической борьбы на европейской сцене, начиная с подъема фашизма. Такая литература объединяет в себе романы, автобиографии, «репортажи», социологические трактаты, просто памфлеты – важно, что они выросли на одной и той же почве и примечательны эмоциональной атмосферой, в большой степени однородной для них всех.

Среди выдающихся представителей этой литературной школы – Силоне, Мальро, Сальвемини, Боркенау, Виктор Серж, наконец, Кестлер. Одни из них предпочитают художественное творчество, другие нет; роднит их то, что все они стремятся запечатлеть современную историю, однако историю неофициальную, ту, о которой молчат пособия и лгут газеты. И еще их роднит то обстоятельство, что все они принадлежат континентальной Европе. Если и преувеличение, то вовсе не большое заключено в констатации, что любая публикуемая у нас книга о тоталитаризме, которую через полгода после ее выпуска все еще интересно читать, – книга переводная. Что до английских авторов, они за последние десять лет выпустили прорву политических книг, среди которых трудно найти что-нибудь обладающее художественной ценностью, равно как и ценностью политической. К примеру, с 1936 г. существует Клуб левой книги. А много ли вы вспомните хотя бы по названиям книг из числа им рекомендованных? Идет ли речь о нацистской Германии, Советской России, Испании, Абиссинии, Австрии, Чехословакии или иных схожих темах, англичанам приходится довольствоваться легковесными репортажами, пристрастными памфлетами, предлагающими некритически усвоенные и как следует не переваренные пропагандистские тезисы или крайне немногочисленные пособия-справочники, которым можно доверять. У нас нет и отдаленно напоминающего, допустим, «Фонтамару» или «Слепящую тьму», потому что фактически ни один английский писатель не имел возможности понаблюдать тоталитаризм изнутри. В Европе за последние десять с лишним лет средним классам довелось пережить многое такое, чего в Англии не испытал даже пролетариат. Большинству названных мною европейских писателей и многим другим, которые им близки, потребовалось пойти против закона, чтобы прорваться на арену политической жизни; есть среди них такие, кто бросали бомбы и участвовали в уличных боях, многие узнали тюрьму и концлагерь, пересекали границу под чужим именем или с поддельным паспортом. Представить себе в подобной роли ну хотя бы профессора Ласки – немыслимо. Вот отчего в Англии и не существует, скажем так, литературы концлагерей. Мы, конечно, знаем, что есть специфический мир тайной полиции, контроля над мыслью, пыток, инсценированных судебных процессов, мы всего этого в общем и целом не одобряем, однако эмоционально такие явления от нас очень далеки. Одним из следствий этого положения вещей было и есть то, что Англия почти не создала литературы, выразившей разочарование в Советском Союзе. Есть неодобрение, сопровождаемое незнанием, и есть восторги, не допускающие критических нот, но между этими крайностями не существует почти ничего. Скажем, о московских процессах над вредителями отзывались по-разному, однако мнения разделились лишь по поводу истинной или мнимой виновности осужденных. Нашлось всего несколько людей, которым достало понимания, что эти процессы отвратительны и ужасны, независимо от того, было ли для них какое-то основание. Английские протесты против преступлений нацистов были тоже чем-то эфемерным, поскольку эти протесты регулировались политической конъюнктурой, словно бы кран то открывали, то завинчивали. Чтобы понимать природу вещей, о которых я говорю, нужно умение вообразить себя жертвой, и мысль, что «Слепящую тьму» мог бы написать англичанин, столь же неправдоподобна, как допущение, что автором «Хижины дяди Тома» явился бы рабовладелец.

Все, что печатает Кестлер, сосредоточено вокруг московских процессов. Главная его тема – перерождение революции, когда начинают сказываться растлевающие последствия завоевания власти, а особый характер сталинской диктатуры побудил Кестлера проделать эволюцию вспять, ко взглядам, близким консерватизму, пропитанному пессимистическими настроениями. Я не знаю, сколько он написал книг. Происходя из Венгрии, он начинал писать по-немецки, а в Англии вышло пять его произведений – «Испанское завещание», «Гладиаторы», «Слепящая тьма», «Мир голодных и рабов», «Приезд и отъезд». Материал во всех них один и тот же, а

атмосфера кошмара неизменно воцаряется уже с первых страниц. В трех из пяти названных мною книг действие полностью или почти полностью происходит в тюрьме.

Когда началась Гражданская война, Кестлер находился в Испании как корреспондент «Ньюс Кроникл» и в начале 1937 года попал в плен к фашистам, захватившим Малагу. Его едва не пристрелили на месте, а затем на несколько месяцев заточили в крепость, где каждую ночь он слышал залпы – казнили сторонников Республики – и сам подвергался более чем реальной опасности оказаться среди казненных. Это не просто случайный поворот судьбы – «с кем не бывает»; весь стиль жизни Кестлера сделал такое испытание естественным и неизбежным. Человек, безразличный к политике, вообще не очутился бы в такое время на Пиренеях, а осторожный наблюдатель позаботился бы выехать из Малаги до появления фашистов, да и они действовали бы куда умереннее, имей они дело с обычным журналистом, представляющим британскую или американскую прессу. В книге, где Кестлер рассказывал о пережитом – «Испанское завещание», – есть замечательные страницы, но, не говоря уже о том, что, как все репортажи, она написана наспех, местами она явственно отдает фальшью. Тюремные сцены наполнены той атмосферой кошмара, которую можно назвать фирменным знаком произведений Кестлера, однако все остальное слишком окрашено ортодоксальными верованиями тогдашних приверженцев Народного фронта. Отыщется одно-два места, словно бы специально добавленных, чтобы удовлетворить требования Клуба левой книги. В то время Кестлер, кажется, еще был коммунистом или только что вышел из партии, а сложная расстановка политических сил в ходе Гражданской войны лишала коммуниста возможности честно рассказать о борьбе, которая происходила в стане республиканцев. Едва ли не все левые повинны в том, что после 1933 года они стремились быть антифашистами, не обличая тоталитаризм. К 1937 году Кестлер это уже понимал, но не чувствовал себя достаточно свободным, чтобы соответствующим образом высказаться. Гораздо ближе к этому он подошел, собственно, даже об этом сказал, хотя и аллегорически, в своей следующей книге «Гладиаторы», напечатанной за год перед войной и отчего-то почти не привлечшей к себе внимания.

«Гладиаторы» кое в чем разочаровывают. Это роман о Спартаке, гладиаторе-фракийце, возглавившем восстание рабов, которое вспыхнуло в Италии около 65 года до нашей эры, а всякому, кто обращается к подобной теме, неизбежно приходится выдержать невыигрышное для него сравнение с «Саламбо». В наш век невозможно написать такой роман, как «Саламбо», хотя бы и обладая флоберовским талантом. Самое главное в «Саламбо» даже не точность подробностей, с какими воссоздана эпоха, а последовательная безжалостность автора. Флобер мог проникнуться этой свойственной античности каменной жестокостью, потому что в середине XIX века еще удавалось сохранить незамутненное спокойствие ума. Люди располагали временем, чтобы погрузиться в созерцание прошлого. А в наши дни и прошлое и будущее слишком ужасают, от них нельзя укрыться, и, погружаясь в историю, в ней ищут параллели к современности. Кестлер делает Спартака аллегорическим персонажем, примитивной разновидностью вождя пролетарской диктатуры. Если Флобер усилием воображения смог изобразить своих наемников именно такими, какими должны были быть люди в канун христианской эпохи, то Спартак – наш современник, переодетый в античный наряд. Это, впрочем, было бы не столь существенно, если бы Кестлер в полной мере сознавал смысл созданной им аллегории. Революции никогда не удаются – вот его основная тема. Но отчего они не удаются, он сам в точности не знает, и эта неуверенность автора передается повествованию, делая загадочными, неправдоподобными фигуры главных персонажей.

Несколько лет восставшим рабам неизменно сопутствует успех. Их армия растет, достигая численности в сто тысяч человек, они завоевывают обширные области в

Южной Италии, заключают союз с пиратами, в то время хозяйничавшими на Средиземном море, наконец, принимаются строить собственный город – его назовут Город Солнца. В этом городе люди должны стать свободными и равными, а главное – счастливыми: ни рабов, ни голода, никакой несправедливости, наказаний плетью, казней. Видимо, во все времена мечта о справедливо устроенном обществе властно владеет человеческим воображением, воплощаясь в представлениях то о Царствии Божием, то о бесклассовом обществе, то о некогда существовавшем Золотом веке, которого мы, деградируя, лишились. Не приходится говорить, что мечта рабов осталась невоплощенной. Едва успела оформиться их коммуна, как выяснилось, что в ней ничуть не меньше несправедливостей, чем было прежде, и все так же неотвратимы и тяжкий труд, и неискоренимый страх. Для наказания преступников приходится возродить даже крест, этот символ рабства. Решающий момент тот, когда Спартак оказывается вынужденным распять двадцать самых давних и верных своих последователей. После этого Город Солнца обречен, стан рабов расколот и их поочередно сокрушают, а последние пятнадцать тысяч захвачены и распяты.

Серьезный изъян рассказываемой нам истории в том, что мотивы самого Спартака так и остаются непроясненными. Служитель Фемиды римлянин Фулвий, который присоединился к восставшим, ведет хронику событий и пытается осмыслить знакомую дилемму целей и средств. Невозможно ничего достичь, не желая прибегать к силе и хитрости, но, если к ним прибегнуть, извращенными окажутся изначальные побуждения. Однако под пером Кестлера Спартак вовсе не жаждет власти, а с другой стороны, ничуть не похож на визионера. Им движет некая неясная сила, которой он сам не понимает, и часто его охватывает сомнение, не следовало бы ему, пока все идет хорошо, остановиться, отказаться от своего начинания и бежать в Александрию. Так или иначе, республика рабов терпит крах не столько из-за борьбы претендентов на власть, сколько по причине гедонистических побуждений. Свобода не приносит удовлетворения рабам, потому что они все равно вынуждены трудиться, а окончательный распад происходит из-за того, что наиболее дезорганизованные из них, менее всего поддавшиеся цивилизации – преимущественно галлы и германцы – продолжают вести себя как бандиты и после установления республики. Возможно, так оно и было – мы ведь очень мало знаем о восстаниях рабов в те давние времена, однако, объясняя крах Города Солнца тем, что галла Криксия невозможно удержать от грабежей и насилий, Кестлер оказывается где-то на перепутье между историей и аллегорией. Если Спартак является прообразом современных революционеров – а ясно, что именно таким он задуман, – он должен потерпеть поражение из-за невозможности сочетать власть со справедливостью. А у Кестлера он вышел едва ли не пассивным персонажем, который не столько действует, сколько остается орудием в чужих руках, – и это не всегда убеждает. Частичная неудача романа объяснима тем, что центральная проблема – что есть революция? – обходится стороной или, во всяком случае, не получает разрешения.

По-своему и не столь заметно обходится она стороной и в следующей книге Кестлера, его шедевре «Слепящая тьма». Однако этот роман все-таки удался, поскольку речь в нем идет о конкретных людях и главный интерес представляет психология этих людей. «Слепящая тьма» повествует об аресте и казни старого большевика Рубашова, который поначалу отрицает предъявленные ему обвинения, но в конце признается в преступлениях, которых, как ему прекрасно известно, он никогда не совершал. Выношенность мысли, отказ от всякой сенсационности и разоблачительного пафоса, ирония и сострадание, которыми пронизан роман Кестлера, – вот доказательство, что за такие темы лучше всего браться европейцам. Книга Кестлера достигает трагедийного звучания, тогда как из-под пера английского или американского автора вышел бы в лучшем случае полемический трактат. Кестлер глубоко пережил все, о чем пишет, а оттого способен придать

написанному эстетическую значимость. А вместе с тем в его книге есть явственная политическая подоплека – в данном случае она не столь важна, но на последующих произведениях скажется отрицательным образом.

Естественно, все в этом романе сосредоточено вокруг самого важного вопроса: отчего Рубашов признался? Он не повинен ни в чем, точнее говоря, он не виновен, за вычетом одного существенного момента: ему не нравится сталинский режим. Приписываемые ему акты предательства – чистый вымысел. Его даже не подвергали пыткам, по крайней мере не особенно усердствовали в этом отношении. Изводят его одиночество, зубная боль, нехватка табака, яркий свет лампы, направленной прямо в лицо, бесконечные допросы, однако само по себе все это не могло бы сломить испытанного революционера. Нацисты обходились с ним более жестоко, но он остался крепок духом. Признания, которые делались в ходе московских процессов, можно объяснить тремя причинами:

1. Обвиняемые были действительно преступниками.
2. Обвиняемых подвергали пыткам и, возможно, шантажировали угрозами родственникам и друзьям.
3. Обвиняемых сломили отчаяние, духовная катастрофа или верность партии, ставшая второй натурой.

Первое объяснение решительно не годится для «Слепящей тьмы», поскольку тогда это была бы совсем другая книга, и, хотя здесь не место рассуждать о том, что собой представляли процессы, должен добавить на основании очень скудных свидетельств, что, по всей очевидности, расправы над большевиками были судебной инсценировкой. Если согласиться с тем, что обвиняемые не совершали никаких преступлений или, во всяком случае, тех, в которых признались, здравый смысл подсказывает второе из предложенных объяснений. Кестлер, однако, склоняется к третьему, как и троцкист Борис Суварин, автор памфлета «Кошмар в СССР». Рубашов делает свои признания, поскольку не находит причин, отчего он не должен их сделать. Для него давно утратили всякий смысл такие понятия, как справедливость и объективная истина. Десятки лет он оставался человеком партии, ею и созданным, а теперь партия требует, чтобы он признал за собой вину в преступлениях, которых не было. И хотя его пришлось запугивать и ломать, под конец он даже гордится своим решением признаться. Рубашов чувствует собственное превосходство над несчастным царским офицером, перестукивающимся с ним из соседней камеры. Офицер потрясен, узнав, что Рубашов намерен капитулировать. С его «буржуазной» точки зрения, каждый, даже если он большевик, должен твердо держаться своих принципов. Честь, по его понятиям, повелевает делать то, что находишь истинным. А Рубашов отстукивает в ответ: «Честь – это полезность делу без гордыни», – и не без удовлетворения отмечает для себя, что он перестукивается своим пенсне, а его сосед, этот реликт прошлого, для той же цели пользуется моноклем. Подобно Бухарину, Рубашов упирается в стену непроницаемой тьмы. Что за нею, какой кодекс морали, какое чувство верности, какие разграничения добра и зла, чтобы он осмелился бросить вызов партии и переносить новые муки? Он не просто одинок, он пуст внутри себя. Он совершил преступление тягче тех, в которых его теперь обвиняют. Он, например, во время тайной поездки с партийным поручением в нацистскую Германию выдал гестапо собственных своевольных единомышленников, чтобы от них избавиться. Любопытно, что если у него и есть источник, дающий духовные силы, то им служат лишь воспоминания о детстве в отцовской усадьбе. Последнее, что он вспомнит, когда в него выстрелят сзади, – листья росших там тополей. Рубашов из поколения старых партийцев, почти истребленного в ходе чисток. Он воспитан на искусстве,

на литературе, он знает мир за пределами России. Он составляет резкий контраст с Глеткиным, молодым следователем ГПУ, ведущим допросы, – это типичный «образцовый член партии», который абсолютно не ведает ни угрызений совести, ни сомнений, своего рода граммофон, наделенный способностью соображать. В отличие от Глеткина, для Рубашова не все начинается с революции. Разум Рубашова, прежде чем партия подчинила его себе, не был совершенно пустым листом. Превосходство арестованного над следователем в конечном счете объясняется уже самим буржуазным происхождением Рубашова.

Думаю, невозможно прочесть «Слепящую тьму» просто как историю, рассказывающую о перипетиях судьбы вымышленного героя. Ясно, что перед нами книга о политике, основывающаяся на фактах истории и предлагающая объяснение событий, которые вызывают разноречивый отклик. В Рубашове можно опознать Троцкого, Бухарина, Раковского или еще кого-то из относительно цивилизованных личностей, какие встречались среди старых большевиков. Касаясь московских процессов, невозможно уйти от вопроса: «Почему обвиняемые признавались?» – и любой ответ будет обладать политическим смыслом. Кестлеровский ответ, в сущности, таков: «Потому что этих людей испортила революция, которой они служили», – а тем самым нас подводят к выводу, что революция по самой своей природе заключает в себе нечто негативное.

Если исходить из мысли, что обвиняемых на московских процессах заставили признаться, прибегнув к каким-то формам террора, это будет означать лишь одно: не могут быть оправданы действия тех вождей революции, которые не пренебрегают подобными методами. Однако книга Кестлера заставляет предположить, что Рубашов, владеющий властью, был бы ничуть не лучше Глеткина, верней, лучше, но лишь в меру того, что его взгляды по-прежнему остаются теми, которые хотя бы отчасти сформировались еще до революции. Стало быть, революция, на взгляд Кестлера, ведет к моральному падению. Достаточно отдаться революции, и в конце концов с неизбежностью станешь либо Рубашовым, либо Глеткиным. Дело не просто в том, что «власть растлевает», – растлевают и способы борьбы за власть. А поэтому любые усилия преобразовать общество насильственным путем кончатся подвалами ГПУ, а Ленин порождает Сталина и сам стал бы напоминать Сталина, проживи он дольше.

Разумеется, Кестлер не говорит этого прямо, а возможно, даже не вполне осознает смысл того, что им объективно сказано. Он описывает тьму, но такую, которая наступила, когда должен был сиять полдень. Иногда ему кажется, что все могло сложиться иначе. Для людей левой ориентации неизбежны представления, будто вся беда из-за чьего-то предательства и что чья-то личная вина объясняет неудачу всего предприятия. Поэтому в «Приезде и отъезде» Кестлер гораздо более последовательно займет позицию отрицания революции, но между этой книгой и «Слепящей тьмой» была еще одна: «Мир голодных и рабов» – чисто автобиографический рассказ, лишь косвенно затрагивающий проблемы, поставленные в знаменитом романе. В согласии со всем стилем своей жизни Кестлер, застрявший к началу войны во Франции, был – как иностранец, как видный антифашист – немедленно арестован и интернирован правительством Даладье. Первые девять месяцев войны он провел преимущественно в лагере, а после падения Франции бежал и сложными путями добрался до Англии, где его в качестве нежелательного иностранца снова посадили. На этот раз, впрочем, он был быстро выпущен. «Мир голодных и рабов» – ценный репортаж, и вкуче с немногими другими честными свидетельствами, появившимися во время разгрома, он напомним, до каких пределов способна опускаться буржуазная демократия. Сейчас, когда Франция освобождена и полным ходом идет облава на коллаборационистов, мы склонны позабыть то, в чем многие наблюдатели событий 1940 года удостоверились по собственному опыту:

примерно сорок процентов французского населения было настроено либо откровенно прогермански, либо вполне безразлично. Для невоющих правдивые книги о войне всегда неприемлемы, и книга Кестлера встретила не самый доброжелательный отклик. В ней никто не принадлежал к числу героев – ни буржуазные политики, которые полагали, будто борьба против фашизма оправдывает безотлагательный арест всех сторонников левых взглядов, если только их удастся выявить, ни французские коммунисты, занявшие, в сущности, пронацистские позиции и всеми силами старавшиеся подорвать военную мощь своей страны, ни рядовые граждане, склонные внимать проходимцам вроде Дорио как серьезным политическим лидерам. Кестлер передает свои поразительные беседы с другими заключенными концлагеря, добавляя, что до той поры, подобно большинству социалистов и коммунистов, вышедших из среднего сословия, вплотную не сталкивался с настоящим пролетариатом, а имел дело лишь с его образованным меньшинством. Его вывод пессимистичен: «Без просвещения масс невозможен никакой социальный прогресс, но без социального прогресса нечего говорить о просвещении масс». Кестлер, написавший «Мир голодных и рабов», уже не идеализирует простой народ. Он отошел от сталинизма, не став и троцкистом. Вот то звено, которое связывает эту книгу с «Приездом и отъездом», где революционное мироощущение, как оно понимается нормальными людьми, отвергнуто, видимо, навсегда.

«Приезд и отъезд» – книга неудачная. Лишь по видимости это роман, а на самом деле сразу выясняется, что мы читаем трактат, имеющий целью доказать следующее: революционные верования есть всего лишь рационализированная форма невротических комплексов. Чрезмерно, подчеркнуто симметричная по композиции книга начинается и завершается одинаково – побегом в другую страну. Молодой венгр, бывший коммунист, покидает родину, в конце концов оказавшись в Португалии, где надеется поступить на службу к англичанам – тогда единственным, кто сражался с немцами. Его восторженность несколько умеряет то обстоятельство, что в британском консульстве к нему не испытывают ни малейшего интереса, несколько месяцев его вообще не замечая, а тем временем деньги у него кончаются и эмигранты из сообразительных оформляют бумаги в Америку. Соблазн сменяется соблазном: искушение Силой в образе нацистского пропагандиста, искушение плотью в облике юной француженки, искушение – уже после того, как герой пережил нервное расстройство, – Дьяволом, явившимся под личиной врача-психоаналитика. Этот врач выуживает из героя признание, что его революционный пыл поддерживается вовсе не верой в историческую необходимость, а мучительным комплексом вины за то, что ребенком он пытался ослепить новорожденного брата. К тому времени, как явилась возможность повоевать на стороне союзников, у героя исчезли всякие причины этого добиваться, и он готов уже ехать в Америку, но тут им вновь овладевают иррациональные побуждения. Выходит так, что отказаться от борьбы ему не по силам. И в последнем эпизоде мы видим его парящим под парашютом над собственной землей – он будет тайным британским агентом в Венгрии.

Для декларации политического свойства (а книга, собственно, ею является) этого недостаточно. Разумеется, во многих случаях, если не всех, стимулом революционной деятельности служит человеку чувство собственной неустроенности. Борющиеся против общественного устройства – в общем и целом люди, у которых есть причины быть им неудовлетворенными, а для нормального человека в здравом уме насилие, противозаконные акции ничуть не привлекательнее, чем война. Молодой нацист из «Приезда и отъезда» пронизательно замечает, что надо только взглянуть, до чего уродливы женщины, посвятившие себя левому движению, и станет ясно, в чем его слабость. Но такие наблюдения в конце концов не дискредитируют дело социализма. Поступки независимо от мотивов, которыми они вызваны, увенчиваются определенными результатами. Очень может быть, что Марксом двигали зависть и

озлобленность, однако это еще не доказывает ложности его теорий. Заставив героя «Приезда и отъезда» принять свое окончательное решение единственно из инстинктивного желания не уклоняться от опасностей и не отказываться от действия, Кестлер заставил его и поглупеть, причем неожиданно. Имея за плечами такой, как у него, опыт, человек не может не понимать, что есть вещи, сделать которые необходимо, «хороши» или «плохи» резоны, требующие, чтобы мы их делали. История должна двигаться в определенном направлении, пусть даже ее приходится при этом подталкивать стараниями психопатов. В «Приезде и отъезде» один за другим рушатся идолы, которым поклонялся Петер. Русская революция переродилась. Англия, символом которой выступает консул со скрюченными ревматизмом пальцами, ничуть не привлекательнее, а пролетариат с его классовым сознанием и интернационализмом – сущий миф. Но из всего этого – ведь Кестлер и его герой в конце концов все же решают, что воевать «надо», – следует вывод о необходимости низвергнуть Гитлера, убрав этот мусор, а убирая мусор, не рассуждают, достойны ли и правильны мотивы.

Чтобы вынести разумное политическое решение, нужно обладать картиной будущего. У Кестлера ее сейчас, видимо, нет, верней, есть целых две, но они исключают одна другую. В качестве высшей цели он выдвигает Земной рай, Город Солнца, который строили гладиаторы, – он дразнил воображение социалистов, анархистов и вероотступников сотни лет. Но разум подсказывает Кестлеру, что Земной рай отдалится на совсем уж неопределенное расстояние, а непосредственно впереди нас ждут кровавые войны, тирания и лишения. Недавно он сказал о себе, что является «временным пессимистом». На горизонте сплошные ужасы, однако каким-то образом все кончится хорошо. Это умонастроение становится среди думающих людей все более распространенным; оно – следствие того, что, отойдя от ортодоксальной религиозности, оказывается невероятно тяжело принять реальную земную жизнь со всеми ее неизбежными бедами, а с другой стороны, порождено оно и осложненностью обустройства жизни, чтобы она стала сносной, – теперь все понимают, насколько добиться этого труднее, чем недавно думалось. Примерно с 1930 года мир не предоставляет никаких аргументов для оптимизма. Вокруг одна только ложь, ненависть, жестокость, невежество, сплетающиеся в тугой узел, а за нашими сегодняшними бедами уже вырисовываются куда большие несчастья, о чем европейское сознание только начало догадываться. Очень вероятно, что самые существенные проблемы, стоящие перед человеком, никогда не будут решены. Но ведь с этим невозможно смириться! Укажите мне человека, который, окинув взглядом сегодняшний мир, скажет: «Таким он навеки и останется, и даже через миллион лет ничто, по существу, не переменится к лучшему».

Без труда находят выход лишь верующие, поскольку считают земное бытие не более как шагом к вечному. Однако не так уж много теперь людей, которые верят в жизнь после смерти, и число их все убывает. Христианские церкви, возможно, не выстояли бы одной силой своих идеи, если разрушить экономический их базис. По-настоящему проблема заключается в том, каким образом восстановить религиозное мироощущение, осознав смерть конечным фактом. Чувство счастья способны ощутить лишь те, кто не считает, что счастье является целью жизни. Однако слишком неправдоподобно, чтобы с этим согласился Кестлер. В его книгах есть естественный гедонистический оттенок, а результатом становится неспособность обрести политическую позицию после того, как он порвал со сталинизмом.

Русская революция, событие, оказавшееся главным в жизни Кестлера, вдохновлялась великими надеждами. Мы теперь об этом забываем, однако четверть века назад с уверенностью ожидали, что русская революция увенчается осуществлением Утопии. Этого, незачем доказывать, не произошло. Кестлер слишком хорошо знает, что



ожидания не сбылись, но и слишком ясно помнит о целях, которые провозглашались. Более того, обладая зрением европейца, он способен совершенно точно сказать, что такое чистки и массовые депортации; он в отличие от Шоу или от Ласки знает, с какого конца надо смотреть в телескоп, когда наблюдаешь подобные вещи. И вот он делает вывод: к таким итогам ведут все революции. А значит, ничего не остается, как использовать «временный пессимизм», т. е. держаться подальше от политики, создать некий оазис, где ты сам и твои друзья сохранят головы ясными, да надеяться, что лет через сто положение каким-то образом переменится к лучшему. В основе всего этого лежит гедонизм Кестлера, побуждающий его признать желательным Земной рай. Но предположим, что, желательный ли, нежелательный, он просто невозможен. Предположим, что до какой-то степени страдание неотделимо от человеческой жизни, и что выбор, стоящий перед человеком, – это всегда выбор из нескольких зол, и даже, что цель социализма не в том, чтобы сделать мир совершенством, но чтобы сделать его лучше. Все революции обречены на неудачу, однако это не одна и та же неудача. Нежелание признать это и привело Кестлера к сегодняшнему тупику, сделав «Приезд и отъезд» книгой мелкой по сравнению с теми, которые он писал прежде.

1944 г.

ПРИВИЛЕГИЯ ДУХОВНЫХ ПАСТЫРЕЙ[31]. Заметки о Сальвадоре Дали  
(Перевод В. Мисюченко)

Автобиографии можно верить лишь тогда, когда она обнаруживает что-либо постыдное. Человек, изображающий себя положительным, возможно, лжет, ибо, если смотреть на любую жизнь изнутри, она предстанет просто как сплошная череда поражений. Впрочем, и в самой вопиюще бесчестной книге (примером служат автобиографические писания Фрэнка Харриса), порой независимо от воли автора, рисуется куда более правдивый его портрет. Как раз из таких и недавно опубликованная «Жизнь»[32] Дали. Одни события в ней совершенно неправдоподобны, другие – перекомпонованы или окрашены романтическим цветом, а унижительность и извечная обыденность повседневного бытия выброшены. Самообожание – таков диагноз, поставленный Дали самому себе, его автобиография – всего-навсего акт стриптиза, исполненный в розовом свете рамп. Но книга эта имеет громадную ценность как документальное описание фантазии, извращения природных инстинктов, что стало возможным благодаря машинному веку.

Вот несколько эпизодов – с самых ранних лет – из жизни Дали. Что тут правда, а что выдумка, вряд ли имеет значение: суть в том, что именно это Дали хотел бы совершить.

Ему было шесть лет, когда многих волновало появление кометы Галлея:

Неожиданно в дверях гостиной появился служащий из конторы моего отца и объявил, что комету можно увидеть с террасы... Пробегая через залу, я заметил трехлетнюю сестренку, которая тихонько переползала через дверной проем. Я остановился, секунду поколебался, потом сильно пнул ее по голове, словно по мячу, и побежал дальше, охваченный «исступленной радостью» от этой дикой выходки. Но шедший следом отец схватил меня и препроводил вниз, в контору, где и оставил в наказание до обеда.

Годом раньше Дали «неожиданно, как и почти все, что приходит мне в голову», столкнул другого малыша с подвесного моста. В книге перечислено еще несколько похожих случаев, включая и такой: автор, которому в то время уже двадцать девять

лет, повалил и принялся топтать ногами девушку, «пока ее, окровавленную, не оттащили от меня подальше».

А когда Сальвадору было пять лет, ему в руки попадает раненая летучая мышь, которую он сажает в жестяное ведро. На следующее утро он обнаруживает, что летучая мышь почти издохла и густо облеплена пожирающими ее муравьями. Он засовывает ее, с муравьями и прочим, в рот и чуть ли не перекусывает ее пополам.

В юного Дали отчаянно влюбляется девушка. Он целует и ласкает ее, чтобы возбудить как можно сильнее, но отказывается от дальнейшего. Он принимает решение использовать подобную тактику пять лет (он называет это своим «пятилетним планом») и упивается унижением девушки и ощущением власти над ней, которую такая ситуация дает ему. Он часто говорит девушке, что по прошествии пяти лет бросит ее, и, когда приходит время, поступает именно так.

До весьма зрелого возраста Дали продолжает мастурбировать и, по-видимому, любит заниматься этим перед зеркалом. Лет до тридцати, судя по всему, в обычном смысле он – импотент. Когда он в первый раз встречает свою будущую жену, Галу, его очень тянет сбросить ее с обрыва. Он чувствует, что Гала хочет, чтобы он что-то сделал с ней, и после их первого поцелуя следует исповедь:

Я схватил Галу за волосы, запрокинул ей голову и, истерически дрожа, скомандовал:

– Теперь говори, что ты хочешь, чтобы я с тобой сделал! Но говори медленно, глядя мне в глаза, и говори самыми грубыми, самыми непристойно эротическими словами, чтобы обоих нас обожгло величайшим стыдом!

..В глазах Галы последний блик испытываемого ею удовольствия сменился жестким светом обретенного господства, и она ответила:

– Хочу, чтобы ты убил меня!

Дали разочарован: ведь это как раз то, что он сам собирался проделать. Он прикидывает – не сбросить ли ее с колокольни собора в Толедо, но воздерживается от этой затеи.

Во время гражданской войны в Испании он хитро лавирует, не принимая ничьей стороны, и отправляется путешествовать в Италию. Он чувствует все большую и большую тягу к аристократии, становится завсегдатаем изысканных салонов, находит состоятельных покровителей, фотографируется с дородным виконтом де Нуайлем, которого описывает как своего «мецената». С приближением войны в Европе Дали озабочен лишь одним: как подыскать местечко с приличной кухней, откуда, если опасность подберется слишком близко, можно будет быстро удрать. Выбор падает на Бордо, откуда во время битвы за Францию он, естественно, бежит в Испанию. Он проводит в Испании ровно столько времени, сколько необходимо, чтобы услышать несколько историй о «зверствах красных», и перебирается в Америку. Повествование заканчивается в блеске респектабельности: в 37 лет Дали стал преданным мужем, излечился от пороков или, по крайней мере, от некоторых из них, и вернулся в лоно католической церкви. И как можно догадаться, к тому же зарабатывает очень много денег.

Тем не менее он отнюдь не перестает гордиться полотнами своего сюрреалистического периода с такими, например, названиями: «Великий

мастурбатор», «Содомия черепа с роялем» и т. п. Их репродукциями заполнена вся книга. Многие из рисунков Дали просто иллюстративны, и у них есть особенность, о которой я скажу позже. В сюрреалистических же картинах и фотографиях выделяются две вещи: сексуальная извращенность и некрофилия. Вновь и вновь Дали обращается к сексуальным объектам и символам. Некоторые из них, вроде нашей старой приятельницы туфли на высоком каблуке, хорошо известны; другие, вроде раздвоенных подпорок и чашки теплого молока, запатентованы самим Дали. Можно отметить и довольно ясно выраженный экскреторный мотив. На картине «Le Jeu Zugubre», пишет он, «кальсоны, заляпанные экскрементами, выписаны с таким тщанием и реалистическим самодовольством, что вся группка сюрреалистов терзалась вопросом: „Он копрофаг или нет?“». Дали твердо заявляет: нет, добавляет, что считает такое отклонение «отвратительным», однако, по-видимому, лишь после этого случая у него пропадает интерес к экскрементам. Даже вспоминая, как он наблюдал за женщиной, справлявшей маленькую нужду стоя, он не обходится без детали; она промахнулась и перепачкала туфли. Никому не дано быть вместилищем всех пороков, и Дали хвастается, что он не гомосексуалист, но в остальном набор извращений у него так богат, что кто угодно мог бы позавидовать.

И все же самая заметная черта – его некрофилия. В ней он признается открыто, утверждая, что уже исцелился от нее. Мертвые лица, черепа, трупы животных очень часто попадают на его полотнах, а муравьи, некогда пожиравшие умирающую летучую мышь, появляются вновь и вновь бесчисленное число раз. На одной из фотографий запечатлен эксгумированный труп, весьма и весьма разложившийся. На другой – дохлые ослы, разлагающиеся на крышках роялей. Это кадр из сюрреалистического фильма «Le Chien Andalou». Дали и поныне с восторгом вспоминает тех ослов:

Гниющих ослов я «гримировал» с помощью липкого клея, которым обливал их из огромных банок. Еще я выдавил им глаза и, поработав ножницами, увеличил глазницы. Тем же манером я располосовал им пасти, чтобы лучше выделялись ряды зубов; в каждую пасть я добавил несколько челюстей, чтобы походило, будто ослы, уже разлагаясь, все еще выbleвывают немного собственной смерти поверх других челюстей, образуемых клавишами черных роялей.

И наконец, полотно (по виду некая псевдофотография) «Манекен, гниющий в такси»: по уже несколько вздувшемуся лицу и груди явно мертвой девушки ползают громадные улитки. В подписи под картиной Дали отмечает, что улитки изображены бургундские, то есть съедобные.

Конечно, в пространной книге ин-квартио на 400 страницах сказано больше, чем я отразил, но не думаю, чтобы я неверно передал ее моральную атмосферу и умонастроение. От этой книги дурно пахнет. Если бы книга могла физически издавать зловоние, то уж со страниц этой книги понесло бы воню. Впрочем, такая мысль могла бы порадовать Дали, который, собираясь на первое свидание со своей будущей женой, натерся мазью, приготовленной из козьего помета, сваренного в рыбьем клее. Всему этому, однако, следует противопоставить тот факт, что Дали – рисовальщик исключительного дарования. И, судя по тщательности и уверенности его рисунка, он к тому же и большой труженик. Да, эксгибиционист и карьерист, но не обманщик. Он в пятьдесят раз талантливее большинства людей, порицающих его мораль и косо глядящих на его картины. И две эти группы фактов, взятые вместе, порождают вопрос, который из-за отсутствия какой бы то ни было общей основы редко обсуждается всерьез.

Дело в том, что мы сталкиваемся здесь с прямой, неприкрытой атакой на благоразумие и благопристойность, более того – на саму жизнь, поскольку некоторые из полотен Дали способны отравить воображение не хуже порнографических открыток. Можно спорить о том, что Дали совершил и что – вообразил, но ни в его взглядах, ни в его натуре нет даже самых минимальных человеческих приличий. Он так же антисоциален, как и блоха. Понятно, что такие люди нежелательны, а общество, в котором они могут процветать, имеет какие-то изъяны.

Так вот, если показать эту книгу и ее иллюстрации лорду Элтону, мистеру Альфреду Нойесу или авторам передовиц в «Таймс», которые так ликуют по поводу «заката интеллектуализма», вообще говоря, любому «здравомыслящему», ненавидящему искусство англичанину, то легко представить, какой реакции дожدهшься. Они наотрез откажутся увидеть у Дали какие бы то ни было достоинства. Такие люди не только не в силах признать, что морально упадническое может быть эстетически здоровым, они требуют, чтобы каждый художник хлопывал их по плечу и говорил, что мыслить вовсе не обязательно. И они могут стать особенно опасными в такое время, как сегодня, когда министерство информации и Британский совет дают им в руки власть. Ибо движет ими не только стремление сокрушить в зародыше любой талант, но и желание оскотить прошлое. Приглядитесь к возобновившейся травле интеллектуалов в нашей стране и в Америке, ее гневный пафос направлен не только против Джойса, Пруста и Лоуренса, но и даже против Т. С. Элиота.

Если же вы разговоритесь с человеком, способным увидеть достоинства Дали, то и он среагирует, как правило, не многим лучше. Попробуйте сказать: хотя Дали и блестящий рисовальщик, но он грязный, мелкий негодяй, – и на вас посмотрят как на дикаря. Попробуйте сказать, что вам не нравятся гниющие трупы и что люди, которым гниющие трупы и вправду нравятся, психически больны, – в ответ выскажут предположение, что вам недостает эстетического чутья. Раз в «Манекене, гниющем в такси» удачна композиция (а это несомненно так), скажут вам, эта картина не может быть ни упаднической, ни омерзительной; а Нойес, Элтон и компания примутся утверждать, что, поскольку картина омерзительная, в ней не может быть хорошей композиции. И между двумя этими софизмами середины нет, точнее, срединная позиция имеется, но о ней редко говорят. На одном полюсе – культурбольшевизм, на другом (хотя само выражение и вышло из моды) – «искусство для искусства». Непристойность – очень сложная тема для честного обсуждения. Люди чересчур страшатся либо показаться шокированными, либо показаться нешокированными, чтобы быть способными определять соотношение между искусством и моралью.

И мы увидим, что защитники Дали требуют для себя чего-то вроде привилегии духовных пастырей. Художник должен быть свободен от нравственных норм, которые связывают простых людей. Стоит произнести волшебное слово «искусство» – и все в порядке. Гниющие трупы с ползающими по ним улитками – нормально; пинать головку маленькой девочки – нормально; даже фильм типа «L'Age d'Or» – нормально[33]. Нормально и то, что Дали годами нагуливает жир за счет Франции, а потом, как крыса, трусливо бежит, едва над Францией нависла опасность. Коль скоро вы умеете писать маслом достаточно хорошо, чтобы выдержать тест, все вам будет прощено.

Фальшь подобных рассуждений можно почувствовать, приложив их к сокрытию обыкновенного преступления. В век, подобный нашему, когда художник во всем – человек исключительный, ему должна отпущаться определенная толика безответственности, как и беременной женщине. И все же по сию пору никому в голову не приходило даровать беременной женщине разрешение на убийство, никто не станет требовать того же и для художника, сколь бы одарен он ни был. Вернись

завтра на землю Шекспир и обнаружусь, что его любимое развлечение в свободное время – насилловать маленьких девочек в железнодорожных вагонах, мы не должны говорить ему, чтобы он продолжал в том же духе только потому, что он способен написать еще одного «Короля Лира». И в конце концов, наихудшие из преступлений не всегда те, за которые наказывают. Возбуждение некрофильных грез может нанести едва ли не столько же вреда, как и очищение чужих карманов во время скачек. Нужна способность держать в голове одновременно оба факта: и тот, что Дали хороший рисовальщик, и тот, что он отвратительный человек. Одно не обесценивает в определенном смысле и не затрагивает другого. От стены мы прежде всего требуем, чтобы она стояла. Коли стоит – хорошая стена, а какой цели она служит – это уже отдельный вопрос. Но даже лучшую в мире стену следует снести, если она опоясывает концентрационный лагерь. И точно так же мы должны иметь возможность сказать: «Это – хорошая книга (или хорошая картина), но ее следует отдать на публичное сожжение палачу». Кто хотя бы мысленно не в силах произнести этого, умаляет значение того факта, что художник – это еще и гражданин и человеческое существо.

Дело, разумеется, не в том, что автобиографию Дали или его полотна следовало бы запретить. Если не считать грязных открыток, некогда продававшихся в портовых городах Средиземноморья, политика запретов сомнительна в отношении чего бы то ни было; фантазии же Дали, возможно, проливают полезный свет на разложение капиталистической цивилизации. Зато в чем он явно нуждается, так это в диагнозе. Вопрос не столько в том, что он такое, как в том, почему он таков. Нет оснований сомневаться, что он – больной ум, вероятно не совсем исцеленный приписываемым ему религиозным обращением: истинно раскаявшиеся или вернувшиеся на стезю благоразумия не щеголяют своими былыми пороками с таким самодовольством. Он – симптом мировой болезни. Мало толку охаивать его как грубияна и хама, по ком кнут плачет, или стоять за него стеной, как за гения, могущего быть безответственным за свои поступки, важно понять, почему он выставляет напоказ именно такой набор порочных aberrаций.

Ответ, видимо, можно найти в его картинах, но лично я их оценивать не берусь, не компетентен. Могу лишь указать на ключ, который, не исключено, поможет продвинуться в поисках. Это – старомодный, свехвителиеватый стиль рисунка, характерный для эпохи короля Эдуарда, – к нему Дали тяготеет, когда он не сюрреалист. Некоторые рисунки Дали напоминают Дюрера, в одном ощутимо влияние Бэдсли, другой кажется позаимствованным у Блэйка. Доминирует, однако, влияние эдвардианского стиля. Когда, впервые раскрыв книгу, я разглядывал бесчисленные иллюстрации на полях, то никак не мог отогнать ощущения их сходства с чем-то, чего я не мог определить сразу. Остановился на орнаментальном подсвечнике в начале первой части. Что он мне напомнил? Наконец-то попал на след. Напомнил он большое, вульгарное, богато оформленное издание Анатоля Франса (в переводе), которое вышло, должно быть, около 1914 года. Орнаментальные заставки в начале и в конце глав там такого же стиля. На одном конце подсвечника Дали изображено изогнутое рыбоподобное существо, вид которого удивительно знаком (по всей вероятности, его «прототип» – обычный дельфин), на другом конце – горящая свеча. Эта свеча, что переходит из картины в картину, – очень старый приятель. Вы отыщете ее, с теми же живописными капельками воска по бокам, в электроламповых подделках под подсвечники, которые так популярны в псевдотюдорианских провинциальных гостиницах. И свеча и узор под ней сразу же навевают острое чувство сентиментальности. Словно в противовес этому, Дали разбрызгал по всей странице столько чернил, сколько набралось на перо, но напрасно: те же самые впечатления вызывает страница за страницей. Узор внизу одной из них, например, почти подошел бы Питеру Пэну[34]. Фигура на другой, несмотря на громадный,

вытянутый, как сосиска, череп, – это ведьма из книги сказок. Лошадь на одной странице и единорог на другой могли бы быть иллюстрациями к Джеймсу Бранчу Кэбеллу. Рисунки довольно женственных юношей на некоторых страницах производят то же впечатление. Живописность все время распадается. Уберите черепа, муравьев, морских раков, телефоны и прочие атрибуты – и вы опять и опять возвращаетесь в мир Барри, Ракхэма, Дансани и сказок «Где кончается радуга».

Любопытно, что некоторые шаловливые штрихи автобиографии Дали связаны с тем же периодом. Читая процитированный мною вначале пассаж о пинке в голову сестренки, я ощутил, что и это что-то явно напоминает. Что же? Ну конечно же! «Безжалостные стихи для бессердечных домов» Гарри Грэма. Такие стихи были очень популярны году в 1912-м. Например:

Наш маленький Вилли рыдает так громко,  
Бедняжка, он так огорчен,  
Сломал он всего-то лишь шею сестренке –  
И сладкого к чаю лишен.

Эти стихи могли быть навеяны историей, рассказанной Дали. Разумеется, Дали знает о своих эдвардианских склонностях и извлекает из этого капитал более или менее в духе стилизации. Он проповедует особую любовь к 1900 году, утверждает, что любой орнаментальный объект 1900 года полон таинства, поэзии, эротизма, безумства, извращенности и т. д. Однако стилизация предполагает глубокую привязанность к тому, что пародируешь. По-видимому, если и не всегда, то, во всяком случае, очень часто интеллектуальный выбор сопровождается иррациональным, даже ребяческим, стремлением идти в том же направлении. Скульптора, например, интересуют плоскости и изгибы, но ему также нравится просто возиться с глиной и камнем. Инженер – это человек, наслаждающийся прикосновениями к инструментам, шумом моторов, запахом масла. Психиатр обычно сам склонен к сексуальным отклонениям. Дарвин стал биологом отчасти потому, что жил в деревне и любил животных. Поэтому вполне возможно, что вроде бы извращенный культ вещей эпохи Эдуарда у Дали (например, его «открытие» входов в подземку 1900 года) просто симптом гораздо более глубокой, менее осознанной им привязанности. Бесчисленные, превосходно выполненные копии иллюстраций в учебниках, напыщенно названные *le rossignol*, *une montre* и т. п., щедро разбросанные на полях, быть может, отчасти просто шутки. Карапуз в бриджах, играющий с дьяволом, – совершенный образчик эпохи. Но возможно, эти вещи попали в книгу потому, что Дали попросту не в силах не рисовать их, ибо на самом деле он принадлежит той эпохе и тому стилю.

Если так, то его аберрации частично объяснимы. Вероятно, они – способ уверить самого себя в том, что он не заурядность. Двумя качествами Дали обладает бесспорно – даром к рисованию и чудовищным эгоизмом. «В семь лет, – пишет он в первом абзаце своей книги, – я хотел быть Наполеоном. С тех пор амбиции мои росли неуклонно». Фраза построена так, чтобы поразить, но, несомненно, в сущности это – правда. Подобные чувства не редкость. «Я знал, что я гений, – сказал мне однажды кто-то, – задолго до того, как я понял, в чем мой гений проявится». Представьте себе теперь, что у вас нет ничего, кроме собственного эгоизма и ловкости, простирающейся не выше локтя, представьте, что истинный ваш дар – скрупулезный, академический, иллюстративный стиль рисования, а ваш подлинный удел – быть иллюстратором учебников. Как же в этом случае стать Наполеоном?

Выход всегда один: впасть в порок. Всегда делать такие вещи, которые шокируют и ранят людей. В пять лет сбросить малыша с моста, хлестнуть старого доктора плеткой по лицу и разбить ему очки – или, во всяком случае, мечтать о таких

подвигах. Двадцатью годами позже – вырезать парой ножниц глаза у дохлого осла. Идя таким путем, всегда будешь чувствовать себя оригинальным. И потом, это приносит деньги! И это не так опасно, как совершать преступления. В автобиографии Дали, возможно, есть купюры. Сделаем скидку на это, но все равно ясно, что за свои эксцентричные выходки ему не приходилось страдать, как то могло быть в прошлом. Он вырос в развращенном мире двадцатых годов нашего столетия, когда фальсификация была явлением повсеместным, а любая европейская столица кишела аристократами и рантье, которые, забросив спорт и политику, взялись покровительствовать искусству. Швырнешь в людей дохлым ослом – они в ответ станут швырять деньгами. Фобия к кузнечикам – несколько десятилетий до того она вызывала бы лишь хихиканье – стала теперь интересным «комплексом», который можно было выгодно эксплуатировать. Когда же этот особый мир рухнул перед германской армией – раскрыла объятия Америка. Вам оставалось только увенчать все это религиозным обращением и без тени раскаяния одним прыжком перемахнуть из модных салонов Парижа на лоно Авраамово.

Вот вкратце суть жизни Дали. Но почему его аберрации именно такие, почему так легко «продавать» ужасы вроде гниющих трупов просвещенной публике? Вопросы эти – для психолога и критика-социолога. Марксистская критика легко разделяется с такими явлениями, как сюрреализм. Это «буржуазный декаданс» (далее идет игра фразами «трупный яд», «разлагающийся класс рантье») – и все тут. Но хотя это, возможно, и устанавливает факт, но не определяет связи. Все равно хочется узнать, почему Дали склонен к некрофилии (а скажем, не к гомосексуализму), почему рантье и аристократы раскупают его полотна вместо того, чтобы охотиться и предаваться любви, как то делали их деды. Простое моральное неприятие не позволит двинуться дальше. С другой стороны, нельзя во имя «беспристрастности» делать вид, будто картины типа «Манекена, гниющего в такси» нравственно нейтральны. Это большие и омерзительные картины, и любое исследование должно отталкиваться от этого факта.

1944 г.

#### АНГЛИЧАНЕ

(Перевод Ю. Зараховича)

#### АНГЛИЯ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Иностранцам, посещающим нашу страну в мирное время, редко когда случается заметить существование в ней англичан. Даже акцент, именуемый американцами «английским», на деле присущ не более чем четверти населения. Карикатуры в газетах континентальной Европы изображают англичанина аристократом с моноклем, зловещего вида капиталистом в цилиндре либо старой девой из Берберри. Все обобщенные суждения об англичанах, как доброжелательные, так и неприязненные, строятся на характерах и привычках представителей имущих классов, игнорируя остальные сорок пять миллионов населения.

Но превратности войны привели в Англию в качестве солдат или беженцев сотни тысяч людей, никогда не попавших бы сюда при обычных обстоятельствах и вынужденно очутившихся в самой непосредственной близости с простыми людьми. Чехи, поляки, немцы, французы, ранее воспринимавшие Англию как Пикадилли и Дерби, оказались в сонных деревушках Восточной Англии, в северных шахтерских городках или в обширных рабочих районах Лондона, названий которых мир знать не знал, пока на них не обрушился «блиц». Те из них, кто не лишен дара наблюдательности, имели возможность убедиться, что настоящая Англия – это отнюдь не Англия туристических справочников. Блэкпул куда более типичен, чем Аскот,

цилиндр – траченная молью диковинка, а язык Би-Би-Си едва-едва понятен массам. Карикатурам не соответствует даже преобладающий физический тип англичанина, ибо высокие, долговязые фигуры, традиционно считающиеся английскими, редко встречаются за пределами высших классов. Трудящийся же люд в основном мелковат, короткорук и коротконог, движениям свойственна порывистость, а женщинам на пороге среднего возраста свойственно раздаваться в теле.

Стоит на минуту поставить себя на место иностранного наблюдателя, впервые оказавшегося в Англии, но непредубежденного и в силу рода занятий имеющего возможность общаться с рядовыми, полезными, неприметными людьми. Не все его выводы будут верны, ибо он не сумеет сделать поправку на ряд временных погрешностей, внесенных войной. Никогда не видев Англии в нормальные времена, он будет склонен недооценивать крепость классовых барьеров, либо воспринимать сельское хозяйство страны более здоровым, чем на самом деле, либо излишне остро реагировать на запущенность лондонских улиц и чрезмерное пьянство. Но зато его свежему взгляду откроется многое, что примелькалось наблюдателю, живущему здесь постоянно, и его вероятные ощущения стоят того, чтобы задуматься над ними. Почти наверное он сочтет основными чертами рядовых англичан их глухоту к прекрасному, благонравие, уважение к закону, недоверие к иностранцам, сентиментальное отношение к животным, лицемерие, обостренное восприятие классовых различий и одержимость спортом.

Что до нашей глухоты к прекрасному, то все больше и больше чудесных пейзажей разрушаются расплывающейся хаотической застройкой; предприятиям тяжелой промышленности позволено превращать целые графства в выжженные пустыни; памятники старины бессмысленно разрушаются либо тонут в море желтого кирпича; широкие просторы замыкаются уродливыми монументами ничтожеств – и все это без малейшей тени общественного протеста. Обсуждая жилищную проблему Англии, средний человек даже и не берет в голову эстетический ее аспект. Не существует никакого мало-мальски широкого интереса к искусствам, не считая разве что музыки. Поэзия, та область искусства, в которой Англия преуспевала более всех прочих, уже на протяжении более чем столетия не представляет ровно никакого интереса для простых людей. Она становится приемлемой, лишь прикидываясь чем-то иным, например популярными песнями или мнемоническими рифмами. Право, само слово «поэзия» вызывает либо пренебрежение, либо неловкость у девяноста восьми человек из ста.

Наш воображаемый наблюдатель-иностранец, безусловно, поразится свойственному нам благонравию: упорядоченному поведению англичан в толпе, где никто не толкается и не скандалит; готовности ждать своей очереди, добродушию задержанных, перегруженных работой людей – автобусных кондукторов, например.

Английский рабочий люд не отличается изяществом манер, но исключительно предупредителен. Приезшему всегда с особым тщанием покажут дорогу, слепцы могут ездить по Лондону с полной уверенностью, что им помогут в любом автобусе и на каждом переходе. Военное время заставило часть полицейских носить револьверы, однако в Англии не существует ничего подобного жандармерии, полувоенным полицейским формированиям, содержащимся в казармах и вооруженным стрелковым оружием (а то и танками и самолетами), стражам общества от Кале до Токио. И, за исключением определенных, четко очерченных районов в полудюжине больших городов, Англия почти не знает преступности и насилия. Уровень честности в больших городах ниже, чем в сельской местности, но даже и в Лондоне разносчик газет смело может оставить пачку своих бумажных пенни на тротуаре, заскочив пропустить стаканчик. Однако подобное благонравие не так уж давно и привилось. Живы еще



люди, на памяти которых хорошо одетой особе нипочем было не пройти по Рэтклиф-хайвей, не подвергшись приставаниям, а видный юрист на просьбу назвать типично английское преступление мог ответить: «Забить жену насмерть».

Революционные традиции не прижились в Англии, и даже в рядах экстремистских политических партий революционного образа мышления придерживаются лишь выходцы из средних классов. Массы по сей день в той или иной степени склонны считать, что «противозаконно» есть синоним «плохо». Известно, что уголовное законодательство сурово и полно нелепостей, а судебные тяжбы столь дороги, что богатый всегда получает в них преимущество над бедным, однако существует общее мнение, что закон, какой он ни есть, будет скрупулезно соблюдаться, судьи неподкупны и никто не будет наказан иначе, нежели по приговору суда. В отличие от испанского или итальянского крестьянина англичанин не чует печенкой, что закон – это обыкновенное жульничество. Именно эта всеобщая вера в закон и позволила многим недавним попыткам подрвать Хабеас-корпус остаться не замеченными обществом.

Но она же позволила найти мирное разрешение ряда весьма отвратительных ситуаций. Во время самых страшных бомбежек Лондона власти пытались помешать горожанам превратить метро в бомбоубежище. В ответ лондонцы не стали ломать двери и брать станции штурмом. Они просто покупали билеты по полтора пенни, тем самым обретая статус законных пассажиров, и никому не приходило в голову попросить их обратно на улицу.

Традиционная английская ксенофобия куда более развита среди трудящихся, нежели среди средних классов. Причиной, отчасти воспрепятствовавшей принять накануне войны действительно большое число беженцев из фашистских стран, послужило сопротивление профсоюзов, а когда в 1940 году интернировали беженцев-немцев, протестовал отнюдь не рабочий класс. Английским рабочим очень трудно найти общий язык с иностранцами из-за различий в привычках, особенно в еде и языке. Английская кухня резко отличается от кухни любой другой европейской страны, и англичане сохраняют здесь стойкий консерватизм. Как правило, к заморскому блюду англичанин и не прикоснется, чеснок и оливковое масло вызывают у него отвращение, а без чая с пудингом и жизнь не в жизнь. Особенности же английского языка делают невозможным чуть ли не для каждого, кто оставил школу в четырнадцать лет, выучить иностранный язык в зрелые годы. Во французском Иностранном легионе, например, британским и американским легионерам редко удается выбиться из рядовых, потому что они не способны овладеть французским, в то время как немцы начинают говорить по-французски через несколько месяцев. Английским рабочим свойственно считать чем-то бабьим даже умение правильно выговаривать иностранные слова. Это связано с тем, что изучение иностранных языков является естественной частью образования высших классов. Поездки за границу, владение иностранными языками, умение наслаждаться иностранной кухней подспудно ассоциируют с барством, проявлениями снобизма, поэтому ксенофобия подстегивается и чувствами классовой ревности.

Самым, пожалуй, отвратительным зрелищем в Англии являются собачьи кладбища в Кенсингтон-гарденз, Стоук-поуджес (они примыкают прямо к церковному двору, где Грей написал свою знаменитую «Элегию»), а также во многих иных местах. Но существуют также и бомбоубежища для домашних животных, оборудованные миниатюрными кошачьими носилками, а в первый год войны можно было насладиться зрелищем празднования Дня животных со всей обычной помпой в самый разгар эвакуации Дюнкерка. Хотя самые большие его глупости творят аристократки, кошачий культ пронизывает все слои общества и, видимо, связан с упадком сельского

хозяйства и сокращением уровня рождаемости. Поголовье кошек и собак не смогли сократить даже несколько лет строгого нормирования продовольствия, и даже в беднейших кварталах больших городов в витринах зоомагазинов выставляется канареечный корм по ценам, достигающим двадцати пяти шиллингов за пинту.

Лицемерие столь широко вошло в английский характер, что заезжий наблюдатель будет готов столкнуться с ним на каждом шагу, но найдет особо выразительные примеры в законах, касающихся азартных игр, пьянства, проституции и сквернословия. Ему покажется затруднительным примирить антиимпериалистические сантименты, широко выражаемые в Англии, с размерами Британской империи. Будь он родом из континентальной Европы, он бы с ироническим изумлением заметил, что англичане считают порочным содержать большие армии, но не видят греха в содержании большого флота. Он бы отнес к лицемерию и это – хотя и не вполне справедливо, ибо именно островное положение Англии и вытекающее отсюда отсутствие необходимости содержать большую армию и обусловили возможность становления и развития британских демократических институтов, что достаточно хорошо понимают в народе.

За последние тридцать примерно лет значительно стерлись ранее резко очерченные классовые различия, и война, пожалуй, значительно ускорила этот процесс, но людей, впервые оказавшихся в Англии, по-прежнему поражает, а то и ужасает разделяющая классы явная пропасть. Классовая принадлежность огромного большинства англичан может быть мгновенно установлена по их поведению, одежде и общему виду. Существенны даже физические различия – люди высших классов в среднем на несколько дюймов выше ростом, чем рабочие. Самое же впечатляющее различие – в языке и произношении. Как выразился Уиндэм Льюис, у английского рабочего люда «заклеймен язык». И хотя различия классовые полностью соответствуют различиям экономическим, контраст между нищетой и богатством куда более заметен и куда естественнее воспринимается, как само собой разумеющийся, чем во многих иных странах.

Англичанам принадлежит авторство нескольких наиболее популярных игр мира, распространившихся куда шире любого другого порождения их культуры. Слово «футбол» на все лады звучит из уст миллионов, и слыхом не слышавших о Шекспире или о Великой хартии вольностей. Сами англичане не отличаются особым мастерством в играх, но обожают в них участвовать и с энтузиазмом, в глазах иностранцев просто детским, обожают читать о них и заключать пари. Ничто так не скрашивало жизнь безработных в период между мировыми войнами, как футбольный тотализатор. Профессиональные футболисты, боксеры, жокеи, даже игроки в крикет пользуются популярностью, немыслимой для ученого или художника. Однако культ спорта отнюдь не доходит до идиотизма, как могло бы показаться при чтении популярных газет. Баллотировавшись в парламент от своего родного округа, великолепный боксер легкого веса Кид Льюис получил лишь сто двадцать пять голосов.

Перечисленные нами черты бросятся, вероятно, вдумчивому наблюдателю в глаза в первую очередь. Возможно, он будет склонен выстроить из них достоверные представления об английском характере. Но не исключено, что здесь его осенит: а существует ли вообще «английский характер»? Можно ли говорить о народе как об одном человеке? Ну, допустим, можно, но существует ли тогда истинная преемственность между Англией сегодняшней и Англией вчерашней?

Бродя по лондонским улицам, наш наблюдатель заметил бы в витринах книжных лавок старые литографии, которые навели бы его на мысль: если они и впрямь отражали реальность своего времени, то Англия действительно претерпела значительные

перемены. Немногим более века минуло с тех пор, когда отличительным признаком английской жизни была ее жестокость. Судя по литографиям, простолюдины проводили время в почти что бесконечных драках, распутстве, пьянстве и травле собаками привязанных быков. Более того, наглядно изменился даже внешний облик людей.

Где теперь бывшие грузные ломовые извозчики, низколобые боксеры-чемпионы, дюжие матросы, у которых трещали на ягодицах швы полотняных брюк, и дебелые красотки с налитыми грудями, походившие на носовые фигуры кораблей адмирала Нельсона? Что было общего у этих людей со сдержанными, скромными, законопослушными англичанами сегодняшнего дня? И существует ли на самом деле то, что называется «национальной культурой»?

Это один из тех вопросов типа: что есть свобода воли или что есть личность, – в которых все аргументы остаются по одну сторону, а интуитивное знание – по другую. Нелегко найти связующую нить, пронизывающую английскую жизнь с шестнадцатого века и далее, но существование этой нити ощущается всеми англичанами, склонными задумываться над подобными предметами. Им кажется, что они понимают институты, пришедшие к ним из прошлого, – парламент, например, или воскресный отдых, или тончайшие градации классовой структуры – благодаря врожденному знанию, недоступному иностранцу. Соответствие параметрам национальной модели ощущается и в характере личности. Д. Х. Лоуренс воспринимается как «очень английский», но так же воспринимается и Блейк; доктор Джонсон и Г. К. Честертон каким-то образом воспринимаются как явления одного порядка. Вера в то, что мы походим на своих предков – что Шекспир, скажем, больше походит на современного англичанина, чем на современного француза или немца, – может, и неразумна, но влияет на поведение самим своим существованием. Мифам, которым верят, свойственно сбываться, ибо они создают тип, «личность», в попытках походить на которые средний человек не пожалеет сил.

Трудные дни 1940 года ясно показали, что в Британии чувство национальной солидарности сильнее классовых антагонизмов. Будь утверждение, что «пролетариат не имеет родины», правдой, 1940 год был бы самым подходящим моментом доказать его. Однако именно в то время классовые чувства ушли на задний план, проявившись вновь лишь тогда, когда непосредственная угроза миновала.

Более того, весьма вероятно, что бесстрастность, проявленная под бомбежками жителями английских городов, объяснялась отчасти наличием национальной модели «личности», то есть предвзятым представлением этих людей о самих себе.

Согласно традициям, англичанин флегматичен, прозаичен, трудновозбудим, поскольку таким он себя видит; таким ему и свойственно становиться. Неприязнь к истерике и «шумихе», преклонение перед упрямством являются чуть ли не универсальными в Англии, захватывая всех, кроме интеллигенции. Миллионы англичан охотно воспринимают своим национальным символом бульдога – животное, отличающееся упрямством, уродством и непробиваемой глупостью. Англичане обладают поразительной готовностью признать, что иностранцы «умнее» их, и в то же время сочли бы нарушением законов божеских и природных, окажись Англия под властью чужестранцев.

Наш воображаемый наблюдатель заметил бы, вероятно, что сонеты Уордсворта, написанные во время наполеоновских войн, могли бы быть написаны во время этой. Он бы понял уже, что Англия родила больше поэтов и ученых-естественников, чем философов, богословов либо чистых теоретиков любого рода. И заверил бы свои наблюдения выводом, что преобладающими чертами английского характера,

прослеживаемым в английской литературе со времен Шекспира, является глубочайший, чуть ли не рефлекторный патриотизм наряду с неспособностью логически мыслить.

#### МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК АНГЛИЧАН

На протяжении, пожалуй, полутора столетий ни какая-либо организованная религия, ни какие-либо осознанные религиозные воззрения не имели особого влияния на жизнь английского народа. За исключением всего каких-то десяти процентов, англичане вообще не посещают мест отправления религиозных культов, помимо свадеб и похорон.

Смутный теизм и неустойчивая вера в загробную жизнь распространены, пожалуй, довольно широко, но основные христианские доктрины по большей части забыты. На вопрос, что он подразумевает под «христианством», средний человек отвечает всецело в этическом плане, говоря о «бескорыстии» и «любви к ближнему». Так оно, наверное, во многом было еще на заре промышленной революции, когда внезапно нарушился привычный деревенский уклад, а господствующая церковь утратила связи с паствой. Во времена же недавние во многом утратили силу и неконформистские секты, а на протяжении жизни нынешнего поколения в Англии иссякла традиция чтения Библии. Молодые люди, не знающие даже сюжетов библейских притч, стали повседневным явлением.

Но в одном отношении английские простолюдины остались христианами намного больше, чем высшие классы, и, вероятно, любой другой народ Европы: в неприятии ими культа поклонения силе. Почти что не удостоивая вниманием сформулированные церковью догматы, они продолжают исповедовать тот, который церковь так и не облекла в слова, полагая его само собой разумеющимся: в силе нет правды. Вот здесь и лежит самая широкая из всех пропасть между рабочим людом и интеллигенцией. Со времен Карлайля и особенно на протяжении жизни нынешнего поколения британская интеллигенция была склонна заимствовать идеи из Европы и попала под влияние образа мышления, восходящего в конечном счете к Макиавелли. В конечном счете все культы, популярные на протяжении последнего десятка лет, – коммунизм, фашизм, пацифизм – сводятся к культу поклонения силе. Знаменательно, что у нас в стране в отличие от большинства иных стран марксистский вариант социализма нашел самых горячих приверженцев в средних классах. Его методы, если не сама теория, явно противоречат тому, что именуется «буржуазной моралью», то есть элементарной порядочности, но именно пролетарии являются носителем буржуазности в области морали.

Любимейшим героем англоязычных народных сказок является Джек-Победитель Великанов, то бишь маленький человечек, сражающийся против гиганта. Микки Маус, Поппи-Морячок и Чарли Чаплин, по сути, варьируют ту же тему. (Стоит отметить, что фильмы Чаплина были запрещены в Германии сразу после прихода к власти Гитлера и что на Чаплина злобно обрушилась фашистская пресса Англии.) Не просто неприязнь ко всякого рода запугиванию, но и склонность помогать слабому лишь потому, что он слабее, распространены в Англии почти повсеместно. Отсюда и уважение к «умеющему проигрывать», и умение легко прощать неудачи, будь то в споре, политике или войне. Даже в самых серьезных вопросах англичане не считают, что неудачные попытки обязательно были бесполезны. Пример тому – греческая кампания нынешней войны. Никто не ждал от нее успеха, но все считали ее необходимой. Отношение же масс к внешней политике вечно окрашивается инстинктивной тягой принять сторону побежденного, сторону жертвы.

Наглядное тому свежее доказательство – профинские настроения во время

русско-финской войны 1940 года. Как показал ряд дополнительных выборов, во время которых борьба в основном шла по данному вопросу, настроения эти были вполне искренни. На протяжении довольно продолжительного предшествующего периода в массах росли симпатии к СССР, но Финляндия оказалась маленькой страной, на которую напала большая – именно это и определило позицию большинства. В период Гражданской войны в США британский трудовой люд взял сторону северян – поскольку те стояли за отмену рабства, – и это несмотря на блокаду северянами поставок хлопка, создавшую неизмеримые трудности в Британии. Если кто в Англии и сочувствовал французам в период франко-прусской войны, то только рабочие. Малые народы, угнетаемые турками, находили поддержку в рядах либеральной партии, в те времена партии рабочего и нижнего среднего классов. В той степени, в которой англичане вообще проявили интерес к подобным вопросам, в массе своей они были за абиссинцев и против итальянцев, за китайцев и против японцев и за испанских республиканцев против Франко. Они испытывали дружеское сочувствие и к Германии, когда Германия была слаба и безоружна. Вряд ли стоит удивляться, повторись подобное после окончания этой войны.

Традиционная склонность принимать сторону слабейшего, возможно, проистекает из политики равновесия сил, которой Британия придерживалась с восемнадцатого века. Критически настроенный европеец не преминул бы назвать это пустозвонством, аргументируя тем, что Британия сама держит в покорности народы Индии и иных стран. Что ж, мы и впрямь не знаем, как распорядились бы рядовые англичане Индией, будь решение за ними. Все политические партии и газеты любых оттенков объединились в заговоре, мешающем им увидеть данную проблему в ее истинном свете. Однако мы знаем, что им случалось поддерживать слабого против сильного и тогда, когда это совершенно явно не соответствовало их интересам. Лучший тому пример – гражданская война в Ирландии. Истинным оружием ирландских повстанцев было британское общественное мнение, выступавшее в основном на их стороне и не позволившее британскому правительству подавить восстание единственно возможным путем. Даже во время бурской войны выражалось сочувствие бурам, хотя и в недостаточно сильной степени, чтобы повлиять на ход событий. Следует заключить, что в данном вопросе рядовой англичанин отстал от века, не сумев угнаться за концепциями политики, силы, «реализма», священного эгоизма и доктриной цели, оправдывающей средства.

Широко распространенная среди англичан неприязнь к любого рода насилию и терроризму означает, что уголовным преступникам рассчитывать на сочувствие не приходится. Гангстеризм американского типа не прижился в Англии; показательно, что американские гангстеры даже и не пытались распространить на Англию свою деятельность. В случае необходимости вся страна ополчилась бы на людей, похищающих детей и палящих из автоматов на улицах, но даже эффективность деятельности английской полиции непосредственным образом основывается на поддержке общественного мнения.

Однако все это имеет и обратную сторону – почти всеобщую терпимость к жестоким и устаревшим наказаниям. Вряд ли можно гордиться тем, что в Англии до сих пор мирятся с такими наказаниями, как порка. Отчасти это объясняется всеобщим психологическим невежеством, отчасти тем, что порке подвергают лишь за преступления, не вызывающие почти никакого сочувствия. Попытка возобновить подобное наказание за воинские провинности либо за ненасильственные преступления спровоцировала бы бурный протест. Наказание за воинские провинности вообще не считается в Англии само собой разумеющимся, как в большинстве других стран. Общественное мнение почти безоговорочно настроено против смертной казни за трусость и дезертирство, хотя казнь убийц через повешение особых протестов не

вызывает. Отношение англичан к преступности по большей части невежественно и старомодно, человеческое обращение с преступниками, даже с теми, чьими жертвами были дети, – явление весьма недавнего порядка. И все же, окажись в английской тюрьме Аль Капоне, он сел бы за решетку отнюдь не за попытку увильнуть от уплаты подоходного налога.

Более сложно то, что английское отношение к преступности и насилию есть пережиток пуританизма и всемирно известного английского лицемерия.

Собственно английский народ, трудящиеся массы, составляющие семьдесят пять процентов населения, – не пуритане. Мрачная теология кальвинизма так и не смогла заявить о себе в Англии, подобно тому как это одно время имело место в Уэльсе и Шотландии. Но пуританизм в широком смысле, в каком и применяется обычно это слово (то есть ханжество, аскетизм, стремление гасить чувство радости), был без всякой необходимости навязан рабочему классу классом, стоящим непосредственно над ним, – мелкими торговцами и производителями. За этим таился четкий, хотя и неосознанный экономический мотив. Убедив рабочего, что любое развлечение грешно, из него можно было выжать больше труда за меньшую плату. В начале девятнадцатого века существовала даже теория, согласно которой рабочим не следовало жениться. Но было бы несправедливо полагать, будто пуританский моральный кодекс основан исключительно на лицемерном обмане. Его преувеличенная боязнь сексуальной аморальности, доходившая до запрета театральных спектаклей, танцев и даже красочной одежды, отчасти мотивировалась протестом против действительного разгула разврата периода позднего средневековья, усугубленного таким новым фактором, как сифилис, занесенный в Англию где-то в шестнадцатом веке и бушевавший в стране на протяжении чуть ли не двух последующих столетий. Немногим позже еще одним новым фактором послужило производство крепких напитков – джина, бренди и т. д., – куда более опьяняющих, нежели доселе привычные англичанам мед и пиво. Движение борьбы за трезвость было реакцией на поголовное пьянство девятнадцатого века, порождение трущобного существования и дешевого джина. Но его неизбежно оседлали фанатики, считавшие грехом не просто пьянство, но далее умеренное потребление алкоголя. На протяжении примерно пятидесяти последних лет предпринимались аналогичные походы против курения. Сто-двести лет назад курение вызывало серьезные нарекания, но лишь потому, что считалось грязной, вульгарной, вредной привычкой. Мысль же о том, что курение – порочная слабость, – современного происхождения.

Подобного рода мышление никогда не импонировало широким массам англичан. В большинстве своем они оказались достаточно запуганными пуританизмом средних классов, чтобы предаваться некоторым радостям жизни украдкой. Общеизвестно, что моральные устои трудящихся куда крепче, чем людей средних классов, но мысль о порочности секса в народе не прижилась. Конферанс мюзик-холлов, блэкпулские открытки, солдатские песни пуританством и не пахнут. Но с другой стороны, почти никто в Англии не одобряет проституцию. Проституция носит исключительно откровенный характер в ряде больших городов, но остается явлением малопривлекательным и с трудом терпимым. Привести ее в какие-то рамки и гуманизировать оказалось невозможным, ибо в глубине души каждый англичанин считает ее пороком. Что же до общего ослабления сексуальной морали на протяжении двадцати-тридцати последних лет, то это, вероятно, явление временное, вызванное преобладанием количества женщин над количеством мужчин.

В области же пьянства единственным последствием века борьбы за «трезвость» оказался некоторый рост лицемерия. Практическому искоренению пьянства как английского порока общество обязано не фанатикам антиалкогольного движения, но

конкуренции в индустрии развлечений, развитию просвещения, улучшению условий труда и росту цен на алкоголь. Фанатики смогли заставить англичанина преодолевать невероятные трудности, чтобы выпить свой стакан пива, испытывая при этом подспудное ощущение чего-то греховного, но никак не смогли заставить англичанина отказаться от него. Паб – один из основополагающих институтов английской жизни – держится, невзирая на нападки неконформистских местных властей. То же и с азартными играми. В большинстве своем они формально запрещены законом, но практикуются широчайшим образом. Лозунгом англичан может служить хор из песни Мэри Ллойд: «Немного того, что вам по вкусу, пойдет лишь на пользу вам». Англичане не порочны и даже не ленивы, но нипочем не откажутся от своей доли развлечений, чтобы там ни говорили вышестоящие. И похоже, они шаг за шагом отвоевывают позиции у меньшинств, готовых убить любое чувство радости. Даже ужасы английского воскресенья намного смягчились за последний десяток лет. Ряд законов, регулирующих деятельность пабов, – в каждом отдельном случае рассчитанных создать затруднения их хозяевам и отвадить клиентуру, – были отменены во время войны. Позитивным сдвигом представляется и то, что в некоторых регионах страны начинают предавать забвению закон, который возбраняет вход в паб детям, тем самым обезчеловечивая его, превращая в заурадное питейное заведение.

Традиционно дом англичанина – его замок. В эпоху воинской повинности и удостоверений личности это уже не может быть правдой. Но ненависть к любого рода регламентации, убеждение, что человек сам хозяин своему свободному времени и никто не может преследоваться за свои взгляды, глубоко укоренилось, и даже процессы централизации, неизбежные в военное время, не смогли его уничтожить.

Факт, что хваленая свобода британской прессы существует скорее в теории, чем в действительности. Прежде всего, централизованное владение прессой означает на практике, что непопулярные мнения могут высказываться лишь в книгах или газетах с малым тиражом. Более того, англичане в целом не так уж интересуются печатным словом, чтобы проявлять особую бдительность к сохранению данного аспекта их свобод, и многочисленные посягательства на свободу печати, имевшие место на протяжении последних двадцати лет, не вызвали какого-либо широкого протеста. Далее демонстрации против закрытия «Дейли уоркер» были, по всей вероятности, организованы незначительной группой. С другой стороны, свобода слова является реальностью и пользуется почти всеобщим уважением. Мало кто из англичан боится публично высказывать свои политические взгляды, и не так уж много сыщется тех, кто хотел бы подавить взгляды других. В мирное время, когда безработица может использоваться в качестве оружия, до известной степени имеет место мелочная травля «красных», но возникновения истинно тоталитарной атмосферы, в которой государство стремится контролировать не только слова, но и мысли людей, невозможно представить.

Гарантиями здесь отчасти служат уважение к свободе совести и стремление выслушать обе стороны, очевидные на любом публичном собрании. Но отчасти причиной тому и острая нехватка интеллекта. Англичане не настолько интересуются интеллектуальными вопросами, чтобы проявлять к ним нетерпимость. «Уклоны» и «опасные мысли» не кажутся им чем-то существенным. Средний англичанин, будь он консерватор или кто угодно, редко когда полностью усваивает всю внутреннюю логику исповедуемых им кредо: он ведь то и дело говорит ересь, не отдавая себе в том отчета. Ортодоксальные верования, будь они левой ориентации или правой, процветают в основном в среде литературной интеллигенции, тех самых людей, которые в теории и должны быть хранителями свободы мысли.

Англичане не умеют ненавидеть, не держат в памяти зла, их патриотизм во многом

неосознан, они не испытывают любви к воинской славе и не склонны восхищаться великими людьми. Они обладают старомодными достоинствами и недостатками. Политическим теориям двадцатого века они противопоставляют не другую, свою собственную теорию, но свойство морали, которое можно было бы условно определить как порядочность. В тот день 1936 года, когда немцы вновь заняли Рейнскую область, я оказался в северном шахтерском городке и заскочил в паб сразу после того, как радио сообщило эту новость, явно означавшую войну. Я сказал людям в пабе: «Немецкая армия переправилась через Рейн». И кто-то тут же брякнул: «Парле ву», – будто произвольно отвечая на смутно знакомую цитату. И все! Никакой иной реакции! Нет, этих людей ничем не проймешь, решил я. Но позже вечером, в том же пабе, кто-то затянул недавно вошедшую в моду песенку, в которой хор подхватывал припев:

Нет, здесь это не пройдет,  
Не пройдет и не проедет,  
Где угодно, но не здесь,  
Не пройдет никак.

И вдруг я понял, что это и есть английский ответ фашизму. Ведь он и вправду здесь не прошел, несмотря на весьма благоприятные обстоятельства. Не следует преувеличивать свободу, интеллектуальную или какую-либо другую, существующую у нас в Англии, но то, что она не претерпела значительных ограничений даже за пять лет войны за выживание, – обнадеживающий симптом.

#### ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ АНГЛИЧАН

Англичане не только равнодушны к тонкостям различных вероучений, но и отличаются значительным политическим невежеством. Лишь сейчас они начинают осваивать политическую терминологию, уже давно привычную в странах континентальной Европы. Предложив группе людей, наугад отобранных из любых слоев общества, дать определение капитализму, социализму, коммунизму, анархизму, троцкизму, фашизму, вы получите весьма туманные, а иногда и поразительно глупые ответы.

Но англичане проявляют столь же явное невежество и относительно своей собственной политической системы. На протяжении последних лет в силу различных причин наблюдался всплеск политической активности, но в рамках периода более длительного интерес к политике партий угасал. Очень многие взрослые англичане никогда в жизни не утруждали себя участием в выборах. Жители больших городов зачастую не знают ни названия своего избирательного округа, ни имени депутата парламента от него. На протяжении военных лет невозможность обновить избирательные списки лишает права голоса молодежь (а было время, когда права голоса не имел никто до двадцати одного года), несколько, как кажется, этим не обеспокоенную. Не вызывает особого протеста и неестественная избирательная система, как правило, обеспечивающая победу консервативной партии. Интерес вызывают не столько партии, сколько взгляды и личности (Чемберлен, Черчилль, Криппс, Беверидж, Бевин). Ощущение, будто парламент действительно контролирует ход событий, а приход к власти нового правительства сулит сенсационные перемены, постепенно ослабевало со времени прихода к власти первого лейбористского правительства в 1923 году.

При всех существующих мелких группировках в Британии фактически есть лишь две политические партии – консервативная и лейбористская, – которые и выражают в широком смысле слова основные интересы нации. Но за последние двадцать лет обе партии тяготели к тому, чтобы все больше и больше походить друг на друга. Как заведомо знает каждый, бывают вещи, которых никоим образом не позволит себе ни одно правительство, каких бы политических принципов оно ни придерживалось. Так,



ни одно консервативное правительство не вернется к консерватизму, как его понимали в девятнадцатом веке. Ни одно социалистическое правительство не подвергнет бойне имущие классы и даже не экспроприрует их без компенсации. Хорошим свежим примером изменяющейся атмосферы политической жизни послужила реакция на доклад Бевериджа. Тридцать лет назад любой консерватор назвал бы его государственной благотворительностью, а большинство социалистов отвергло бы как подачку капиталистов. В 1944 году он вызвал споры лишь о том, будет ли принят в целом или частично. Подобное размывание различий между партиями наблюдается почти во всех странах – отчасти потому, что повсеместно, за исключением, пожалуй, США, наметились сдвиги в сторону плановой экономики, а отчасти потому, что в эпоху политики силы выживание нации предоставляется более существенным, чем классовая война. Но в Британии есть и свои особенности: она и небольшой остров, и центр империи. Прежде всего, в силу существующего экономического положения благоденствие Британии отчасти зависит от империи, в то время как все левые партии в теории выступают с антиимпериалистических позиций. Поэтому левые политики понимают – или начинают понимать, – что, придя к власти, будут вынуждены либо отказаться от некоторых своих принципов, либо снизить уровень жизни в стране. Во-вторых, для Британии невозможно пройти сквозь революционный процесс, подобный тому, сквозь который прошел СССР. Британия слишком мала, слишком хорошо организована, слишком зависит от импорта продовольствия. Гражданская война в Англии неминуемо приведет к голоду, либо порабощению иностранной державой, либо к тому и к другому вместе. В-третьих, что важнее всего, гражданская война в Англии невозможна морально. Ни при каких предвидимых обстоятельствах пролетариат Хэммерсмита не восстанет, чтобы вырезать буржуазию Кенсингтона: для этого они недостаточно отличаются друг от друга. Даже самые коренные перемены возможны лишь мирным путем, с демонстративным соблюдением законности, и это понимают все, за исключением «сумасшедших экстремистов» на перифериях различных политических партий.

Этими факторами и определяются политические воззрения англичан. Народные массы хотят глубоких перемен, но не хотят насилия. Хотят сохранить жизненный уровень, но вместе с тем не хотят ощущать себя угнетателями менее счастливых народов. Если бы распространить по всей стране анкету с вопросом: «Чего вы хотите от политики?» – подавляющее большинство опрошенных дали бы один и тот же ответ: «Экономической безопасности, гарантирующей мир внешней политики, расширения социального равенства и решения индийского вопроса». Здесь самое важное – первое, поскольку безработица страшнее войны. Но мало кому покажется существенным упоминать капитализм или социализм. Ни то, ни другое слово не обладает эмоциональной притягательностью. Ни у кого не заставляет чаще биться сердце мысль о национализации Английского банка; с другой же стороны, массы больше не клюют на старые песни о здоровом индивидуализме и священном праве собственности. Никто не верит, что «наверху всем хватит места», да в любом случае большинство и не хочет наверх: оно хочет постоянной работы и честных шансов для своих детей.

В последние годы в силу порожденных войной социальных трений, недовольства наглядной неэффективностью капитализма старого образца и восхищения Советской Россией общественное мнение значительно качнулось влево, не впад при этом ни в доктринерство, ни в заметное озлобление. Ни одна из партий, именующих себя революционными, не умножила численности своих приверженцев. Существует с полдюжины подобных партий, но все они, вместе взятые, даже с остатками чернорубашечников Мосли, не наберут и 150 000 членов. Важнейшей среди них является коммунистическая, но и она и за четверть века существования практически не увеличилась. Хотя и обретая значительное влияние в благоприятные периоды, она

так и не смогла вырасти в массовую партию того типа, что существует во Франции или существовала в догитлеровской Германии.

На протяжении многих лет членство в коммунистической партии росло или падало в зависимости от перемен во внешней политике России. Пока СССР в хороших отношениях с Британией, британские коммунисты придерживаются «умеренной линии», мало отличающейся от курса лейбористской партии, и ее ряды увеличиваются на десятки тысяч членов. Когда между Россией и Британией возникают политические разногласия, коммунисты переходят к «революционной» линии и ряды партии редуют. На деле они способны повлечь за собой широкие массы, только отказавшись от основных своих целей. Различные другие марксистские группы, все без исключения претендующие на роль истинных и верных наследников Ленина, находятся в положении еще более безнадежном. Платформы их рядовому англичанину непонятны, а горести неинтересны. Огромным препятствием для них служит отсутствие у англичан заговорщицкого склада ума, присущего жителям полицейских государств континентальной Европы. Англичане в большинстве своем не воспринимают учений, в которых доминируют ненависть и беззаконие. Безжалостные идеологии континента – и не только коммунизм или фашизм, но и анархизм, троцкизм и даже крайний католицизм – воспринимаются в их чистом виде одной лишь интеллигенцией, образующей своего рода островок ханжества посреди всеобщего безразличия. Показательно, что авторам английских революционных трудов приходится прибегать к искусственному словарю, ключевая лексика которого заимствована из других языков.

Английских слов для большинства излагаемых ими концепций просто не существует. Даже, например, слово «пролетарий» неанглийское, и подавляющее большинство англичан просто не понимают его значения. Если им и пользуются, то лишь как синонимом слова «бедняк». Но и в этом смысле ему придают оттенок скорее социальный, нежели экономический. Большинство опрошенных ответят вам, что кузнец или сапожник – пролетарий, а банковский клерк – нет. Что же до слова «буржуазный», то его чуть ли не исключительно употребляют люди именно буржуазного происхождения.

Но существует некий абстрактный политический термин, используемый весьма широко, которому придается расплывчатый, но хорошо понимаемый смысл. Это слово – демократия. В известном смысле англичане действительно считают, что живут в демократической стране. И не то чтобы все были достаточно глупы, чтобы думать так в буквальном смысле слова. Если демократия означает власть народа или социальное равенство, то ясно, что Британия не демократическая страна. Однако она демократична во вторичном значении этого слова, привязавшегося к нему со времен взлета Гитлера. Прежде всего, меньшинства обладают достаточными возможностями, чтобы быть выслушанными. Более того, возжелай общественное мнение высказаться, его невозможно было бы игнорировать. Оно может выражаться косвенными путями – через забастовки, демонстрации и письма в газеты, но оно способно влиять на политику правительства, и влияние это весьма ощутимо. Британское правительство может проявлять несправедливость, но не может проявить абсолютный произвол. Не может делать то, что в порядке вещей для правительства тоталитарного государства. Один пример из тысячи возможных – нападение Германии на СССР. Не то примечательно, что нападение произошло без объявления войны – это-то как раз естественно, – а то, что ему не предшествовало никаких пропагандистских кампаний. Проснувшись, немцы обнаружили себя в состоянии войны со страной, с которой, ложась вчера спать, вроде бы были в хороших отношениях. Наше правительство не осмелилось бы ни на какой подобный шаг, и англичане достаточно хорошо это знают. Политическое мышление англичан во многом руководствуется словом «они». «Они» – это вышестоящие классы, таинственные силы,

определяющие вашу жизнь помимо вашей воли. Но широко распространено ощущение, что хоть «они» и тираны, но не всемогущи. Если потребуется на «них» нажать, «они» поддадутся. «Их» можно даже сместить. И при всем своем политическом невежестве англичане часто проявляют удивительную чувствительность, стоит какой-то незначительной детали показать им, что «они» перешли черту. Потому-то кажущаяся апатия и взрывается то и дело неожиданной бурей из-за фальсифицированных выборов или чересчур жестким, «под Кромвеля», обращением с парламентом.

Обстоятельством, о котором чрезвычайно трудно судить с уверенностью, является стойкость монархического чувства в Англии. Нет никаких сомнений, что по крайней мере на юге Англии оно оставалось сильным и искренним вплоть до смерти Георга V. Волна народного энтузиазма, вызванная Серебряным юбилеем 1935 года, захватила власти врасплох, и празднества пришлось продлить еще на неделю. В обычные времена откровенные роялистские настроения свойственны лишь богатым классам: в лондонском Уэст-энде, например, зрители по окончании киносеанса вытягиваются в струнку при звуках «Боже, храни короля», а в бедных кварталах просто выходят из зала.

Но чувства, проявленные по отношению к Георгу V в дни Серебряного юбилея, были явно неподдельными, в них даже можно было заметить живучесть или бурный рецидив идеи, существующей чуть ли не с первых дней истории, идеи о своего рода союзе монарха и простолюдинов против аристократии.

Так, например, кое-где в лондонских трущобах во время юбилея выставлялся весьма раболопный лозунг: «Беден, но верен». Правда, другие лозунги сочетали верность королю с неприязнью к домовладельцу: «Да здравствует король, долой домовладельца», или – еще чаще – «Домовладельцы не требуются», или «Домовладельцам вход запрещен». Пока еще рано судить, убило ли Отречение роялистские чувства, но оно, несомненно, нанесло им суровый удар. На протяжении последних четырех веков это чувство то вспыхивало, то угасало в зависимости от обстоятельств.

Королева Виктория, например, решительно была непопулярна в некоторые годы своего правления, и в первой четверти XIX века общество не проявило такого значительного интереса к королевской семье, как сто лет спустя. На сегодняшний день большинство англичан, видимо, придерживается умеренных республиканских настроений. Но весьма вероятно, что еще одно долгое правление, схожее с правлением Георга V, возродит роялистские настроения и сделает их – примерно так же, как и в период между 1880 и 1936 годами, – весомым фактором в политике.

#### АНГЛИЙСКАЯ КЛАССОВАЯ СИСТЕМА

Во время войны английская классовая система служит лучшим пропагандистским аргументом противника. Единственным честным ответом на обвинение д-ра Геббельса в том, что Англия так и остается страной «двух наций», было бы признание, что на деле их три. Но особенность английских классовых различий не в их несправедливости – ибо, в конце концов, богатство и нищета сосуществуют во всех почти странах, – но в их анахроничности. Они не вполне точно совпадают с границами экономических различий, в силу чего в промышленной и капиталистической стране бродит призрак кастовой системы.

Принято классифицировать современное общество по трем параметрам: высший класс, то есть буржуазия, средний класс, то есть мелкая буржуазия, и рабочий класс, то есть пролетариат. В целом подобное деление соответствует истине, но полезных

выводов из него не извлечь, не приняв во внимание деления внутри различных классов и не осознав, насколько глубоко английское восприятие мира окрашено романтизмом и элементарным снобизмом.

Англия остается одной из последних стран, цепляющихся за внешние формы феодализма. Сохраняются и постоянно учреждаются новые титулы; палата лордов, в основном состоящая из потомственных пэров, обладает реальными полномочиями. В то же время в Англии нет настоящей аристократии. Расовые различия, на которых обычно и строится аристократическое правление, стерлись уже к концу средневековья, и знаменитые средневековые семьи практически уже исчезли. Нынешние так называемые старинные семьи составили состояния в шестнадцатом, семнадцатом и восемнадцатом веках. Более того, представление, будто дворянство существует само по себе, что дворянин и в бедности остается дворянином, отмирало уже в эпоху Елизаветы – обстоятельство, отмеченное Шекспиром. И все же, как ни странно, правящий класс Англии так и не превратился в самую что ни на есть обычную буржуазию, так и не стал исключительно городским или чисто коммерческим. Стремление быть поместным дворянином, владеть и управлять землей и извлекать хотя бы часть доходов из ренты пережило все перемены и повороты. Потому-то каждая новая волна парвеню, вместо того чтобы просто вытеснить существующий правящий класс, перенимала его обычаи, заключала с ним брачные союзы и спустя одно-два поколения полностью с ним сливалась.

Может, основной тому причиной служили скромные размеры Британии, ее ровный климат и приятное разнообразие природы. В Англии почти невозможно и даже в Шотландии нелегко оказаться более чем в двадцати милях от города. Деревенская жизнь отнюдь не отличается унылой скукой, как в более просторных странах с холодным климатом. Относительная же порядочность британских правящих классов, в конечном счете отнюдь не запятнавших себя позорным поведением, свойственным европейским собратьям, видимо, покоится на их представлении о самих себе как о феодальных землевладельцах. Эти представления разделяет и значительная часть средних классов. Почти каждый, кто может, живет как поместный дворянин или стремится к этому. В дачном коттедже биржевого маклера, в пригородной вилле с ее газоном и цветочным бордюром, пожалуй, даже в горшках с настурциями на подоконниках квартир района Бэйсуотер возникает в миниатюре барская усадьба с ее парками и обнесенными стеной садами. Да, верно, эти грезы, несомненно, полны снобизма, они способствовали утверждению классовых различий и помешали модернизации английского сельского хозяйства, но сочетаются со своеобразным идеализмом, верой, что стиль и традиция важнее денег.

Резкая грань, но не финансовая, а культурная, пролегает внутри среднего класса, отделяя тех, кто стремится к светскому образу жизни, от остальных. По стандартным меркам каждый между капиталистом и живущим на недельную зарплату может быть скопом причислен к мелкой буржуазии. То есть в один и тот же класс зачисляются врач с Харли-стрит, армейский офицер, бакалейщик, фермер, ответственный чиновник, юрист, священник, управляющий банком, предприимчивый подрядчик и рыбак – хозяин собственной лодки. Но никто в Англии не причислит их к одному классу, а различия между ними лежат не в доходах, но в произношении, манере держаться и, в известной степени, мировоззрении. Любой, кто обращает хотя бы мало-мальское внимание на классовые различия, поместит офицера с годовым доходом в 1 000 фунтов выше на общественной лестнице, чем бакалейщика с годовым доходом в 2 000 фунтов. Подобные различия существуют даже среди высших классов: титулованной особе оказывается больше почета, чем нетитулованной, но более богатой. На практике людей среднего класса делят в зависимости от того, в какой степени они походят на аристократию: чиновники высокого ранга, боевые офицеры,

лекторы университетов, священнослужители, даже литературная и научная интеллигенция стоят выше бизнесменов, хотя и зарабатывают меньше. Особенность этого класса в том, что самой большой статьей его расходов является образование. Если преуспевающий торговец отдает ребенка в местную государственную школу, то священник, имеющий половину его доходов, будет годами недоедать, чтобы послать своего сына в частную школу, хотя и знает, что прямых дивидендов с подобного капиталовложения не получит.

Существует, однако, еще одна отчетливая линия раздела внутри среднего класса: старинные различия между «джентльменом» и «не джентльменом». За последние тридцать лет в силу потребностей современной индустрии и деятельности технических школ и провинциальных университетов сложился, правда, новый тип человека, принадлежащего к среднему классу по доходам и в известной степени по привычкам, но мало обеспокоенного собственным социальным статусом. Люди типа радиоинженеров или заводских химиков, не получившие образования того рода, что приучает чтить традиции прошлого, и склонные жить в многоквартирных домах, где стираются рамки былого общественного уклада, являются наиболее приближенными к бесклассовому типу в Англии. Они составляют существенную часть общества, ибо количество их неуклонно растет. Война, например, потребовала создания мощной авиации, и вот тысячи молодых людей рабочего происхождения вышли в технически образованный слой среднего класса через королевские ВВС. Подобные же последствия в настоящее время будет иметь любая серьезная реорганизация промышленности. И взгляды на жизнь, свойственные техническому слою, уже охватывают более старые слои среднего класса. Одним симптомом этого служат участвовавшие внутри этой среды браки. Другим – растущее нежелание людей с доходом ниже 2 000 фунтов в год разоряться во имя образования.

Целая серия перемен, начало которой, пожалуй, положил Закон об образовании 1870 года, происходит и в рядах рабочего класса. Трудно отрицать, что английским трудящимся свойственны как снобизм, так и раболепие. Прежде всего существуют весьма отчетливые различия между хорошо оплачиваемыми рабочими и беднотой. Даже социалистическая литература то и дело презрительно отзывается об обитателях трущоб (в большом ходу немецкое слово «люмпен-пролетариат»), а к заезжим рабочим, к ирландцам, например, чей уровень жизни много ниже, часто проявляет высокомерие. В Англии более, пожалуй, чем в других странах, сохранилась готовность считать классовые различия постоянным явлением и даже признавать за высшими классами естественное право на руководящую роль. Знаменательно, что в трудную минуту лучше всех сумел объединить нацию Черчилль, консерватор-аристократ. Слово «сэр» общеупотребительно в Англии, и человек явно аристократической наружности обычно удостоивается повышенной почтительности со стороны швейцаров, кондукторов, полисменов и т. д. Именно этот аспект английской жизни больше всего шокирует приезжих из Америки и доминионов. Пожалуй, тенденция к подбострастию несколько не уменьшилась за двадцатилетний промежуток меж двумя войнами, напротив, скорее возросла, чему в основном способствовала безработица.

Снобизм, однако, всегда сочетается с идеализмом. Склонность воздавать высшим классам более должного сочетается с уважением к правилам хорошего тона и чему-то, расплывчато определяемому как культура. На юге Англии, во всяком случае, большинство рабочего люда, несомненно, пытается подражать высшим классам в манерах и привычках. Традиция презрительного отношения к членам высших классов как к женоподобным «выпендрейщикам» в основном сохраняется в промышленных районах. Презрительные прозвища типа «чистюля» и «шляпа» почти исчезли, и даже «Дейли уоркер» публикует рекламу «первоклассного портного для джентльменов». Особые переживания почти у всего населения Южной Англии вызывает выговор кокни.

В Шотландии и Северной Англии тоже существует снобистское отношение к выговору местных диалектов, но не до такой степени. Многие йоркширцы определенно гордятся открытыми «у» и закрытыми «а» своего произношения и готовы отстаивать их на лингвистическом ристалище. В Лондоне же по сей день полно людей, выговаривающих «лайцо» вместо «лицо», но вряд ли найдется хоть один, настаивающий на превосходстве «лайца». Даже тот, кто демонстрирует презрение к буржуазии и ее манерам, заботится, чтобы его дети овладели правильным произношением.

Но наряду со всем этим значительно возросли политическое самосознание и недовольство классовыми привилегиями. За последние двадцать-тридцать лет рабочий класс стал более враждебен по отношению к правящим классам в плане политическом и менее враждебен в плане культурном. Здесь нет никакого противоречия: в обеих тенденциях проявляются симптомы усреднения укладов, проистекающего из машинной цивилизации и придающего английской классовой системе все более анахроничный характер.

Очевидные классовые различия, сохраняющиеся в Англии, ошеломляют иностранцев, но они куда менее отчетливы и куда менее реальны, чем тридцать лет назад. Люди разных социальных корней, сведенные войной вместе в рядах вооруженных сил, на заводах и в учреждениях, в пожарных патрулях и ополчении смогли общаться куда более естественно, чем во время войны 1914–1918 годов. Стоит перечислить различные факторы, под воздействием которых – хотя и непроизвольным – наметилась тенденция ко все большему стиранию различий между всеми классами английского общества.

Прежде всего, усовершенствование промышленного производства. С каждым годом все больше и больше сокращается количество людей, занятых тяжелым физическим трудом, постоянно утомляющим их и, гипертрофируя определенные группы мышц, придающим им специфическую осанку. Во-вторых, улучшение жилищных условий. В период между войнами обеспечением жилья занимались в основном местные власти, создавшие тип жилища (муниципальный дом с ванной, садиком, отдельной кухней и канализацией), более близкий к вилле биржевого маклера, чем к лачуге рабочего. В-третьих, массовое производство мебели, в нормальные времена продающейся в рассрочку. В результате интерьер жилища рабочего сегодня походит на интерьер жилища представителя средних классов куда больше, чем при жизни предыдущего поколения. В-четвертых – и, возможно, это основная причина, – массовое производство дешевой одежды. Тридцать лет назад социальный статус почти каждого англичанина можно было определить по его внешнему облику чуть ли не за версту. Все рабочие ходили в готовом платье, не только плохо пошитом, но и имитировавшем аристократические моды десяти-пятнадцатилетней давности. Кепи служило практически признаком статуса. Рабочие носили его повсеместно, аристократы – только играя в гольф или охотясь. Эта ситуация быстро меняется. Готовое платье сейчас шьется по моде, выпускается различных размеров, чтобы подойти любой фигуре, и, даже изготовленное из дешевой ткани, на вид мало отличается от дорогой одежды. В результате с каждым годом становится все труднее и труднее определить на первый взгляд социальное положение людей, особенно женщин.

Аналогичный эффект создают массовый выпуск литературы и индустрия развлечений. Радиопрограммы, например, в силу необходимости одинаковы для всех. Кинофильмы, хотя зачастую и крайне реакционные в подтексте своих концепций, должны завоевывать многомиллионную аудиторию и посему обязаны избегать разжигания классовых антагонизмов. То же касается и газет, выходящих массовым тиражом. «Дейли экспресс», например, имеет читателей во всех слоях общества, как и другие периодические издания, возникшие за последний десяток лет. «Панч» – явно газета

средних и высших классов, но «Пикчер пост» никакой определенной классовой направленности не имеет. Массовые библиотеки и крайне дешевые книги типа изданий фирмы «Пингвин» широко развивают привычку к чтению и, пожалуй, усредняют литературные вкусы. Усредняются даже кулинарные вкусы из-за появления большого количества дешевых, но вполне пристойных ресторанчиков.

Было бы неоправданным утверждать, что классовые различия действительно исчезают. В основном в Англии сохраняется та же структура, что и в девятнадцатом веке. Но, безусловно, сокращаются реальные различия между людьми, что признается и даже приветствуется теми, кто еще лишь несколько лет назад цеплялся за свой социальный престиж.

Какая бы судьба ни ждала в конечном счете очень богатых, рабочий и средний классы проявляют очевидную тенденцию к слиянию. Оно может произойти быстрее или медленнее – в зависимости от обстоятельств. Его значительно ускорила война, и еще десять лет строгого нормирования продуктов, функциональной одежды, высокого подоходного налога и всеобщей воинской обязанности могут окончательно завершить процесс. Ряд наблюдателей, как иностранных, так и отечественных, полагают, что свобода личности, весьма существенно развитая в Англии, зависит от сохранения четко определенной классовой системы. Свобода, считают некоторые, несовместима с равенством. Но по меньшей мере ясно одно: сегодня существует тенденция именно к большему социальному равенству, и большинство англичан именно этого и хочет.

#### АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

В английском языке существуют две характерные черты, к которым в конечном счете восходят почти все его маленькие странности. Это обширнейший вокабуляр и простота грамматического строя.

Если английский вокабуляр и не самый большой в мире, то, безусловно, один из самых больших. По сути, английский состоит из двух языков – англосаксонского и норманно-французского, а на протяжении последних трех веков значительно обогатился новыми словами, намеренно произведенными от латинских и греческих корней. Более того, вокабуляр расширяется еще больше, чем кажется, возможностью превращения одной части речи в другую. Почти каждое существительное, например, может использоваться в виде глагола, что создает целый дополнительный глагольный ряд. В свою очередь, многие глаголы могут иметь чуть ли не до двадцати различных значений всего лишь в силу употребляемых с ними различных предлогов. Глаголы также могут достаточно четко превращаться в существительные, а посредством ряда аффиксов любое существительное трансформируется в прилагательное. Куда легче, чем в большинстве других языков, глаголы и прилагательные могут превращаться в собственные антонимы с помощью одной лишь приставки «in». Прилагательное же можно сделать более выразительным или придать ему иной оттенок, увязав его в пару с существительным (lily – white, sky – blue).

Но в то же время английский прибегает и к заимствованиям, причем до неоправданной степени. Английский охотно перенимает любое иностранное слово, если оно кажется подходящим к использованию, часто переиначивая при этом его значение. Недавним примером служит слово «блиц». В качестве глагола это слово появилось в печати лишь в конце 1940 года, но уже прочно вошло в язык. Вот еще примеры из огромного арсенала заимствований: гараж, шарабан, алиби, степь, роль, меню, лассо, рандеву. Следует отметить, что в большинстве случаев эквиваленты этих понятий уже существовали, поэтому заимствования лишь расширили и так достаточно солидный синонимический ряд.

Английская грамматика проста. Язык почти полностью лишен флексий, что отличает его от большинства языков к западу от Китая. Правильный английский глагол имеет лишь три флексии – единственное число третьего лица, причастие настоящего времени и причастие прошедшего времени. Существует, разумеется, огромное количество временных форм, передающих тончайшие смысловые оттенки, но они образуются при помощи вспомогательных глаголов, также почти не спрягающихся.

Существительные в английском не склоняются и не имеют рода. Количество неправильных форм множественного числа и сравнительных степеней невелико. Английский язык всегда тяготеет к простым формам, как грамматическим, так и синтаксическим. Длинные фразы с придаточными предложениями становятся все менее и менее популярными; приживаются не совсем правильные, но экономящие время структуры типа «американского сослагательного наклонения», трудные правила, определяющие оттенки употребления вспомогательных глагольных форм, все больше и больше игнорируются. Если развитие английского языка в этом направлении будет продолжаться, он обретет больше общего скорее с нефлективными языками Восточной Азии, чем с языками Европы.

Величайшее богатство английского языка заключается не только в широком диапазоне смысловых оттенков, но и в спектре тона, позволяющем передавать тончайшие нюансы от высокопарной риторики до жесточайшей грубости. С другой стороны, простота грамматики способствует лаконичности. Английский – язык лирической поэзии и газетных заголовков. В низших своих формах он легко поддается изучению, несмотря на иррациональную орфографию. Для нужд интернационального общения английский может быть сведен к простейшему «птичьему» языку в диапазоне от «бейсик инглиш» до «бичламара», на котором изъясняются в южной части Тихого океана. Таким образом, он соответствует функции инструмента общения народов разных стран и действительно распространился в мире шире других языков.

Но в употреблении английского как родного языка таятся и большие проблемы и даже опасности. Прежде всего, как упоминалось в этом эссе ранее, англичане – плохие лингвисты. Их родной язык столь прост грамматически, что, не овладев в детстве навыком изучения иностранного языка, они зачастую не способны осознать категории рода, лица и падежа. Абсолютно неграмотный индус быстрее овладеет английским, нежели британский солдат – хиндустани. Почти пять миллионов индийцев владеют нормативным английским, и миллионы владеют его искаженными формами. Несколько десятков тысяч индийцев владеют английским настолько безупречно, насколько это вообще возможно. Англичан, столь же безупречно владеющих языками Индии, не наберется и нескольких десятков. Величайшая же слабость английского – в доступности его искажению. Именно потому, что им легко пользоваться, им легко пользоваться плохо.

Писать и даже говорить по-английски не наука, но искусство. Никаких надежных правил не существует, есть лишь общий принцип, согласно которому конкретные слова лучше абстрактных, а лучший способ что-нибудь сказать – сказать кратко. Человек, пишущий по-английски, втянут в неустанную борьбу, не ослабевающую ни на одном предложении. Он борется с неопределенностью, расплывчатостью, искусом вычурных прилагательных, вкраплениями греческого и латыни и прежде всего с устаревшими клише и отжившими метафорами, которыми перегружен язык. В устной речи эти препятствия избегаются легче, но разница между устной и письменной речью в английском куда значительней, чем в большинстве других языков. В устной речи опускается все, что может быть опущено, и употребляется любая сокращенная форма. Смысл во многом передается смысловым ударением, хотя интересно отметить, что англичане не жестикулируют, как того можно было бы ожидать. Предложение типа



«Нет, я имел в виду не это, а то» абсолютно понятно и без всякой жестикуляции, когда произносится вслух. Но, пытаясь обрести логику и достоинство, устная английская речь обычно воспринимает пороки письменной, в чем можно убедиться, проведя полчаса либо в палате общин, либо у Триумфальной арки.

Английский удивительно хорош для жаргонов. Врачи, ученые, бизнесмены, чиновники, спортсмены, экономисты и политические теоретики переиначивают язык каждый на свой лад, что легко изучить по страницам соответствующих изданий от «Ланцета» до «Дейли уоркер». Но самым, вероятно, страшным врагом разговорного английского является так называемый «литературный английский». Сей занудный диалект, язык газетных передовиц, Белых книг, политических речей и выпусков новостей Би-Би-Си, несомненно, расширяет сферу своего влияния, распространяясь вглубь по социальной шкале и вширь в устную речь. Для него характерна опора на штампы – «в должное время», «при первой же возможности», «глубокая благодарность», «глубочайшая скорбь», «рассмотреть все возможности», «выступить в защиту», «логическое предположение», «положительный ответ» и т. д., когда-то, может, и бывшие свежими и живыми выражениями, но ныне ставшие лишь приемом, позволяющим не напрягать мысль, и имеющие к живому английскому языку отношение не большее, чем костыль к ноге.

Каждый, кто готовит комментарий для радио или статью для «Таймс», чуть ли не инстинктивно усваивает подобный навык, заражающий и устную речь. И ослаб наш язык настолько, что идиотский лепет, изображаемый в эссе Свифта о вежливом общении (сатира на манеру речи современной ему аристократии) сошел бы по нынешним меркам за вполне культурный разговор.

Временным упадком английского языка, как и столь многим другим, мы обязаны анахронизму нашей классовой системы. «Культурный» английский утратил жизненную силу, потому что чересчур долго был лишен подпитки снизу. Чаще всего простым, конкретным языком говорят, а метафоры, способные создать зрительный образ, придумывают те, кто находится в постоянном общении с миром физической реальности. Такое, например, полезное выражение, как «узкое место», скорее осенит человека, привычного к конвейерам. Выразительное военное слово «проутюжить» подразумевает непосредственное знакомство с огнем и маневром. От постоянного притока подобного рода образов и зависит жизнеспособность английского языка. Из чего следует, что язык, английский во всяком случае, страдает, когда образованные классы теряют связь с людьми физического труда. На сегодняшний день почти любой англичанин независимо от происхождения считает манеру речи и даже идиоматику рабочего класса второсортными. Больше всего презрения к себе вызывает кокни – самый распространенный диалект. Любое слово или смысловой оттенок, относимые к нему, считаются вульгаризмами, даже в тех случаях, когда употребляются архаизмы.

За последние сорок лет, а за последние десять особенно, английский очень много позаимствовал из американского, в то время как в американской тенденции к заимствованию из английского не наблюдалось. Отчасти причиной тому послужила политика. Антибританские настроения в США куда сильнее, чем антиамериканские в Англии, и большинство американцев не склонны употреблять слово или выражение, известное им как британское. Но американский язык захватил плацдарм в английском отчасти благодаря живым, чуть ли не поэтическим свойствам своего сленга, отчасти потому, что американская манера употребления слов экономит время, но в основном потому, что американские слова можно перенимать, не разрушая классовых барьеров. С английской точки зрения американские слова лишены классовой окраски. Будь то даже слова воровского сленга. Слова, скажем, «козел» и «стукач» считаются куда

менее вульгарными, чем «легаш» и «кадр». Даже завзятый английский сноб, наверное, не откажется назвать полицейского «мусором», ибо это слово американское, но возразит против «мусорка», поскольку это слово простонародное английское. Рабочим же, с другой стороны, американизмы дают возможность избежать кокни, не переходя на диалект Би-Би-Си, который они инстинктивно недолюбливают и которым не в силах легко овладеть. Поэтому дети рабочих, особенно в больших городах, прибегают к американскому сленгу, как только учатся говорить. Появляется и заметная тенденция употреблять и несленговые американизмы – даже там, где существуют английские эквиваленты.

Видимо, какое-то время этот процесс будет продолжаться. Протестами его не сдержать, и к тому же многие американские слова и выражения заслуживают заимствования. Это и необходимые неологизмы, и старые английские слова, от которых нам просто не следовало отказываться. Но надо отдавать себе отчет, что в целом американский язык оказывает дурное влияние и во многом уже навредил. В целом наша настороженность по отношению к американскому оправдана. Нам следует с готовностью заимствовать лучшие его слова, но нельзя позволять ему изменять фактическую структуру нашего языка.

Тем не менее мы не сможем сопротивляться натиску американского, пока не вдохнем новую жизнь в английский. Язык должен быть совместным творением поэтов и людей физического труда, но в современной Англии этим двум классам трудно сойтись вместе. Когда они снова сумеют сделать это, как, хотя и в иной форме, умели в феодальном прошлом, английский сумеет доказать свое родство с языком Шекспира и Дефо более убедительно, чем сейчас.

Эта книга не о внешней политике, но, говоря о будущем английского народа, следует прежде всего задуматься о том, в каком мире ему, по всей вероятности, предстоит жить и какую особую роль играть в нем.

Нациям редко случается вымирать, и английский народ будет существовать и век спустя, что бы за это время ни случилось. Но если Британии суждено выжить в качестве того, что именуется «великой державой», играющей важную и полезную роль в мировых делах, следует принимать известные вещи как должные. Надо исходить из того, что Британия останется в добрых отношениях с Россией и континентальной Европой, сохранит свои особые связи с Америкой и доминионами и найдет полюбовное решение индийской проблемы. Возможно, мы предполагаем чересчур много, но вне этих условий остается мало надежд на будущее цивилизации и еще меньше – на будущее самой Британии. Если продлится жестокая международная борьба, что идет на протяжении последних двадцати лет, то в мире останется место лишь для двух-трех великих держав, и Британии в конечном счете среди них не будет. Ей не хватит ни населения, ни ресурсов. В мире политики силы англичанам суждена роль народа-сателлита, потенциал же, способный обеспечить их особенный вклад в развитие человечества, может быть утрачен.

Но в чем он, этот особенный вклад? Выдающееся, а по современным меркам и в высшей степени оригинальное свойство англичан в том, что они обладают традицией не убивать друг друга. Помимо «образцовых» малых государств, находящихся в исключительном положении, Англия – единственная европейская страна, в которой внутривнутриполитическая жизнь протекает более или менее гуманным и человеческим образом. Англия – и так было еще задолго до зарождения фашизма – единственная страна, где по улицам не рыщут вооруженные люди и где никто не опасается тайной полиции. Британская империя в целом, при всех ее вопиющих безобразиях, застоим здесь, эксплуатацией там, по крайней мере имеет заслугу в том, что сохраняет

внутренний мир. Вбирая в себя четверть всего населения планеты, империя всегда ухитрялась обходиться самым небольшим количеством вооруженных сил. Между мировыми войнами империя имела под ружьем около 600 000 человек, треть из которых составляли индийцы. С началом войны вся империя смогла мобилизовать около миллиона обученных солдат – почти столько же, сколько, к примеру, Румыния. Англичане, пожалуй, готовы к проведению революционных перемен бескровным путем больше многих других народов. Если где и станет возможным уничтожить бедность, не уничтожив свободы, то это в Англии. Приложи англичане усилия к тому, чтобы заставить функционировать свою демократию, они стали бы политическими лидерами Западной Европы, а возможно, и некоторых других частей света. Они могли бы предложить искомую альтернативу русскому авторитаризму, с одной стороны, и американскому материализму – с другой.

Но для осуществления руководящей роли англичане должны вновь обрести жизнеспособность и знать, что делать, для чего на протяжении грядущего десятилетия должны сложиться определенные факторы: рост рождаемости, развитие социального равенства, ослабление централизации и большее уважение к интеллекту.

Некоторый рост рождаемости, пришедшийся на военные годы, вряд ли можно считать существенным; общая тенденция к ее снижению сохраняется. Положение не настолько отчаянное, как иногда рисуется, но выправить его может не только резкий рост рождаемости, но и сохранение его на протяжении десяти, самое большее двадцати лет. В противном случае население не только сократится, но, что еще хуже, будет в основном состоять из людей среднего возраста. Тогда уже падение роста рождаемости может стать необратимым.

Причины сокращения рождаемости в основе своей экономические. Глупо утверждать, что оно вызвано равнодушием англичан к детям. В начале девятнадцатого века уровень рождаемости был чрезвычайно высок, причем тогдашнее отношение к детям сегодня кажется нам невероятно черствым. Не вызывая особого протеста общества, шестилетних детей продавали на рудники и фабрики; смерть же ребенка – самое страшное несчастье, какое только доступно воображению современного человека, – не считалась ничем особенным. В известной степени верно, что современные англичане заводят маленькие семьи именно из любви к детям. Они считают нечестным произвести ребенка на этот свет, если не имеют абсолютной уверенности, что сумеют обеспечить его на уровне не худшем, чем их собственный. Последние пятьдесят лет иметь большую семью означало, что дети будут хуже других одеты и накормлены, обделены вниманием и вынуждены раньше других пойти работать. Это касалось всех, кроме самых богатых или безработных. Несомненно, сокращение количества детей отчасти объясняется растущей притягательностью конкурирующих с ними автомобилей и радиоприемников, но истинной причиной служит чисто английское сочетание снобизма и альтруизма.

Инстинкт чадолюбия возродится, вероятно, тогда, когда относительно большие семьи станут нормой, но первыми шагами в этом направлении должны быть экономические меры. Малоэффективные семейные пособия здесь не помогут, особенно в условиях нынешнего острого жилищного кризиса. Положение людей должно улучшаться благодаря появлению детей, как в крестьянской общине, вместо того чтобы ухудшаться финансово, как у нас. Любое правительство несколькими росчерками пера могло бы сделать бездетность столь же тягостным экономическим бременем, каким сегодня является большая семья, но ни одно правительство не сделало этого из-за невежественных представлений, будто рост населения означает рост безработицы. Куда более решительно, нежели предлагалось кем-либо до сих пор, следует перестроить налоговую политику с целью поощрения деторождения и избавления

молодых матерей от необходимости работать за пределами дома. Это потребует и регулирования квартирной платы, улучшения общественных детских садов и детских площадок, строительства лучших и более удобных домов. Потребуется это, видимо, также расширения и улучшения бесплатного образования, чтобы непомерно высокая плата за обучение не лишала семьи среднего класса возможностей существования.

Прежде всего необходимо выровнять ситуацию экономически, но необходим и перелом во взглядах. Слишком естественным стало казаться в Англии последних тридцати лет, что жильцам с детьми не сдаются квартиры, что парки и скверы обносятся оградами, за которые запрещается вход с детьми, что аборт, формально запрещенный законом, воспринимается как мелкие грешки и что коммерческая реклама ставит основной целью пропаганду «весёлой жизни» и вечной молодости. Даже раздуваемый прессой культ животных и тот, видимо, внес свою лепту в сокращение рождаемости. Да и власти до самого недавнего времени не придавали этой проблеме серьезного значения. Сегодня в Британии на полтора миллиона меньше детей, чем в 1914 году, и на полтора миллиона больше собак. Но и сейчас, проектируя типовой блочный дом, государство предусматривает в нем лишь две спальни, отводя место в лучшем случае для двоих детей. Всмотревшись в историю периода между войнами, диву даешься, что рождаемость не сократилась еще более катастрофически, чем в действительности. Но она и не поднимется на уровень воспроизводства до тех пор, пока и власть имущие, и человек с улицы не осознают, что дети важнее денег.

Англичан, видимо, меньше, чем другие народы, раздражают классовые различия; они более терпимы к привилегиям и абсурдным пережиткам вроде титулов. Существует, однако, уже упомянутая выше растущая тяга к большему равенству и тенденция к размыванию классовых различий у живущих на сумму меньше 2 000 фунтов в год. В настоящее время этот процесс происходит лишь неосознанно и в значительной степени вызван войной. Вопрос в том, как его ускорить. Ибо даже переход к централизованной экономике, наблюдаемый в той или иной форме во всех странах, за исключением разве что Соединенных Штатов, сам по себе гарантирует большее равенство между людьми. При достижении цивилизацией весьма высокого уровня технического развития классовые различия явно становятся злом. Они не только побуждают огромное количество людей растрачивать жизнь впустую в погоне за положением в обществе, но и в необъятной степени губят таланты и способности. В Англии в руках узкого круга сосредоточено не просто владение собственностью. Дело еще и в том, что одному-единственному классу принадлежит вся власть – как административная, так и финансовая. За исключением горстки «выбившихся из низов» и политиков-лейбористов, нашими судьбами управляют воспитанники дюжины частных школ и двух университетов. Нация полностью использует свой потенциал тогда, когда каждый способен получить работу, к которой пригоден. Достаточно вспомнить лишь некоторых, занимавших исключительно важные посты на протяжении последних двадцати лет, чтобы задаться вопросом, какая постигла бы их участь, родись они в семьях рабочих, и сразу станет ясно, что в Англии дело подобным образом не обстоит.

Более того, классовые различия постоянно подрывают моральный дух как в войну, так и в мирное время, и тем в большей степени, чем сознательнее и образованнее становятся в массе своей люди. Слово «они», всеобщее чувство, что «они» держат в руках всю власть и принимают все решения, что прямых и ясных способов воздействия на «них» не существует, во многом осложняют жизнь Англии. В 1940 году «они» проявили явную тенденцию уступить место понятию «мы», и давно пора придать этой тенденции необратимый характер. Очевидна необходимость принятия трех мер, результаты которых сказались бы через несколько лет.

Во-первых, балансирование доходов. Нельзя допустить возрождения вопиющего материального неравенства, существовавшего в Англии до войны. Выше определенного предела, четко устанавливаемого по отношению к низшему уровню заработной платы, все доходы должны облагаться аннулирующими их налогами.

Теоретически по крайней мере это уже произошло и принесло благотворные результаты. Вторая необходимая мера – дальнейшая демократизация образования.

Полностью унифицированная система образования вряд ли желательна. Одним высшее образование идет на пользу, другим – нет. Необходима дифференциация гуманитарного и технического образования, необходимо сохранить и несколько независимых экспериментальных школ. Но обучение детей до десяти-двенадцати лет в одинаковых школах должно стать обязательным, как это стало уже в ряде стран. В этом возрасте уже возможно отделить более одаренных детей от менее одаренных, но единая общеобразовательная система на раннем этапе обучения позволит вырвать один из глубочайших корней снобизма.

В качестве третьей меры необходимо очистить английский язык от кастовых ярлыков, стирание местных диалектов нежелательно, но должна быть найдена фонетическая норма, которая носила бы явно общенациональный характер, а не просто копировала манерный выговор высших классов, как делают дикторы Би-Би-Си. Этому общенациональному произношению, выработанному на базе кокни либо одного из северных диалектов, обучались бы все дети. После чего они могли бы, да в ряде регионов страны так оно бы и произошло, вернуться к своим местным диалектам, но умея при желании владеть нормативным английским. «Клейменных языков» тогда бы не осталось. И было бы невозможно, как невозможно в США и некоторых европейских странах, определить социальное положение человека по его произношению.

Нуждаемся мы и в ослаблении централизации. Во время войны возродилось английское сельское хозяйство, и это возрождение способно продолжаться, но англичане по-прежнему остаются чрезмерно сконцентрированным в городах народом. Более того, в стране чрезмерно централизована культура. Дело не только в том, что практически вся Британия управляется из Лондона, но и в том, что чувство принадлежности к родному краю, к Восточной Англии, скажем, или к западным графствам, на протяжении последнего столетия значительно ослабло, как и чувство принадлежности к английскому народу в целом.

Фермер обычно стремится в город, провинциальный интеллигент стремится в Лондон. И в Шотландии, и в Уэльсе существуют националистические движения, но базируются они на недовольстве Англией, вызванном экономическими причинами, нежели на истинно местном патриотизме. Не существует и никакого значимого литературно-художественного движения, истинно независимого от Лондона и университетских городов.

Неясно, можно ли полностью повернуть вспять эту тенденцию к централизации, но в значительной степени можно ее сдержать. И Уэльс, и Шотландия могли бы иметь гораздо большую автономию, чем сегодня. Провинциальные университеты должны быть лучше оборудованы, а газеты – субсидироваться. (В настоящее время всю Англию «освещают» восемь лондонских газет. За пределами Лондона не выходит ни одной газеты с большим тиражом и ни одного первоклассного журнала.)

Поощрить людей, особенно молодых и талантливых, не покидать сельскую местность, было бы значительно легче, имей фермеры лучшие жилищные условия, будь населенные пункты в сельской местности более цивилизованы, а междугородные автобусные

перевозки лучше налажены. Прежде всего чувства любви к родному краю должны прививаться школой. Для каждого школьника должны быть естественными познания в области истории и топографии своего графства. Люди должны гордиться своим краем, считать его природу, архитектуру и даже кухню лучшими в мире. И подобные чувства, действительно существующие в некоторых районах севера, но утраченные почти по всей Англии, скорее способствовали бы укреплению национального единства, чем его ослаблению.

Выше уже отмечалось, что свобода слова в Англии отчасти выжила по глупости. Люди оказались недостаточно интеллектуальны, чтобы выискивать еретиков. Никто не хочет, чтобы они утратили терпимость либо обрели политическую изоционность, повсеместную в догитлеровской Германии или допетеновской Франции, ибо результаты хорошо известны. Но инстинкты и традиции, на которые опираются англичане, сослужили наилучшую службу в те времена, когда англичане были счастливым народом, защищенным от больших несчастий географическим положением. В двадцатом же веке узость интересов среднего человека, достаточно низкий уровень английского образования, пренебрежение к «высоколобым» и почти всеобщая глухота к эстетическим ценностям чреваты серьезными проблемами.

Об отношении аристократов к «высоколобым» можно судить по наградным спискам. Аристократы придают большое значение титулам, но интеллигенты никогда не удостоиваются высших отличий. За редким исключением, ученому не подняться выше баронетства, а писателю – выше рыцарского звания. Но и у человека с улицы отношение не лучше. Мысль о том, что Англия ежегодно тратит миллионы на пиво и футбольный тотализатор, в то время как научные исследования задыхаются от нехватки фондов, несколько его не тревожит, как не тревожит и мысль о том, что нам хватает средств на бесчисленное множество ипподромов, но не хватает даже на один национальный театр. В период между войнами Англия терпела неслыханно тупые газеты, фильмы и радиопередачи, в свою очередь способствовавшие дальнейшему отупению публики, уводя ее от жизненно важных проблем. Эта тупость английской прессы отчасти искусственного происхождения и вызвана тем, что газеты живут рекламой потребительских товаров.

Во время войны газеты стали намного умнее, не потеряв при этом аудиторию, и миллионы людей читали издания, которые совсем недавно отвергли бы как чересчур «высоколобые». Дело не только в общем низком уровне вкусов, дело во всеобщем неведении того, что и эстетические соображения могут иметь существенное значение. Обсуждая, например, вопросы застройки и городского планирования, никто и в расчет не берет категорий красоты или уродства. Англичане страстно любят цветы, садоводство и «природу», но это – лишь проявление их подспудной тяги к сельской жизни. В целом же они несколько не возражают против «ленточной застройки», грязи и хаоса промышленных городов, с легкой душой захламляют леса бумажными упаковками, а в ручьях и прудах устраивают свалку консервных банок и велосипедных рам. И, разинув рот, внимают любому писаке, призывающему их руководствоваться чутьем и презирать «высоколобых».

Одним из последствий этого стала растущая изоляция британской интеллигенции. Английские интеллектуалы, особенно молодые, настроены по отношению к своей стране резко враждебно. Можно, разумеется, найти и исключения, но в целом каждый, кто предпочитает Т. С. Эллиота Альфреду Нойесу, презирает Англию, либо считает себя обязанным ее презирать. Требуется немалое мужество, чтобы высказывать пробританские взгляды в «просвещенных» кругах. Но при этом на протяжении десятка последних лет складывалась стойкая тенденция к неистовому националистическому обожанию какой-либо чужой страны, чаще всего – Советской

России. Этому, пожалуй, так или иначе суждено было случиться, ибо капитализм ставит гуманитарную и даже научную интеллигенцию в положение, при котором ее обеспеченность не сочетается с особой ответственностью. Но в Англии отчуждение интеллигенции усугубляется филистерством общества. И общество чрезвычайно много теряет, ибо в итоге люди с наиболее острым видением – то есть те, например, кто распознал гитлеровскую опасность десятью годами ранее наших политических лидеров, – теряют контакт с массами и все больше и больше остывают к проблемам Англии.

Англичане никогда не станут нацией мыслителей. Они всегда будут отдавать предпочтение инстинкту, а не логике, характеру, а не разуму. Но от открытого презрения к «умничанью» им придется отказаться. Они не могут его себе больше позволить. Англичанам следует убавить терпимости к уродству и больше развивать предприимчивость ума. И они должны перестать презирать иностранцев. Они – европейцы, о чем и должны помнить. В то же время у них есть особые связи с другими англоговорящими народами, а также особые имперские обязанности, которыми им следовало бы заниматься глубже, чем они делали последние двадцать лет. Интеллектуальная атмосфера Англии уже значительно оживилась по сравнению с прошлым. Война если и не покончила с определенного рода глупостями, то нанесла им серьезный удар. Но сохраняется потребность в сознательных усилиях по перевоспитанию нации. Первый шаг – улучшение начального образования, для чего следует не только увеличить количество лет обучения, но и обеспечить начальные школы адекватным персоналом и оборудованием. Существует и необъятный образовательный потенциал радио и кино, а также – если освободить ее раз и навсегда от всех коммерческих интересов – прессы.

Таковыми представляются непосредственные нужды английского народа. Англичанам следует быстрее размножаться, лучше работать и, пожалуй, проще жить, глубже мыслить, избавиться от снобизма и анахроничных классовых различий, уделять больше внимания внешнему миру и меньше – собственным задворкам. Англичане в большинстве своем и так любят родину, но должны научиться любить ее разумно. Им следует четко осознать свое предназначение и не слушать ни тех, кто убеждает их, что с Англией все кончено, ни тех, кто убеждает их, что может воскреснуть Англия вчерашнего дня.

Сделав это, англичане сумеют найти свое место в послевоенном мире, а найдя его, подадут пример, которого ждут миллионы. Мир устал от хаоса и устал от диктатур. Англичане более прочих народов способны найти выход, позволяющий избежать и того и другого. За исключением незначительного меньшинства, англичане полностью готовы к необходимым коренным изменениям в экономике, в то же время не испытывая ни малейшей тяги ни к насильственным революциям, ни к иностранным завоеваниям. Англичане, пожалуй, уже лет сорок как знают то, что немцы и японцы усвоили совсем недавно, а русским и американцам еще усвоить предстоит, – что одной стране не под силу править миром. Прежде всего англичане хотят жить в мире как внутри страны, так и за ее пределами. И в массе своей, пожалуй, готовы на жертвы, которых потребует установление мира.

Но англичанам придется стать хозяевами собственных судеб. Лишь тогда Англия сумеет выполнить свое особое предназначение, когда рядовой англичанин с улицы каким-то образом возьмет в свои руки власть. Во время этой войны нам то и дело твердили, что на сей раз, когда минет опасность, не должны быть упущены возможности, не должно быть возврата к прошлому. Не будет больше застоя, взрываемого войнами, не будет больше «роллс-ройсов», катящих мимо очередей за пособием, не будет возврата к Англии районов массовой безработицы, бесконечно

заваривающегося чая, пустых детских колясок. Мы не можем быть уверены, что эти обещания будут выполнены. Только мы сами можем добиться их осуществления, а если нет, то иного шанса у нас может и не быть. Последние тридцать лет мы год за годом растрчивали кредит, полученный в счет запасов доброй воли английского народа. Но запас этот небеспредель. К концу следующего десятилетия станет ясным, суждено Англии выжить как великой державе или нет. И если ответом будет «да», то обеспечить это предстоит простому народу.

(Эссе «Англичане» было заказано в сентябре 1943 года издательством «Коллинз» для серии «Британия в иллюстрациях» и написано в мае 1944 года, хотя опубликовано лишь в августе 1947 года. Задержка публикации вынудила издателя в 1946 году изменить время ряда ссылок. В варианте, опубликованном здесь, они были восстановлены в настоящем времени.)

1944 г.

#### ЗАМЕТКИ О НАЦИОНАЛИЗМЕ

(Перевод В. Мисюченко, В. Недошивина)

Как-то, употребив французское слово «longueur»[35], Байрон походя заметил, что хотя у нас в Англии нет такого слова, зато в достатке есть само явление. Точно так же есть склад мышления, который ныне распространен настолько, что влияет на наши суждения почти по любому поводу, но которому до сих пор не дано своего имени. Я выбрал для него самый близкий из существующих эквивалентов – слово «национализм», но читатель очень скоро убедится, что я употребляю его в не совсем привычном смысле, хотя бы только потому, что чувство, о котором я веду речь, не всегда связано с тем, что называется нацией, то есть с какой-либо определенной расой или географической территорией. Оно может связываться с церковью или классом или может иметь чисто негативный смысл, быть просто направленным против чего-либо, вовсе не нуждаясь в том, чтобы отстаивать какую бы то ни было позитивную идею.

Под «национализмом» я прежде всего имею в виду привычку считать, что человеческие существа можно классифицировать, как насекомых, и что к миллионам, а то и к десяткам миллионов людей могут быть, ничтоже сумняшеся, приклеены ярлыки «хорошие» или «плохие»[36].

Во-вторых, – и это куда важнее – я имею в виду привычку человека отождествлять самого себя с одной-единственной нацией или какой-либо другой группой и ставить ее выше добра и зла, не признавая за собой никакого иного долга, кроме служения ее интересам. Национализм не следует путать с патриотизмом. Оба этих слова обычно употребляются настолько неопределенно, что любые их толкования будут оспаривать; нельзя, однако, смешивать эти понятия, поскольку в основе их лежат две разные и даже исключают одна другую идеи. Под «патриотизмом» я понимаю приверженность человека к определенному месту и определенному образу жизни, которые он считает лучшими в мире, но при этом не имеет желания навязать их силой другим людям. Патриотизм, по самой природе своей, имеет оборонительный характер как в военном, так и в культурном отношении. Национализм же, напротив, неотделим от стремления к власти. Каждый националист неизменно стремится достичь все большей власти и большего престижа, но не для себя, а для нации или иной группы, в которой он решил растворить собственную индивидуальность.

Коль скоро речь заходит о наиболее одиозных и легко опознаваемых



националистических движениях в Германии, Японии и других странах, все это самоочевидно. А столкнувшись с таким феноменом, как нацизм, который мы имеем возможность наблюдать со стороны, едва ли не каждый из нас скажет о нем то же самое. Но здесь я должен повторить то, что уже сказал: я пользуюсь термином «национализм» только из-за отсутствия лучшего. Национализм в широком смысле, в каком я употребляю это слово, включает в себя и такие движения и направления, как коммунизм, политический католицизм, сионизм, антисемитизм, троцкизм и пацифизм. Это необязательно означает верность какому-либо правительству или стране, еще менее обязательно – верность своей собственной стране, и даже не всегда обязательно, чтобы группы, в которые верит националист, существовали на самом деле. Вот несколько очевидных примеров: еврейство, ислам, христианство, пролетариат, белая раса – все это объекты страстных националистических чувств, но существование их можно серьезно оспаривать, и ни одному из этих понятий не дано определения, которое принималось бы всеми и повсеместно.

Есть смысл еще раз подчеркнуть, что националистические чувства могут быть чисто негативными. Есть, например, троцкисты, которые стали просто врагами СССР, не став при этом приверженцами какой-либо другой группы. Постигнув суть этого примера, вы лучше поймете, что я имею в виду, говоря о национализме. Националист – это тот, кто думает исключительно или в основном категориями состязательного престижа. Он может быть позитивным или негативным националистом, то есть он может использовать собственную интеллектуальную энергию для возвеличивания или унижения, но в любом случае его мысли всегда направлены на победы или поражения, триумфы или унижения. Он рассматривает историю, особенно современную историю, как бесконечные взлеты и падения великих общественных группировок, и в каждом происходящем событии ему видится, что его сторона побеждает, а ненавистный противник проигрывает. Но важно также не путать национализм с простым обожествлением успеха. Националиста нельзя упрекнуть просто в приверженности выгодному принципу объединения с сильнейшим. Напротив, встав на ту или иную сторону, он уверяет себя, что она-то и есть сильнейшая, и способен придерживаться этого убеждения, даже когда факты абсолютно против него. Национализм – это жажда власти, приправленная самообманом. Каждый националист способен на самую вопиющую бесчестность, но в то же время (поскольку считает, что служит чему-то большему, чем он сам) он непоколебимо уверен в собственной правоте.

Теперь, когда я изложил свое столь длинное определение, думаю, можно согласиться, что стереотип мышления, о котором я веду речь, широко распространен среди английской интеллигенции и более свойствен ей, чем народным массам. Ибо для тех, кто глубоко заинтересован в современной политике, некоторые темы оказываются настолько зараженными соображениями престижа, что подлинно рациональный подход к ним становится почти невозможен. Из сотен примеров возьмем такой: «Кто из трех великих держав-союзниц – СССР, Британия или США – внес самый большой вклад в поражение Германии?» Теоретически можно дать на это здравый и даже исчерпывающий ответ. На практике, однако, необходимые расчеты здесь невозможны, поскольку каждый, решивший заняться этим вопросом, неизбежно начнет трактовать его с точки зрения состязательного престижа. Он сначала решит этот вопрос в пользу России, Британии или Америки и только потом начнет подбирать аргументы, которые, по его мнению, доказывают его точку зрения. И существует масса подобных вопросов, на которые вы можете получить честный ответ только от того, кому безразличен затронутый предмет и чье мнение, возможно, в любом случае никому не нужно. Отсюда, отчасти, заметное падение в наше время политического и военного предвидения. Примечательно, что среди «экспертов» всех направлений не нашлось ни одного, кто бы оказался способен предсказать такое вероятное событие,

как русско-германский пакт 1939 года[37]. А когда грянуло сообщение о пакте, то посыпались расходящиеся самым коренным образом толкования, высказывались предположения, которые почти сразу же опровергались, поскольку почти в каждом случае они были основаны не на изучении вероятностей, а на желании представить СССР хорошим или плохим, сильным или слабым. Политические или военные комментаторы, как астрологи, могут пережить едва ли не любую ошибку, потому что их наиболее преданные последователи обращаются к ним не за оценкой фактов, а для того, чтобы стимулировать свои националистические привязанности[38]. Эстетические суждения, особенно литературные, искажаются так же, как и политические. Индийскому националисту трудно наслаждаться чтением Киплинга, а консерватору трудно увидеть достоинства в Маяковском, и всегда существует искушение объявить любую книгу, с чьим направлением ты не согласен, непременно плохой книгой именно с литературной точки зрения. Люди сильных националистических убеждений очень часто скатываются к подобной эквилибристике, не считая себя при этом бесчестными.

В Англии, если исходить из количества вовлеченных людей, возможно, доминирующей формой национализма является старомодный британский ура-патриотизм. Несомненно, что и сегодня он широко распространен, и может быть, даже гораздо шире, чем могло бы предположить большинство обозревателей десяток лет назад. Однако в данном эссе я рассматриваю в основном реакцию интеллигенции, среди которой ура-патриотизм или даже патриотизм старого типа почти мертвы, хотя ныне они, кажется, оживают у незначительной ее части. Едва ли стоит напоминать, что среди интеллигенции сегодня основной формой национализма является коммунизм – если употреблять это слово в очень широком смысле, включая сюда не просто членов коммунистической партии, но и «попутчиков», и вообще русофилов. Коммунистом в этом эссе я буду называть того, кто смотрит на СССР как на свою отчизну, кто считает своим долгом оправдывать политику русских и любой ценой служить русским интересам. Совершенно очевидно, что таких людей много в сегодняшней Англии и их прямое и косвенное влияние очень велико. Но процветает и множество других форм национализма, и, чтобы лучше разобраться в этом вопросе, необходимо выделить точки соприкосновения различных и даже на первый взгляд противоположных течений мысли.

Десять или двадцать лет назад формой национализма, которая более всего соответствовала сегодняшнему коммунизму, был политический католицизм. Свое самое выдающееся выражение он нашел в Г. Честертоне, хотя этот писатель представлял собой скорее экстремальный, чем типический случай. Честертон, писатель большого таланта, предпочел подавить как собственное здравомыслие, так и интеллектуальную честность ради пропаганды римской католической церкви. В последние двадцать лет жизни Честертон все свое творчество, в общем-то, обратил в бесконечное повторение одной и той же темы, которая, несмотря на всю вымученную искусность, была проста и скучна, как утверждение: «Великое есть Диана Эфесская». Каждая книга, которую он написал, каждый абзац, каждое предложение, каждый поворот сюжета в каждом рассказе, каждый фрагмент диалога – все в его произведениях было призвано безошибочно продемонстрировать превосходство католиков над протестантами или язычниками. Но Честертону мало было считать это превосходство только интеллектуальным или духовным, его необходимо было перевести в категории национального престижа и военной мощи, что и повлекло за собой дилетантскую идеализацию латиноязычных стран, и особенно Франции. Честертон недолго жил во Франции, и его описания ее как страны католических крестьян, непрерывно поющих Марсельезу за стаканами красного вина, имеют примерно такое же отношение к реальности, как Синдбад-Мореход к повседневной жизни Багдада. В результате он не только колоссально переоценил французскую военную мощь (и до и после войны 1914–

1918 годов Честертон считал, что Франция сама по себе сильнее Германии), но и вульгарно, глупо прославлял сам процесс войны. После военных стихов Честертона, таких, как «Липанто» или «Баллада Святой Барбары», «Атака легкой бригады» Киплинга читается как пацифистское произведение, – возможно, это самые безвкусные и напыщенные стихи на английском языке. Нельзя не сказать, что, если бы вся эта романтическая чепуха, которую он привычно писал о Франции и французской армии, была бы написана кем-нибудь о Британии и британской армии, Честертон первым бы все это высмеял. Во внутренней политике он был противником имперских амбиций, подлинным ненавистником ура-патриотизма и империализма и, в меру своих сил и возможностей, настоящим другом демократии. Стоило ему, однако, заговорить о международных делах, как он готов был пожертвовать своими принципами, даже не замечая этого. Так, его почти мистическая вера в преимущества демократии не помешала ему восхищаться Муссолини. Муссолини уничтожил представительное правительство и свободу печати, за которую у себя дома так упорно боролся Честертон, но Муссолини был итальянцем, он сделал Италию сильной, и это определяло все. Точно так же Честертон никогда ни словом не осуждал империализма и порабощения цветных рас, если это практиковали итальянцы или французы. Его чувство реальности, его литературный вкус и даже в какой-то мере мораль изменяли ему, как только затрагивались его националистические привязанности.

Совершенно очевидно, что существует значительное сходство между политическим католицизмом, нашедшим свое выражение в Честертоне, и коммунизмом. Точно так же, как между ними и, например, шотландским национализмом, сионизмом, антисемитизмом или троцкизмом. Конечно, было бы свехупрощением считать, что все формы национализма одинаковы, даже по своей духовной атмосфере, но существуют определенные правила, которые во всех случаях верны. Вот основные черты националистического мышления.

Одержимость. Насколько это только возможно, ни один националист никогда не думает, не говорит и не пишет ни о чем, кроме превосходства своей собственной группировки. Любому националисту трудно, если вообще возможно, скрыть свою причастность к группировке. Малейшая тень, брошенная на его группировку, или любая похвала по адресу враждебной организации выводят его из себя, и избавиться от этого чувства он может, только дав решительный отпор. Если выбранная националистом группировка является реальной страной, скажем Ирландией или Индией, он готов твердить о ее превосходстве не только в военной мощи и политической добродетели, но и о превосходстве в искусстве, литературе, спорте, структуре языка, физической красоте ее жителей, а может быть, даже в климате, ландшафтах и кухне. Националист обязательно продемонстрирует огромную чувствительность в таких вещах, как правильное развешивание флагов, сравнительный размер заголовков и порядок перечисления различных стран[39]. Терминология играет существенную роль в националистическом мышлении. Страны, которые добились независимости или пережили националистическую революцию, обычно меняют свои названия, а страна или какая-либо другая группировка, вокруг которых бушуют страсти, как правило, имеют сразу несколько названий, каждое из которых имеет свой подтекст. Обе стороны в гражданской войне в Испании имели вместе девять или десять названий, выражавших различные степени как любви, так и ненависти. Некоторые из них (например, «патриоты» – для сторонников Франко или «лоялисты» – для тех, кто поддерживал правительство), несомненно, вызывали вопросы, но среди них не было ни одного, которое обе враждующие группировки согласились бы употреблять. Все националисты считают долгом распространять свой собственный язык в ущерб языку противника; между англоязычными людьми эта борьба сегодня выражается в более мягкой форме соперничества диалектов. Любой

американский англофоб откажется пользоваться жаргонным выражением, если узнает, что происхождение его британское, и конфликт между латинистами и германистами – чаще всего конфликт националистических мотивов. Шотландские националисты настаивают на превосходстве южных шотландцев, а социалисты, чей национализм принимает форму классовой ненависти, протестуют против произношения дикторов Би-Би-Си и даже открытого «а». Примеры можно умножить. Националистическое мышление часто кажется окрашенным верой в добрую магию, верой, которая, возможно, возникла из широко распространенного обычая сжигать изображения политических противников или делать из их портретов мишени в тире.

Нестабильность. Степень горячности, с которой обычно держатся за националистические привязанности, не мешает националистам менять свои пристрастия. Начнем с того, что, как я уже упоминал, привязанности эти могут быть (и часто оказываются на деле) связаны с какой-то иностранной державой. Очень часто великие национальные лидеры или основатели националистических движений даже не принадлежат к той стране, которую они прославили. Иногда они просто иностранцы, или, что чаще, выходцы из периферийных районов, и их национальность сомнительна. Примерами могут служить Сталин, Гитлер, Наполеон, Де Валера, Дизраэли, Пуанкаре, Бивербрук. Пангерманское движение частично обязано своим возникновением англичанину Хьюстону Чемберлену. За последние 50–100 лет смена форм национализма была обычным явлением среди литературных интеллектуалов. Ловкадио Херни переметнулся к увлечению Японией, Карлейль и многие другие его современники – Германией, а в наш век, как правило, склоняются к России. Впрочем, существует и другой очень любопытный факт: в истории возможен и обратный переход. Страна или другая группировка, которые годами обожествлялись, вдруг становятся отвратительными, а их место в сознании людей почти сразу же заменяет новый объект поклонения. В первом варианте «Наброска истории» Г. Уэллса, да и в других его произведениях того периода, заметно, что Соединенные Штаты превозносятся столь же неумеренно, как сегодня восхваляется коммунистами Россия; и тем не менее всего через несколько лет это некритическое восхищение превратилось во враждебность. Коммунист-фанатик, который в течение недель, а то и дней обращается в столь же фанатичного троцкиста, – самое обычное явление. В континентальной Европе фашистские движения очень часто набирали сторонников из коммунистов, хотя всего через несколько лет может так же возникнуть и обратный процесс. Неизменным в националисте остается состояние его ума; объект его чувств может меняться, а иногда и вообще выдумываться.

Впрочем, для интеллектуала эти переходы имеют важную функцию, о которой я уже упоминал коротко в связи с Честертоном. Они позволяют ему быть гораздо более националистичным – более вульгарным, более глупым, более злобным, более бесчестным, – чем он мог быть, если бы все его чувства относились к собственной стране или группировке, которую он реально знает. Когда читаешь раблепную или просто хвастливую чепуху, которая пишется о Сталине, Красной Армии и т. д. достаточно интеллигентными и умеющими чувствовать людьми, то понимаешь – такое возможно только потому, что имеет место своего рода умственный вывих. В обществе вроде нашего не принято для любого, кто считается интеллигентом, чувствовать привязанность к собственной стране. Общественное мнение, то есть та часть общественного мнения, о которой он, как интеллектуал, обычно осведомлен, не позволит ему сделать это. Большинство людей, окружающих его, настроены скептически и критически, а наш интеллектуал может усвоить такое же отношение из конформизма или просто из трусости – в этом случае он откажется от такой формы национализма, которая ему ближе, но при этом ни на шаг не приблизится к подлинному интернационализму. У него остается потребность в Отечестве, и естественно он начинает искать его где-то за рубежом. Найдя же таковое,

интеллектуал может без удержу погружаться в те самые чувства, от которых, как ему кажется, он избавился. Бог, король, империя, Юнион-Джек – все эти свергнутые идола могут опять возникнуть под другими именами, и, поскольку они не осознаются тем, что они есть на самом деле, в них можно верить с чистой совестью. Переходный, перенесенный национализм позволяет найти козла отпущения, то есть обрести спасение, не меняя собственного поведения.

Безразличие к реальности. Все националисты умеют не видеть сходства между аналогичными фактами. Британский тори будет защищать идею самоопределения в Европе и одновременно выступать против нее в Индии, совершенно не чувствуя своей непоследовательности. Любое действие будет расцениваться им как хорошее или плохое не по действительному достоинству, а в зависимости от того, кто его осуществляет. Практически нет таких нарушений законности – пыток, использования заложников, принудительного труда, массовых депортаций, тюремного заключения без суда, подлогов, убийств, бомбардировок гражданских объектов, – которые не меняют своей моральной окраски, если их совершает «наша» сторона. Либеральная «Ньюс кроникл» опубликовала как пример дичайшего варварства фотографию русских, повешенных немцами, а затем, год или два спустя, с чувством теплой симпатии поместила на своих страницах почти такие же снимки немцев, повешенных русскими[40]. То же самое происходит и с историческими событиями. История в значительной степени рассматривается в националистических категориях, и такие явления, как инквизиция, пытки Звездной палаты, подвиги английских пиратов (сэр Фрэнсис Дрейк, например, который любил сдирать кожу с живых испанских пленников), Царство террора, «герои» подавления восстания сипаев, которые расстреляли сотни индусов, привязав их к жерлам пушек, или солдаты Кромвеля, которые полосовали лица ирландок лезвиями бритв, часто становятся в моральном отношении событиями нейтральными, а иногда и доблестными, когда считается, что делается это во имя «правого» дела. Если оглянуться на последние двадцать пять лет, то с трудом найдешь хотя бы год, когда не сообщалось бы о тех или иных зверствах в какой-либо стране. И все же ни в одно из преступлений – в Испании, России, Китае, Венгрии, Мексике, Амритсаре, Смирне – английская интеллигенция в целом не верила и ни одно из них не осуждала. Были ли эти действия достойны осуждения и даже происходили ли они вообще – все это решалось в зависимости от политических склонностей.

Националист не только не осуждает преступления, совершаемые его собственной стороной, но обладает замечательным свойством вообще не слышать о них. Целых шесть лет английские обожатели Гитлера предпочитали не знать о существовании Дахау и Бухенвальда. А те, кто громче всех поносил немецкие концлагеря, часто были в абсолютном неведении или лишь догадывались, что концлагеря есть и в России. Огромные по масштабам события, вроде голода на Украине в 1933 году, который унес жизни миллионов людей, фактически прошли мимо внимания большинства английских русофилов. Многие англичане почти ничего не слышали об уничтожении немецких и польских евреев во время войны. Их собственный антисемитизм привел к тому, что сообщения об этом страшном преступлении не могли проникнуть в их сознание. В националистическом мышлении существуют факты, которые одновременно являются правдивыми и неправдивыми, известными и неизвестными. Известный факт может быть столь непереносимым, что его привычно отодвигают в сторону и не берут в расчет; или, наоборот, его всегда учитывают, но он тем не менее никогда не признается за факт, даже мысленно.

Каждого националиста неотступно преследует убеждение, что прошлое можно менять. Он подолгу живет в некоем фантастическом мире, в котором события совершаются так, как им следовало бы, в котором, к примеру, испанская армада добивается

успеха или русская революция сокрушается в 1918 году, – и националист, если ему представится такая возможность, обязательно перенесет часть своих мечтаний в исторические книги. Большое число пропагандистских писаний нашего времени является всего-навсего подделкой. Факты замалчивают, даты меняют, цитаты вырывают из контекста и препарируют так, что смысл их совершенно меняется. События, которые, по мнению националистов, не должны были иметь места, не упоминаются, а в конце концов отрицаются полностью[41]. В 1927 году Чан Кайши заживо сварил сотни коммунистов, и тем не менее через десять лет он стал одним из героев именно среди левых. Перегруппировка сил на международной арене привела его в антифашистский лагерь, а раз так, значит, и сваренные коммунисты «не считаются» или считается, что их вообще не было. Основная цель пропаганды – это, конечно, воздействие на общественное мнение в данный момент, но те, кто переписывает историю, возможно, и в самом деле верят, хотя бы частичкой своего сознания, что им удастся задним числом вставить в прошлое нужные факты. Если рассматривать, например, все искусные подтасовки, с помощью которых пытались показать, что Троцкий не играл заметной роли в гражданской войне в России, то трудно отделаться от впечатления, что люди, ответственные за это, просто-напросто лгут. Скорее всего, они верят, будто их версия и есть именно то, что происходило пред лицом господним, и что, следовательно, подобное переписывание истории вполне оправданно.

Безразличие к объективной истине поощряется отгораживанием одной части мира от другой, из-за чего все труднее и труднее узнать, что происходит на самом деле. Тут могут появляться вполне оправданные сомнения даже в отношении самых грандиозных событий. Например, невозможно подсчитать с точностью до миллионов или даже десятков миллионов число жизней, унесенных войной. Бедствия, о которых постоянно сообщалось: сражения, бойни, голод, революции, – все это вело к формированию у среднего человека чувства нереальности. Не было никаких способов проверить эти факты, не было уверенности даже, что они вообще происходили, ибо сообщения шли из разных источников и всегда – в совершенно разной интерпретации. Что правда, а что неправда в сообщениях о Варшавском восстании августа 1944 года? Правду ли сообщали о немецких газовых печах в Польше? Кто в действительности повинен в голоде в Бенгалии? Не исключено, конечно, что правду найти можно, но факты, представленные почти любой газетой, будут поданы настолько нечестно, что обыкновенного читателя можно простить и за то, что он проглотил ложь, и за то, что у него не будет собственного мнения. Общая неопределенность относительно того, что же происходит на самом деле, легко склоняет людей к самым сумасшедшим верованиям. Поскольку ничто никогда полностью не доказывается и не опровергается, можно бесстыдно отрицать самый безошибочный факт. Более того, все время размышляя о власти, победах, поражениях, мести, националист нередко не очень-то стремится знать, что же происходит в мире реальном. Ему лишь нужно чувствовать, что его группировка опережает какую-то другую, и легче всего этого добиться, выигрывая у противника, а не анализируя факты, чтобы убедиться, что они подтверждают его точку зрения. Все националистические споры остаются на уровне дискуссионных клубов. Они почти всегда неубедительны, поскольку каждый участник дебатов неизменно считает себя победителем. Некоторые националисты недалеки от шизофрении; они совершенно счастливы, живя в мечтаниях о власти и победах, которые не имеют к окружающему никакого отношения.

Насколько смог, я рассмотрел духовные стереотипы, которые присущи всем формам национализма. Теперь следует классифицировать эти формы, хотя совершенно очевидно, что такая классификация не может быть полной. Национализм – обширнейшее явление. Мир мучают заблуждения и ненависть, сплетенные в запутанный

клубок, а некоторые, наиболее зловещие из них, все еще не затронули сознание европейцев. В этом эссе меня интересует национализм, который наличествует среди английской интеллигенции. У интеллигенции куда чаще, чем среди простых англичан, национализм не смешан с патриотизмом, и, таким образом, его можно изучать в чистом виде. Ниже я перечисляю разновидности национализма, процветающие ныне среди английских интеллектуалов, и сопровождаю их комментарием. Для удобства я использую три подзаголовка: позитивный, переходный и негативный национализм, хотя некоторые разновидности можно включить более чем в один раздел.

#### Позитивный национализм

1. Неоторизм. Представлен такими личностями, как лорд Элтон, А. П. Герберт, Дж. М. Янг, профессор Пикторн, литературой Реформистского комитета тори и такими журналами, как «Нью инглиш ревью», а также «Найнтинс сенчури энд афтер». Подлинной движущей силой неоторизма, придающей ему националистический характер и отличающей его от обычного консерватизма, является желание не признавать, что британское могущество и влияние пришли в упадок. Даже те, кто мыслит достаточно реалистично и может понять, что военные позиции Британии уже не те, какими они были, стремятся все-таки утверждать, что «английские идеалы» (что это такое, обычно не говорят) должны господствовать в мире. Все неотористы настроены антирусски, но иногда основной упор они делают на антиамериканизм. Знаменательно, что эта школа мысли приобретает, по-видимому, влияние среди молодых интеллектуалов, иногда бывших коммунистов, которые прошли обычный путь разочарования и разочаровались в коммунизме. Достаточно распространена среди неотористов фигура англофоба, который неожиданно превратился в рьяного пробританца. Писателями, которые могли бы проиллюстрировать такую тенденцию, являются Ф. А. Войт, Малькольм Маггеридж, Ивлин Во и Хью Кингсмилл, психологически схожее развитие можно наблюдать у Т. С. Элиота, Уиндема Льюиса и их различных последователей.

2. Кельтский национализм. Валлийский, ирландский и шотландский национализм имеет различные черты, но они едины в своей антианглийской ориентации. Участники всех трех движений выступали против войны, хотя и продолжали говорить, что настроены прорусски, и эта сумасшедшая грань позволяла им быть одновременно сторонниками и русских, и нацистов. Однако кельтский национализм не то же самое, что англофобия. Движущей силой тут является вера в прошлое и будущее величие кельтских народов, и поэтому такого рода национализм имеет сильный привкус расизма. Кельт считает себя духовно превосходящим саксонца – он проще, более одарен творчески, менее вульгарен, менее сноб и так далее, – но за всем этим скрыта обычная жажда власти. Одним из симптомов этого является заблуждение, что Ирландия, Шотландия и даже Уэльс могут сохранить свою независимость, не прибегая к помощи и ничем не будучи обязанными защите со стороны Британии. Среди писателей, хорошо представляющих эту школу мысли, – Хью Макдиармид и Шон О'Кейси. Ни один современный ирландский писатель, даже масштаба Йитса или Джойса, не свободен полностью от следов национализма.

3. Сионизм. Сионизм обладает всеми обычными чертами националистического движения, но американский вариант его представляется более воинственным и пагубным, чем британский. В своей классификации я помещаю сионизм в раздел прямого, а не переходного национализма, поскольку он процветает почти исключительно среди самих евреев. В Англии, по ряду не очень существенных причин, интеллигенция в большинстве своем настроена проеврейски в палестинском вопросе, но в то же время достаточно равнодушна к нему. Все люди доброй воли в Англии настроены проеврейски в том смысле, что они не одобряли их преследование нацистами. Но любую подлинно националистическую преданность или веру в

прирожденное превосходство евреев весьма трудно обнаружить среди представителей благородного сословия.

Переходный национализм

1. Коммунизм.

2. Политический католицизм.

3. Чувствительность к цвету кожи. Старомодное, презрительное отношение к «туземцам» сильно ослабло в Англии, а различные псевдонаучные теории, подчеркивающие превосходство белой расы, отброшены[42]. Среди интеллигенции чувствительность к цвету кожи проявляется с обратным знаком, то есть существует как уверенность в природном превосходстве цветных рас. Сейчас это становится все более обычным среди английских интеллектуалов, чаще, вероятно, из-за мазохизма и сексуальной фрустрации, чем из-за связи с восточными или негритянскими националистическими движениями. Даже на тех, кто не особенно озабочен «цветным вопросом», снобизм и подражательство оказывают сильное влияние. Едва ли не каждый английский интеллектуал будет скандализован утверждением, что белые расы превосходят цветные, в то же время противоположное утверждение покажется ему несомненным, даже если он с ним не согласен. Националистическая предрасположенность к цветным расам смешана обычно с убеждением в том, что их сексуальная жизнь намного превосходит возможности белых и существует целая подпольная мифология о сексуальной неумоимости негров.

4. Классовое чувство. Среди интеллектуалов высшего и среднего классов это чувство проявляется только с обратным знаком, то есть как вера в превосходство пролетариата. И здесь вновь, внутри интеллигенции, решающим является давление общественного мнения. Националистическая лояльность по отношению к пролетариату и самая злобная теоретическая ненависть к буржуазии могут и часто сосуществуют с обычным снобизмом в повседневной жизни.

5. Пацифизм. Большинство пацифистов или принадлежат к малоизвестным религиозным сектам, или просто являются проповедниками гуманности, которые выступают против пресечения человеческой жизни и в своих рассуждениях предпочитают не идти дальше этого. Существует, однако, меньшинство интеллектуальных пацифистов, подлинным, хотя и непризнаваемым, мотивом которых выступает ненависть к западной демократии и преклонение перед тоталитаризмом. Пацифистская пропаганда обычно сводится к утверждению, что одна сторона так же плоха, как и другая. Но если присмотреться повнимательнее к писаниям молодых пацифистов, то можно обнаружить, что в них нет и следа беспристрастия и что они почти всегда направлены против Британии и Соединенных Штатов. Более того, как правило, они не порицают насилие, как таковое, а только то насилие, которое используется западными странами для своей защиты. Русские, в отличие от британцев, не осуждаются за защиту себя военными средствами, и фактически вся пацифистская пропаганда этого типа избегает упоминания России или Китая. Не утверждается опять-таки, что индийцы должны отказаться от применения силы в своей борьбе против Британии. Пацифистская литература полна двусмысленных намеков, и если они имеют какой-либо смысл, то лишь тот, что государственные деятели типа Гитлера предпочтительнее деятелей типа Черчилля и что насилие, наверное, можно извинить, если оно достаточно насильственно. После падения Франции французские пацифисты, вставшие перед реальным выбором, которого не приходилось делать их английским коллегам, в большинстве своем перешли к нацистам, да и в Англии, по-видимому, число членов союза защиты мира немногим превосходило количество чернорубашечников. Пацифистские писатели воздавали хвалу Карлейлю, одному из интеллектуальных отцов



фашизма. В целом же трудно не почувствовать, что пацифизм в той форме, в какой он проявляется среди интеллигенции, тайно вдохновлялся обожанием власти и победоносной жестокостью. Ошибка состояла в том, что эти чувства связывались с Гитлером, но объект привязанности националиста может быть легко заменен.

#### Негативный национализм

1. Англофобия. Среди интеллигенции ироническое и слегка враждебное отношение к Британии является более или менее обязательным, но во многих случаях это чувство является искренним. Во время войны оно нашло выражение в пораженчестве, которое охватило интеллигенцию и которое существовало и после того, как стало ясно, что державы оси победить не смогут. Многие открыто выражали удовлетворение, когда пал Сингапур или когда британцев вытеснили из Греции, и существовало заметное нежелание верить в хорошие новости, например в Эль-Аламейн или в число немецких самолетов, сбитых в битве за Британию. Английские левые интеллектуалы в действительности, разумеется, не хотели победы немцев или японцев в войне. Но многие не могли отказать себе в удовольствии, которое доставляло им унижение собственной страны, и убеждали себя, что окончательная победа достигнута усилиями России или, возможно, Америки, но никак не Британии. В международной политике многие интеллектуалы следуют принципу, что любая фракция, поддерживаемая Британией, обязательно должна быть не права. В результате «просвещенное» мнение во многом стало зеркальным отражением политики консерваторов. Англофоб всегда способен на «перевертыш», и поэтому столь часто явление, когда пацифист по отношению к одной войне превращается вдруг в ярого поборника войны в другом военном конфликте.

2. Антисемитизм. Сейчас его видимых примет поубавилось, поскольку нацистские преследования заставили каждого думающего человека принять сторону евреев против их угнетателей. Каждый человек, чье образование дало ему возможность услышать слово «антисемитизм», утверждает как само собой разумеющееся, что он не грешит им, а антиеврейские замечания тщательно убираются из всех видов литературы. На самом деле антисемитизм широко распространен даже среди интеллектуалов, и всеобщий заговор умолчания, возможно, способствует лишь ужесточению его. Люди левых взглядов также не свободны от антисемитизма, и на отношения их иногда влияет тот факт, что многие троцкисты и анархисты – евреи. Однако более естествен антисемитизм среди людей консервативного направления, тех, кто подозревает евреев в ослаблении национальной морали и обескровливании национальной культуры. Неотори и политические католики всегда готовы поддаться антисемитизму, во всяком случае на какой-то период.

3. Троцкизм. Это понятие употребляется настолько широко, что включает в себя анархистов, демократических социалистов и даже либералов. Я использую здесь его для обозначения доктринированного марксизма, главной движущей силой которого является враждебность сталинскому режиму. Троцкизм лучше изучать по малоизвестным памфлетам или газетам типа «Соушилист аппил», чем по трудам самого Троцкого, который, вне всякого сомнения, не был человеком одной идеи. И хотя кое-где, например в Соединенных Штатах, троцкизм способен привлечь к себе достаточно большое число сторонников и развиться в организованное движение с собственным маленьким фюрером во главе, вдохновляющая его идея обязательно негативна. Троцкист всегда выступал против Сталина, точно так же, как коммунист – за него. Подобно большинству коммунистов троцкист хотел бы не столько изменить окружающий мир, сколько ощутить, что битва за влияние склоняется в его пользу. И в том и в другом случае налицо навязчивое сосредоточение на едином предмете, одинаковая неспособность вырабатывать подлинно рациональное мнение, основанное на вариативности. Тот факт, что троцкисты везде являются преследуемым

меньшинством и что обычные обвинения против них, например в сотрудничестве с фашистами, явная ложь, создает впечатление, что троцкизм интеллектуально и морально превосходит коммунизм; однако сомнительно, что между ними есть большая разница. В любом случае наиболее типичные троцкисты – это бывшие коммунисты, никто не приходит к троцкизму иначе как через одно из левых движений. Ни один коммунист, если только его привязанность к партии не объясняется годами привычки, не застрахован против неожиданного прыжка в троцкизм. Обратный процесс, по-видимому, не происходит столь же часто, хотя для этого и нет очевидной причины.

В предложенной мной классификации есть некоторые моменты, которые могут показаться преувеличенными или чересчур упрощенными, у кого-то может сложиться впечатление, что я поторопился с безосновательными выводами и пренебрег обычными порядочными побуждениями. Такое неизбежно, потому что в этом эссе я пытаюсь вычлениить и определить тенденции, которые существуют во всех умах и извращают наше мышление, даже если не существуют в чистом виде и не действуют постоянно. Здесь важно внести поправки в чересчур упрощенную картину, которую я вынужден был нарисовать. Начать с того, что ни у кого нет права предполагать, что каждый человек или даже каждый интеллектуал заражен национализмом. Во-вторых, национализм может появляться и исчезать и быть ограниченным. Интеллигентный человек может быть только наполовину склонен к идее, которая привлекает его, но которую он считает абсурдом, и он может не задумываться над ней довольно долго, возвращаясь к ней только в моменты гнева или сентиментальности или когда он убежден, что речь идет о чем-то несущественном. В-третьих, националистические убеждения могут быть приняты человеком из самых лучших побуждений, по ненационалистическим мотивам. В-четвертых, несколько видов национализма, даже взаимоисключающих видов, могут сосуществовать в одном и том же человеке.

Все время я говорил «националист делает то» или «националист делает это», используя для иллюстрации крайний, почти безумный тип националиста, у которого в сознании нет нейтральных зон и нет других интересов, кроме борьбы за власть. Подобные люди и в самом деле достаточно распространены. Однако они, как говорится, не стоят ни пороха, ни выстрела. В реальной жизни с лордом Элтоном, Д. Н. Приттом, леди Хьюстон, Эзрой Паундом, лордом Ванситартом, преподобным Куглином и со всеми остальными из этого ужасного племени необходимо бороться, однако вряд ли надо напоминать об их интеллектуальном убожестве. Мономания интереса не представляет, и тот факт, что ни один фанатичный националист не способен написать книгу, которая по прошествии нескольких лет заслуживала бы прочтения, имеет определенный санитарный эффект. Но когда признаешь, что национализм не торжествует повсеместно, что все еще есть люди, чьи суждения не подчинены их желаниям, все-таки остается факт, что стереотип националистического мышления широко распространен, причем так широко, что ряд серьезных и жгучих проблем – Индия, Польша, Палестина, гражданская война в Испании, московские политические процессы, американские негры, русско-германский пакт и что там еще – не могут обсуждаться (по крайней мере, такого еще не случалось) на сколь-нибудь разумном уровне. Элтоны, притты и куглины – эти огромные глотки, изрыгающие ту же самую ложь снова и снова, представляют собой явно крайние случаи, но мы обманем себя, если не поймем, что все мы можем напоминать их в те моменты, когда теряем над собой контроль. Предположим, наступили на какую-то мозоль (и это может быть мозоль, о существовании которой вы и не подозревали до этого) – и тогда даже самый здравомыслящий и добродушный человек может неожиданно превратиться в злобного адепта, изо всех сил стремящегося лишь «одержать верх» над своим противником и безразличного к тому, сколько лжи он при

этом скажет или сколько допустит логических ошибок. Когда Ллойд Джордж, бывший противником бурской войны, объявил в палате общин, что британские коммюнике, если их суммировать, сообщают об убийстве такого числа буров, которое превышает все бурское население, Артур Балфут вскочил и крикнул: «Хам!» Очень немногие люди способны удержаться от подобных вспышек. Негр, оскорбленный белой женщиной, англичанин, услышавший, как невежественно критикуется американцем его страна, католический апологет, которому напомнили об испанской армаде, – все они действовали бы примерно так же. Затроньте нерв национализма, и тогда исчезают интеллектуальные приличия, тогда может быть изменено прошлое, и самые очевидные факты могут отрицаться.

Если человек в каком-то уголке сознания хранит националистическую преданность или ненависть, то некоторые факты, даже те, что в известной степени признаны истинными, окажутся неприемлемыми. Приведу лишь несколько примеров. Я перечисляю пять типов националистов и против каждого из них привожу факт, который является совершенно неприемлемым именно для данного типа националиста, неприемлемым даже в самых сокровенных мыслях его.

Британский тори. Вторая мировая война ослабила мощь и престиж Британии.

Коммунист. Если бы не поддержка Британии и Америки, Россия была бы разбита Германией.

Ирландский националист. Ирландия может сохранить независимость только благодаря защите Британии.

Троцкист. Сталинский режим принят русским народом.

Пацифист. Те, кто «отрекаются» от насилия, могут делать это только потому, что другие творят насилие за них.

Надо сказать, что все эти факты совершенно очевидны для того, чьи чувства не затронуты, но для перечисленных типов националистов они просто невыносимы, поэтому их следует отрицать, а для отрицания – создавать ложные теории. Вернусь к удивительному провалу в военном предвидении. Думаю, не ошибусь, если скажу, что интеллигенция больше ошибалась относительно хода войны, чем простые люди, и что она потому и ошибалась, что была во власти приверженности той или другой стороне. Средний интеллеktуал из левых верил, например, что война была проиграна в 1940 году, что немцы захватят Египет в 1942 году, что японцев никогда не удастся выдворить с оккупированных ими земель, что англо-американские бомбардировки никак не повлияли на Германию. Он мог верить во все это, так как его ненависть к британскому правящему классу не позволяла ему признать, что планы Британии могут привести к успеху. Нет предела благоглупостям, которые будут проглочены, если вы находитесь под влиянием такого рода чувств. Я слышал, как с уверенностью утверждалось, например, что американские войска брошены в Европу не для сражения с немцами, а для подавления английской революции. Надо принадлежать к интеллигенции, чтобы верить в подобную чепуху. Ведь ни один простой человек не может быть таким идиотом. Когда Гитлер вторгся в Россию, чиновники министерства информации издали «в качестве справки» предупреждение, что падение России можно ожидать в течение шести недель. С другой стороны, коммунисты расценивали каждый этап минувшей войны как русскую победу, даже когда русские были оттеснены почти до Каспийского моря и потеряли пленными несколько миллионов человек. Нет необходимости множить эти примеры. Смысл в том, что, как только на сцену выходят страх, ненависть, зависть и властолюбие, чувство

реальности у людей исчезает. И, как я уже говорил, так же размывается чувство правоты или неправоты. Нет такого преступления, ни одного абсолютно, которое не могло бы быть оправдано, если оно было совершено «нашей» стороной. Даже если кто-то не отрицает, что преступление совершено, даже если он знает, что это такое же преступление, которое он осуждал в каком-то другом случае, даже если он признает в интеллектуальном плане, что его нельзя оправдать, – и все равно он не сможет почувствовать, что так нельзя поступать. На сцену выходит преданность, а потому жалость скрывается за кулисами.

Причина подъема и распространения национализма – это слишком большой вопрос для того, чтобы его затрагивать здесь. Достаточно сказать, что в тех формах, в которых он проявляется среди английской интеллигенции, он является искаженным отражением ужасных битв, реально происходящих в мире, и что его самые невероятные благоглупости оказались возможными в результате крушения патриотизма и религиозных верований. Если направить свои мысли в этом направлении, то есть опасность впасть в консерватизм или политический квиетизм. Можно не без успеха доказывать, например (и возможно, это правда), что патриотизм является своего рода прививкой против национализма, что монархия – это защита от диктатуры, а организованная религия – защита от предрассудков. Или опять-таки можно доказывать, что никакой непредвзятый взгляд на вещи невозможен, что все символы веры и кредо несут с собой те же самые ложь, глупости и жестокости. Это-то часто выдвигается как причина того, чтобы держаться от политики подальше. Я не приемлю такого взгляда хотя бы потому, что в современном мире никто, считающий себя интеллектуалом, не может стоять в стороне от политики – в том смысле, что она его не беспокоит. Я думаю, что человек должен быть вовлечен в политику, используя это понятие в самом широком смысле слова, и что у него должны быть предпочтения, то есть он должен признавать, что какие-то символы веры объективно лучше других, даже если они осуществляются равно плохими средствами. Ну а что касается националистической любви и ненависти, о которых я говорил, они являются частью маскировки большинства из нас, независимо от того, нравится нам это или нет. Я не знаю, можно ли избавиться от них, но убежден – против них можно бороться и для этого необходимо моральное усилие. Прежде всего дело состоит в том, чтобы выяснить, кто вы такой на самом деле, каковы в действительности ваши чувства, а потом разобраться в своих привязанностях. Если вы ненавидите и боитесь России, если вы завидуете богатству и мощи Америки, если вам отвратительны евреи, если вы ощущаете свою неполноценность по отношению к правящему классу Британии, вам не удастся избавиться от этих чувств простым усилием ума. Но, по крайней мере, вы можете осознать, что они у вас есть, и помешать им отравлять вашу духовную жизнь. Эмоциональные позывы, от которых нельзя уйти и которые, возможно, даже необходимы для политического действия, должны существовать в человеке бок о бок с признанием реальности. Но это, повторяю, требует моральных усилий, а современная английская литература настолько, насколько она вообще жива для главных тем нашего времени, показывает, сколь немногие из нас готовы сделать их.

1945 г.

ПОЛИТИКА ПРОТИВ ЛИТЕРАТУРЫ. Анализ «Путешествий Гулливера»  
(Перевод В. Мисюченко)

В «Путешествиях Гулливера» человечество подвергается нападению или критике, по крайней мере, с трех разных сторон, при этом с необходимостью изменяется и образ самого Гулливера. В первой части он – типичный путешественник восемнадцатого столетия, смелый, практичный, без налета романтики. В нем нет ничего особенного,

и эта идея искусно навязывается читателю сообщением биографических деталей в начале книги, его возрастом (путешествовать отправляется мужчина сорока лет, имеющий двоих детей), а также перечислением вещей, найденных в его карманах, особенно очков, которые несколько раз встретятся в тексте. Во второй части образ в общем тот же, но временами, когда того требует сюжет, в нем обнаруживается склонность обращаться в глупца, способного похвалиться «нашей благородной Страной, Владычицей Искусств и Оружия, Бичом Франции» и т. д. и т. д. и в то же время смакующего любую скандальную сплетню о стране, которую, как он утверждает, он любит. В третьей части Гулливер во многом тот же, что и в первой, хотя, поскольку он общается преимущественно с придворными и учеными мужами, создается впечатление, что он поднялся по социальной лестнице. В четвертой части он приходит в ужас от рода человеческого – в предшествующих книгах это не было очевидным (или очевидным только время от времени) – и обращается в некоего нерелигиозного отшельника, чья единственная мечта – жить в каком-нибудь пустынном месте, где можно посвятить себя размышлениям о добродетельных гуигнгнмах. Но эти несообразности вызваны тем, что Гулливер нужен Свифту прежде всего для контраста. Необходимо, например, чтобы он выглядел разумным в первой части и, по крайней мере временами, глупцом во второй, поскольку в обеих книгах основной прием один и тот же: выставить человека смешным, представив его существом ростом в шесть дюймов. Там, где Гулливер не исполняет роли козла отпущения, имеет место что-то вроде преемственности в его характере, что проявляется особенно в таких чертах, как находчивость и внимание к любой вещественной детали. Личность его в основном неизменна, стилистически однородна и когда он уводит военный флот Блефуску, и когда вспарывает брюхо чудовищной крысы, и когда уплывает в океан на утлой лодчонке, сделанной из шкур йэху. Более того, трудно избавиться от ощущения, что в моменты наибольшей пронизательности Гулливер – это просто сам Свифт, во всяком случае, есть по меньшей мере один эпизод, где Свифт, кажется, дает выход личному недовольству современным ему обществом. Напомню: когда дворец императора лиллипутов охватило пламя, Гулливер погасил пожар обильным мочеиспусканием. Вместо благодарности за находчивость ему сообщают, что он совершил тягчайшее преступление, ибо закон запрещает кому бы то ни было мочиться в пределах дворца.

И частным образом до моего сведения довели, что Императрица сочла мой поступок величайшей Мерзостью, перебралась в самую отдаленную Часть Дворца, приняв твердое решение, что пострадавшие здания никогда не будут отремонтированы под ее Покои; в Присутствии же наиболее Приближенных придворных она не удержалась от клятвы Отомстить мне [43].

По мнению профессора Г. М. Тревельяна («Англия времен королевы Анны»), одна из причин, по которой Свифту не удалось получить видного церковного поста, состояла в том, что королева была возмущена «Сказкой Бочки» – памфлетом, которым, как, по-видимому, полагал Свифт, он оказал большую услугу английской короне, поскольку подверг беспощадной критике протестантов, отколовшихся от официальной церкви, и еще больше католиков и оставил в покое англиканскую церковь. В любом случае никто не станет отрицать, что «Путешествия Гулливера» – книга злобная и пессимистическая, что она – особенно в первой и третьей частях – нередко скатывается к узкопартийной предвзятости. В ней перемешаны: мелочность и величие души, республиканизм и авторитарность, любовь к логике и отсутствие любознательности. Ненависть к человеческой плоти, столь характерная для Свифта, явно проступает лишь в четвертой части, однако, так или иначе, эта новая тема не воспринимается как неожиданность. Чувствуется, что все эти приключения, все эти смены настроения могли быть уделом одного и того же человека, и внутренняя взаимосвязь между политическими пристрастиями Свифта и его полнейшим отчаянием –

одна из интереснейших черт всего произведения.

В политике Свифт был одним из тех, кого к своеобразному извращенному торизму толкали глупости тогдашней прогрессивной партии. Первую часть «Путешествий Гулливера», явную сатиру на человеческое высокомерие, можно рассматривать (если взять на себя труд копнуть чуть глубже) просто как резкую критику Англии, господствующей партии вигов и войны с Францией, которая (сколь бы дурны ни были намерения союзников) все же спасла Европу от тирании одной реакционной державы. Свифт не был якобинцем. Строго говоря, не был он и тори. В этой войне он выступал всего-навсего за умеренный мирный договор, а вовсе не за поражение Англии. Тем не менее его подход несет легкий налет квислингизма, который заметен в финале первой части и не-сколько нарушает основную аллегория. Когда Гулливер бежит из Лиллипутии (Англии) в Блефуску (Францию), допущение об изначальной презренности человеческого существа шестидюймового роста, по всей видимости, снимается. Тогда как жители Лиллипутии относятся к Гулливеру с величайшим вероломством и низостью, обитатели Блефуску ведут себя радушно, открыто и честно, так что в отличие от предыдущих глав, где царил дух всеобщего разочарования, этот раздел книги завершается на иной ноте. Совершенно очевидно, что Свифт настроен прежде всего против Англии. Как раз «ваших Туземцев» (то есть соотечественников Гулливера) король Бробдингнега и счел «самой вредной Породой маленьких гнусных тварей, которые когда-либо ползали по лицу Земли, испытывая терпение Природы». И явно на Англию (хотя в тексте искусно заявлено о противоположном) нацелен и пространный пассаж в конце, осуждающий колонизацию и покорение заморских территорий. Голландцы, союзники Англии и мишень одного из самых знаменитых памфлетов Свифта, также без видимых причин подвергаются нападкам в третьей части. А в рассуждениях Гулливера, где он выражает удовлетворение, что открытые им разные страны нельзя превратить в колонии Британской Короны, даже как будто слышится голос самого Свифта:

Гуигнгнмы, может статься, не очень хорошо подготовлены к Войне, Науке для них абсолютно Чуждой, особенно к войне с применением огнестрельного Оружия. Однако вообрази я себя Государственным Министром, я никогда бы не подал свой голос за нападение на них... Представьте, как двадцать тысяч Разумных лошадей врезаются в гущу европейской армии, смешивают ее Ряды, опрокидывают Повозки и Лафеты, ужасными Ударами задних Копыт превращают Лица Воинов в сплошное кровавое Месиво...

Поскольку Свифт попусту слов не тратит, фраза «превращают Лица Воинов в сплошное кровавое Месиво», возможно, указывает на его потаенное желание, чтобы именно так обошлись с несокрушимыми армиями герцога Мальборо. Сходные штрихи можно найти и в других местах. Даже упомянутая в третьей части страна, где «Костяк Населения состоит едва ли не сплошь из Сыщиков, Свидетелей, Доносчиков, Обвиняемых, Обвинителей, Понятых, Присяжных, которые вместе со своими подручными и подчиненными находятся под Флагом, Руководством и на Содержании государственных министров», получает название Лангдон, – лишь буквой отлично оно от анаграммы латинского написания Англии. (Поскольку первые издания книги содержат опечатки, название, возможно, задумывалось как полная анаграмма.) Физическое отвращение Свифта к человечеству, конечно, вполне очевидно, но не покидает ощущение, что развенчание им человеческого высокомерия, его обличительные речи против лордов, политиков, придворных фаворитов и т. д. имеют главным образом ограниченное значение и проистекают из принадлежности самого автора к партии, не добившейся успеха. Несправедливость и угнетение он осуждает, но тщетно искать у него доказательств любви к демократии. При всем колоссальном превосходстве своего интеллекта Свифт, похоже, занимал позицию, очень сходную с позицией бесчисленных глупоумных консерваторов наших дней, вроде сэра Алана Герберта, профессора Г. М.

Янга, лорда Элтона, членов торийского Комитета реформ или длинной вереницы католических апологетов, начиная с В. Г. Маллока, – людей, которые только и делают, что отпускают элегантные шуточки по поводу всего «современного» и «прогрессивного» и чьи суждения становятся часто еще более экстремистскими, ибо люди эти осознают свою неспособность влиять на реальный ход событий. В конце концов, такой памфлет, как «Довод в доказательство того, что отмена христианства и т. д.»[44], очень похож на «Тихоню Тимоти», неглубоко, но от души смеющегося над Мозговым Трестом, или на преподобного Рональда Нокса, разоблачающего ошибки Бертрана Рассела. И легкость, с какой Свифт был прощен – прощен в том числе и благочестивыми верующими – за богохульства «Сказки Бочки», наглядно демонстрирует слабость религиозных чувств в сравнении с политическими.

Однако реакционный склад Свифтова ума проявляет себя главным образом не в политических пристрастиях писателя. Следует обратить внимание на его отношение к науке и – еще шире – к интеллектуальной любознательности. Знаменитая Академия Лагадо, описанная в третьей части «Путешествий Гулливера», безусловно является справедливой сатирой на большинство так называемых ученых времен Свифта. Знаменательно, что работающие в ней именуется «прожектерами», то есть людьми, которых на научный поиск подвигает не бескорыстный интерес, они просто выискивают трюки, сулящие экономию труда и денежные прибыли. Но ничто не свидетельствует о том (вообще-то по всей книге разбросано немало противоположных свидетельств), что «чистая наука» привлекала внимание Свифта как занятие достойное. Тип более серьезного ученого уже получил пинок под зад во второй части, когда «Ученые», находившиеся под покровительством короля Бробдингнега, пытаются найти объяснения маленьких размеров Гулливера:

После долгих Дебатов они единодушно сошлись на том, что я всего лишь Рельплюм Скалкаф, что буквально означало *Lusus Naturae*[45]. Это определение точно соответствует современной философии Европы, где Профессора с презрением отбросили старые Уловки оккультных Причин, пользуясь которыми последователи Аристотеля тщетно пытались прикрыть свое Невежество и открыли этот чудесный Выход-из-всех-Трудностей, давший дорогу неслыханному Прогрессу человеческого Знания.

Высказывание это, если взять его само по себе, наводит на мысль, что Свифт враждует всего лишь с лженаукой. В ряде мест, однако, он изо всех сил доказывает бесполезность всякого учения или рассуждения, не преследующего какой-либо практической цели.

Познания их, – пишет он о бробдингнежцах, – весьма ущербны, сосредоточены лишь на Морали, Истории, Поэзии и Математике, в чем, следует отдать им должное, они очень преуспели. Только их математика всецело связана с тем, что может быть полезным в Жизни, – с Совершенствованием Земледелия и Искусством Создания всевозможных механизмов, – посему у нас она получила бы слабое признание. Что же касается Идей, Сущностей, Абстракций и Трансценденталий, то я не смог внедрить в их Головы ни малейшего о том Представления.

Гуигнгнмы, эти Свифтовы идеальные существа, отстали даже в том, что связано с механикой. Они не знакомы с металлами, никогда не слышали о кораблях и лодках, строго говоря, они и земледелия не знают (нам сказано, что овес, которым они питаются, «растет сам, как трава»), и, по всей видимости, не ведают колеса[46]. У них нет алфавита и не заметно особого интереса к окружающему миру. Они не верят в существование иных обитаемых земель, кроме собственной, и хотя понимают движение Солнца и Луны, а также природу затмений, «это крайний предел Прогресса

их Астрономии». В отличие от этого философы летающего острова Лапута постоянно столь углублены в математические вычисления, что для привлечения их внимания в разговоре требуется хлопнуть их по уху специальным пузырем. Они составили каталог десяти тысяч неподвижных звезд, установили периоды обращения девяноста трех комет и открыли (ранее европейских астрономов), что у Марса есть две луны, – всю эту информацию Свифт явно считает смехотворной, бесполезной и неинтересной. Как и следовало ожидать, он считает, что место ученого (коль скоро у него есть место) в лаборатории и что научное знание не оказывает никакого воздействия на дела политические:

Вообще непостижимой... была подмеченная мною у них сильная Склонность к Новостям и Политике, проявлявшаяся в беспрестанном выяснении состояния Общественной Жизни, в высказываемых ими суждениях о Делах Государственных, в страстных спорах по поводу каждого Дюйма любой из Партийных Линий. Впрочем, подобную же Склонность я наблюдал и у большинства знакомых мне Математиков в Европе, хотя никогда не мог отыскать ни малейшей Аналогии между двумя этими Науками. Разве только эти Люди предполагали, что, поскольку самый маленький Круг содержит столько же Градусов, сколько и самый большой, постольку Устройство Мира и Управление им требуют не больше Способностей, чем Обращение с Глобусом и Поворачивание его.

Не слышится ли нечто знакомое в произнесенной фразе: «я никогда не мог отыскать ни малейшей аналогии между двумя этими науками»? Она точно попадает в тон популярных католических апологетов, которые дивятся, когда ученый высказывается по таким вопросам, как существование Бога или бессмертие души. Ученый, уверяют нас, специалист лишь в одной, ограниченной, области, почему же его мнения должны иметь ценность в любой другой? Скрытый смысл тут понятен: теология-де такая же точная наука, как, к примеру, химия, и священник такой же специалист, к чьим заключениям по определенным вопросам должны прислушиваться. Свифт фактически того же требует для политика, но идет дальше и лишает ученого (будь то «чистый» ученый или исследователь-практик) права быть по-своему полезной личностью. Даже если бы Свифт не написал третью часть «Путешествий Гулливера», из всего оставшегося в книге можно было бы понять, что писатель – подобно Толстому, подобно Блейку – ненавидит саму идею познания процессов природы. «Разум», которым он так восхищается у гуингнгов, не связан прежде всего со способностью делать логические выводы из наблюдаемых фактов. Хотя определения Свифт нигде не дает, но, по всей видимости, «разум» во всех контекстах означает либо здравый смысл (то есть принятие очевидного и презрение к софизмам и абстракциям), либо отсутствие страсти и суеверия. Общая его посылка та, что все нам необходимое мы уже знаем и просто неверно пользуемся нашим знанием. Медицина, к примеру, бесполезная наука, потому как, живи мы более естественно, болезней не было бы вовсе. Свифт, однако, не опрощенец и не почитатель Благородного Дикаря. Он за цивилизацию и достижения цивилизации. Он не только знает цену хорошим манерам, хорошей беседе и даже знанию, например, литературы и истории, он понимает также, что земледелие, навигацию и архитектуру нужно изучать и можно с успехом развивать. И все же, видимо, цель писателя – статичная, нелюбознательная цивилизация: тот же современный ему мир, только чуть чище, чуть благоразумнее, – без радикальных перемен и без сования носа в непознаваемое. В гораздо большей степени, чем можно было бы ожидать от столь свободного от общепринятых заблуждений человека, он чтит прошлое, особенно классическую античность, и верит, будто современный человек резко деградировал за последние сотни лет[47].

На острове чародеев, сообщает Гулливер, где можно было по желанию вызвать тени умерших,



я попросил, чтобы передо мной предстал Сенат Рима в одном большом Зале, а для Сравнения с ним в другом зале – современные Парламентарии. Первый выглядел Собранием Героев и Полубогов, другой же – шайкой Коробейников, Карманных воришек, Грабителей с большой дороги и Громил.

Хотя этот раздел[48] третьей части Свифт использует для критики правдивости официальной истории, критический запал исчезает в нем, как только речь заходит о римлянах и греках. Он отмечает, конечно, растленность императорского Рима, зато преисполняется почти безрассудным восторгом при виде ряда знаменитостей древнего мира:

Глубокое Благоговение охватило меня при Виде Брута, в каждой Черточке Выражения его Лица легко обнаруживались самая совершенная добродетель, величайшие Неустрашимость и Твердость Духа, самая подлинная Любовь к Отечеству и всеобщая Благорасположенность к человечеству... Я удостоился чести вести долгие беседы с Брутом и узнал, что его Предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон-младший, сэр Томас Мор и он сам все время держатся вместе – Секстумвират, к которому Века Мировой истории не могут добавить седьмого участника.

Стоит заметить, что из шести входящих в секстумвират лишь один является христианином. Это важный момент. Если слить воедино пессимизм Свифта, его почитание прошлого, его нелюбознательность и отвращение к человеческой плоти, то мы обнаружим взгляды, характерные для религиозных реакционеров, то есть тех, кто защищает несправедливое устройство общества, утверждая, что этот мир нельзя сколько-нибудь заметно улучшить и что значение имеет лишь «мир иной». Однако у Свифта нет и малейшего признака каких бы то ни было религиозных верований, по крайней мере в любом общепринятом смысле. Не создается впечатления, что он всерьез верит в жизнь после смерти, а его представление о добре связано с республиканизмом, любовью к свободе, мужеством, «благорасположенностью» (осознающей на деле общественный дух), «разумом» и другими языческими качествами. Это напоминает нам, что у Свифта есть еще одна грань, не во всем совпадающая с его неверием в прогресс и общей ненавистью к человечеству.

Начать с того, что в отдельные моменты он – «конструктивный» и даже «передовой». Время от времени быть непоследовательным – это почти признак жизненности в утопических произведениях, вот Свифт нет-нет да и вставляет слово похвалы в пассаж, который призван быть чисто сатирическим. Так, авторство своих идей о воспитании молодежи он отдает лиллипутам, взгляды которых на этот предмет во многом совпадают со взглядами гуингнмов. У лиллипутов есть ряд социальных и правовых институтов (например, у них введены пенсии по старости, а жители поощряются за соблюдение законов, так же как и наказываются за их нарушение), которые Свифт хотел бы увидеть признанными в своей собственной стране. Повествуя об этом, Свифт где-то в середине вспоминает о своих сатирических намерениях и оговаривается: «Хочу, чтобы читатель понял: описывая эти и последующие законы, я имею в виду исконные Установления, а вовсе не постыднейшие моральные Извращения, в которые впал этот народ из-за вырождения Человеческой Натуры». Но поскольку Лиллипутия призвана представлять Англию и поскольку законы, о которых автор ведет речь, никогда не имели аналогов в Англии, совершенно ясно, что порыв к выработке конструктивных предложений чересчур обременителен для него. Зато величайший вклад Свифта в политическое мышление (в узком значении этого выражения) – его резкая, особенно в третьей части, отповедь тому, что ныне было бы названо тоталитаризмом. У Свифта есть потрясающе четкое предвидение «полицейского государства», которое преследует мираж шпионов, где непрестанно охотятся за ересями и проводят процессы над предателями нации, и все это для

того, чтобы нейтрализовать недовольство широких масс, обратив его в военную истерию. Тут никак нельзя забывать, что Свифт восстанавливает целое по крохотным частностям, ибо слабые правительства того времени не могли послужить ему готовыми иллюстрациями. Например, в Школе Политических Прожектеров есть профессор, который «показал мне толстенный Свод Инструкций по раскрытию Заговоров и Тайных Умышлений против власти». Профессор утверждал, что потаенные мысли людей можно выявлять, анализируя их экскременты,

поскольку Люди ни в один из моментов деятельности не могут быть так серьезны, так глубокомысленны и так сосредоточенны, как тогда, когда они садятся на стульчак. Путем частных экспериментов на себе в таких Обстоятельствах профессор определил: когда он в целях Опыта сосредоточивался на размышлениях о наилучшем Способе умерщвления Короля, его Кал приобретал Оттенок Зелени, и совершенно иной цвет, когда он задумывался лишь над тем, как поднять Бунт или предать огню Метрополис.

Профессор этот и теория его, говорят, были подсказаны Свифту таким (с точки зрения наших дней) не слишком удивительным или отталкивающим фактом: на одном из государственных процессов того времени в качестве доказательства были предъявлены письма, найденные в чьей-то уборной. Дальше в той же главе мы словно попадаем в самую гущу русских чисток:

В Королевстве Трибния, именуемом Туземцами Лангдон... Костяк Населения состоит едва ли не сплошь из Сыщиков, Свидетелей, Доносчиков, Обвиняемых, Обвинителей, Понятых, Присяжных... Прежде всего в их среде вырабатывается и утверждается мнение, кого из подозреваемых Лиц обвинить в Заговоре. Затем предпринимаются эффективные Меры, чтобы овладеть всеми их Письмами и Бумагами, а самих Обладателей письменных свидетельств заковать в Цепи. Бумаги передаются Группе Искусников, очень сообразительных по части нахождения таинственных Значений Слов, Слогов и Букв... Когда же сей Метод результатов не дает, используются два других, более действенных, которые их Светила именуют Акrostихами и Анаграммами. С помощью Первого они могут раскрыть тайный политический Смысл любого Инициала. Так, N будет означать Заговор, B – Полк Кавалерии, L – Флот на Море. Пользуясь Вторым, переставляя Буквы Алфавита в любой подозрительной Писанине, они получают возможность постигать самые потаенные и хитроумные Намерения недовольной Партии. Так, например, оброни я в Письме к Другу фразу: «А я, брат, за свои погорел; ссуду дайте» – и искусный Дешифровщик обнаружит, что из тех же самых Букв, ее составляющих, можно смонтировать Слова в такое Предложение: «Бойся ареста: по следу заговора идут»[49]. Это и есть анаграмматический Метод.

Другие профессора той же Школы изобретают упрощенные языки, пишут книги с помощью машины, обучают учеников, записывая задания на тоненьких облатках и заставляя их глотать, или предлагают вовсе ликвидировать индивидуальность посредством ампутации части мозга у одного человека и пересадки ее в голову другого. В духе этих глав чувствуется нечто странно знакомое, ибо, как бы ни был крут замес дурачества, нельзя не ощутить: одна из целей тоталитаризма – не просто заставить людей мыслить «правильно», но реально сделать их менее мыслящими. Сюда следует добавить описания Свифтом Вождя, правящего стадом йэху, и «фаворита», который сначала лижет ноги и зад своего господина, а в конце становится козлом отпущения для всего стада, – эти описания прекрасно согласуются с мерками наших дней. Следует ли, однако, из этого, что Свифт был прежде всего и больше всего врагом тирании и поборником свободного разума? Нет. Собственные взгляды писателя, насколько их можно постичь, не так уж либеральны. Несомненно, он ненавидит лордов, королей, епископов, генералов, законодательниц

моды, ордена, титулы и всяческое пустое восхваление вообще, но не создается впечатления, будто он о простых людях думает лучше, чем об их правителях, будто он выступает за большее социальное равенство или полон энтузиазма в отношении институтов представительной власти. Гуигнгнмы организованы в некую кастовую систему, расовую в своей основе, ибо лошади, занятые в услужении, отличаются от своих хозяев по масти и не скрещиваются с ними. Система образования, которой восхищается Свифт у лиллипутов, принимает наследственные классовые различия как данность, а дети беднейшего класса вовсе не ходят в школу, потому что «их Дело – всего лишь пахать и возделывать Землю... так что заинтересованность Общества в их Образовании невелика». Не выглядит Свифт и решительным сторонником свободы слова и печати, несмотря на терпимость, с какой относились к его собственным писаниям. Король Бробдингнега удивлен обилием религиозных и политических групп в Англии; тех, считает он, кто придерживается «мнений, пагубных для общества» (в контексте это, по-видимому, должно просто означать – еретических мнений), хотя и не следует принуждать менять свои мнения, но следует обязать скрывать их, ибо «для любого Правительства требовать первого – Тирания, так же как не добиваться второго – Слабость». Читая, как Гулливер покидает землю гуигнгнмов, можно постичь более тонкие нюансы взглядов самого Свифта. Хотя бы на время Свифт становится анархистом, четвертая часть «Путешествий Гулливера» изображает анархическое общество, управляемое не законом в обычном смысле слова, а требованиями «Разума», которые добровольно признаются каждым. Генеральное Собрание гуигнгнмов «увещевает» хозяина Гулливера избавиться от него, соседи побуждают хозяина, не затягивая, привести этот совет в исполнение. Два довода выдвинуты ими. Во-первых, присутствие необычного йэху могло бы внести сумятицу во все остальное племя, и, во-вторых, дружеские отношения между гуигнгнмом и йэху «не согласуются ни с Разумом, ни с Природой и вообще есть Вещь неслыханная среди них». Хозяин Гулливера словно бы колеблется, не желая подчиниться, но «увещевание» (гуигнгнма, говорят нам, никак нельзя принудить к чему-либо, ему просто дают «увещевания» или «советы») нельзя оставить без внимания. Это прекрасная иллюстрация тоталитарной тенденции, которая внутренне присуща анархическому или пацифистскому взгляду на общество. В обществе, где нет закона и – в теории – нет принуждения, единственным судьей и регулятором поведения становится общественное мнение. Но общественное мнение – из-за огромной тяги к конформизму у стадных животных – менее терпимо, чем любая система права. Когда людьми правит принцип «ты не должен», индивид может позволить себе не-кую толику эксцентричности; когда же считается, что правят «любовь» или «разум», индивид постоянно подвергается давлению, заставляющему его думать и вести себя совершенно так же, как и все остальные. Гуигнгнмы, сообщают нам, были единоклюшны почти во всем. Единственная проблема, которую они когда-либо обсуждали, – как поступать с йэху. Во всем ином у них не было почвы для разногласий, поскольку истина всегда либо самоочевидна, либо непознаваема и не-существенна. По-видимому, на языке гуигнгнмов нет слова «мнение», а в их беседах нет места «различию мнений». Фактически они достигли высшей стадии тоталитарной организации, стадии, когда конформизм становится настолько всеобщим, что отпадает надобность в полицейских силах. Свифт это одобряет, ибо среди множества его дарований нет ни любознательности, ни добродушия. Несогласие всегда должно было казаться ему просто упрямством. Среди гуигнгнмов, пишет он, «Разум не есть Средоточие Проблемы, как у нас, когда люди способны с равным Правдоподобием отстаивать обе Стороны Дилеммы. Напротив, их Разум поражает вас прямой Убеденностью, как тому и быть надлежит, когда он не запятнан, не замутнен или нейтрализован Страстью и Корыстью». Другими словами: мы все уже знаем, а потому зачем терпеть инакомыслие? Тоталитарное общество гуигнгнмов, где не может быть ни свободы, ни прогресса, естественно, исходит из этой посылки.

Мы вправе считать Свифта бунтарем и борцом с предрассудками. Однако, если оставить в стороне ряд второстепенных вопросов, вроде настойчивого требования необходимости одинакового образования для женщин и мужчин, нельзя причислять Свифта к «левым». Он – анархист-консерватор, ни во что не ставящий власть, не верящий в свободу и сохраняющий аристократические взгляды и в то же время ясно видящий, что сложившаяся к тому времени аристократия упадочна и ничтожна. Когда Свифт произносит свою очередную обличительную речь против богатых и сильных, стоит, наверно, как я уже говорил, часть гнева списать на его принадлежность к менее удачливой партии, на его личную разочарованность. По причинам очевидным отстраненные от кормила власти всегда более радикальны, чем к нему допущенные[50].

Но самое важное – это неспособность Свифта поверить, что жизнь (обычную жизнь на твердой земле, а не надуманную, дезодорированную версию ее) можно сделать так, что стоит жить. Конечно, ни один честный человек не заявит, что сейчас счастье стало нормальным состоянием взрослых людей, но, вероятно, его можно сделать нормой, – и именно вокруг этой проблемы и ведутся все серьезные политические споры. У Свифта много (думаю, больше, чем замечалось до сих пор) общего с Толстым, еще одним не верующим в возможность счастья. Для обоих характерно анархическое мировоззрение, прикрывающее авторитарный склад ума, оба сходятся во враждебности к науке, тот и другой одинаково раздражительны по отношению к оппонентам, равно не способны понять важности любого вопроса, который их самих не интересует, наконец, и у того и у другого наблюдается нечто вроде омерзения к реальному процессу жизни, хотя Толстой пришел к этому позже и другим путем. Сексуальные беды этих двух людей были разного плана, но общим для обоих было то, что искреннее отвращение сочеталось у них с патологическим обаянием. Толстой был обращенным распутником, дошедшим под конец до проповеди полного воздержания (что не мешало ему практиковать противоположное до самого преклонного возраста), Свифт, скорее всего, был импотентом, испытывал преувеличенную брезгливость к человеческим испражнениям, но думал об этом постоянно, что очевидно во всех его произведениях. Такие люди не склонны наслаждаться даже тем маленьким счастьем, которое выпадает большинству рода человеческого, и, по понятным мотивам, вряд ли способны признать, что земная жизнь во многом может быть изменена к лучшему. Их нелюбезность, следовательно, и их нетерпимость вырастают из одного корня.

Свифтовы отвращения, злоба и пессимизм имели бы смысл в контексте «мира иного», для которого мир сей есть прелюдия. Поскольку в такие вещи он, по всей видимости, всерьез не верил, он вынужден был создать рай, существующий вроде бы на поверхности земли, но отличающийся ото всего нам известного, место, откуда все не одобряемое писателем – ложь, глупость, изменчивость, энтузиазм, удовольствие, любовь и грязь – убиралось. В идеальные существа он избирает лошадь – животное, чьи экскременты не так отвратительны. Гуингнмы – отчаянно скучные животные – это настолько общепризнанно, что и рассуждать на эту тему не стоит. Гений Свифта смог сотворить их достоверными, но едва ли отыщется много читателей, в ком они пробудили какие-либо чувства, кроме неприязни. И отнюдь не из-за уязвленного тщеславия при мысли, что животному отдано предпочтение перед человеком. Гуингнмы куда больше походят на людей, чем йэху, отвращение Гулливера при виде йэху и осознание им, что это существа одного с ним рода, содержат логическую абсурдность. Это отвращение вселилось в него сразу, как только он увидел йэху. «Никогда, – признается Гулливер, – за все мои Путешествия не созерцал я Животное настолько омерзительное, чтобы оно вызывало у меня естественную, да еще и такую сильную, Антипатию». Но по сравнению с кем йэху омерзительны? Не с гуингнмами же, ведь к тому моменту Гулливер не видел ни одного гуингнма. Сравнение можно было делать только с самим собой, то есть с

человеком. Позже нам скажут, однако, что йэху и есть человеческие существа. Человеческое общество станет невыносимым для Гулливера, потому что все люди – йэху. Если так, то почему у него не зародилось отвращение к человечеству раньше? По сути, нам говорят, что йэху фантастически отличаются от людей и в то же время такие же. Свифт самого себя превзошел в ярости, он кричит своим братьям: «Вы еще мерзостнее, чем вы есть!» Нельзя, однако, очень уж жалеть йэху, и гуигнгнмы непривлекательны вовсе не потому, что угнетают их. Непривлекательны они потому, что «Разум», правящий ими, на самом деле есть желание смерти. Они лишены любви, дружбы, любознательности, страха, печали и (за исключением их чувств по отношению к йэху, которым в их обществе отведено такое же место, как евреям в нацистской Германии) гнева и ненависти. «У них нет Нежности к своим Жеребяткам. Забота, которую они проявляют, воспитывая их, целиком подчинена Требованиям Разума. Они высоко ценят Дружбу и Благорасположенность, но они не связаны с определенными Особями, а всеобща для всей Породы». Они ценят также беседы, но разговоры их лишены различий во мнениях, в них не допускается «ничто, не имеющее пользы и не могущее быть выраженным в минимуме содержательнейших Слов». Гуигнгнмы практикуют строгий контроль за рождаемостью; каждая пара производит двух отпрысков, после чего воздерживается от половых сношений. Браки устраиваются у них старшими по правилам евгеники, в языке их нет слова «любовь» в физическом, половом смысле. Когда кто-то умирает, остальные продолжают жить совершенно так же, как прежде, не впадая ни в горе, ни в печаль. Мы увидим, что цель их – как можно больше походить на труп, сохраняя в то же время физическую жизнь. Правда, одну-две их черты трудно, по-видимому, назвать очень «разумными» в их собственном понимании слова. Так, они высоко ценят не только физическую выносливость, но и спорт, они обожают поэзию. Но эти исключения, возможно, не так уж и случайны, как может показаться. Физическую силу гуигнгнмов Свифт подчеркивает, вероятно, с тем, чтобы стало ясно, что ненавистному роду человеческому никогда не удастся покорить их. А вкус к поэзии мог попасть в число их достоинств потому, что Свифту поэзия казалась антитезой науки, занятия, с его точки зрения, самого бесполезного. В третьей части он называет «Воображение, Фантазию и Выдумку» желательными качествами, которых лапутянские математики (несмотря на их любовь к музыке) лишены напрочь. Нелишне помнить, что, хотя Свифт был превосходным сочинителем комических стихов, в поэтическом жанре он, вероятно, больше всего ценил поэзию дидактическую. Поэзия гуигнгнмов, пишет он,

следует признать, превосходит созданное всеми другими Смертными. Меткость Сравнений в ней, Скрупулезность, а также точность Описаний и в самом деле неподражаемы. Их Стихи обычно изобилуют и теми, и другими, как правило, в них восторженно воспеваются Дружба и Благорасположенность или воздаются Хвалы Победителям в Скачках или других физических Упражнениях.

Увы, даже Гений Свифта оказался бессилён создать образец, по которому мы могли бы судить о поэзии гуигнгнмов. По описанию же она представляется эдакой холодной поковкой (скорее всего, цепью героических строф), конечно же, всерьёз не конфликтующей с принципами «Разума».

Описать счастье заведомо трудно, потому что картины справедливого и хорошо отлаженного общества редко привлекательны или убедительны. Большинство создателей «благоприятных» утопий, однако, озабочены тем, чтобы показать, какой могла бы быть жизнь, если жить насыщенной. Свифт ратует просто за отказ от жизни, оправдывая это тем, что «Разум» заключается в обуздании ваших инстинктов. Создания без истории, гуигнгнмы поколение за поколением продолжают благоразумное существование, поддерживая на постоянном уровне численность населения, избегая

всех страстей, не зная болезней, встречая смерть безразлично, воспитывая в тех же принципах молодых, – и все это для чего? Для того, чтобы тот же самый процесс мог продолжаться бесконечно. Мыслям, что временами жизнь стоит того, чтобы жить, что ее можно сделать такой, чтобы стоило жить, или же ею нужно пожертвовать ради будущего, – этим мыслям места нет. Скучный мир гуингнмов был почти идеальной утопией, какую только мог создать Свифт, учитывая, что он не верил в «мир иной» и не мог получать удовольствий в процессе нормальной жизнедеятельности. И все же создатель утопии использует ее не для самого по себе показа желаемого устройства общества, а для оправдания еще одной атаки на человечество. Цель для него обычная: унижить Человека напоминанием, как слаб он, смешон, а пуще того – зловонен. А конечным мотивом, вероятно, является некая зависть – зависть призрака к живущему, человека, который знает, что не может быть счастливым, к тем, кто – как ему со страхом чудится – может быть чуточку счастливее, чем он. Политическим выражением подобного мировоззрения должны стать либо реакционность, либо нигилизм, так как его приверженец возымеет желание помешать обществу развиваться по тому пути, на котором его пессимизм может оказаться в дураках. Осуществить такое желание можно либо разнеся все вдребезги, либо избегая социальных перемен. Свифт в конечном итоге разнес все вдребезги тем единственным способом, какой был возможен до атомной бомбы, – то есть он сошел с ума, – однако, как я пытался показать, политические цели его были в целом реакционными.

Из того, что тут написано, может сложиться впечатление, будто я против Свифта, будто предмет моих забот – опровергнуть и даже принизить его. Насколько я его понимаю, в политическом и моральном плане мы – противники. Но, как ни странно, Свифт – один из тех писателей, которыми я восхищаюсь безоглядно, а «Путешествия Гулливера» в особенности я считаю книгой, устать от которой никак невозможно. Впервые я прочел ее в восемь лет (если быть точным, за день до восьмилетия, так как я украл и украдкой прочел книгу, предназначавшуюся мне в подарок, поутру моего восьмого дня рождения) и с тех пор перечитывал ее раз шесть. Доведись мне составлять список из шести книг, которые надлежало бы сохранить при уничтожении всех остальных, я не колеблясь включил бы в него «Путешествия Гулливера». Тут рождается вопрос: как соотносятся согласие со взглядами писателя и наслаждение его творчеством?

Человек, способный быть беспристрастным, может постичь достоинство писателя, с убеждениями которого он глубоко не согласен. Но наслаждение – другое дело. Если мы предположим, что существует такая вещь, как хорошее или плохое искусство, то это хорошее или плохое должны содержаться в самом произведении искусства, – разумеется, это будет зависеть и от читателя, но не должно зависеть от его настроения. Таким образом, в определенном смысле не может быть справедливым, что одно и то же стихотворение в понедельник прекрасно, а во вторник никуда не годится. Но если оценивать стихотворение по чувствам, которые оно вызывает в нас, то это, конечно же, справедливо, потому что наши чувства или наслаждение субъективны и управлять ими невозможно. Значительную часть своей сознательной жизни даже самый культурный человек совершенно лишен каких бы то ни было эстетических чувств, к тому же способность испытывать эстетические чувства легко разрушается. Когда вы напуганы, голодны или страдаете от зубной боли, «Король Лир» в вашем восприятии будет ничем не лучше «Питера Пэна». Умом вы можете понимать, что шекспировская пьеса лучше, вы это просто помните, но вы не сможете почувствовать достоинства «Короля Лира», пока не придете в нормальное состояние. Столь же катастрофически (более катастрофически, ибо причина не так очевидна) эстетическое суждение может разрушаться политическим или моральным несогласием. Если книга возмущает, ранит или беспокоит вас, вы ею не насладитесь, каковы бы ни были ее достоинства. Если книга покажется вам вредной, способной дурно

повлиять на других людей каким-либо нежелательным образом, вы, скорее всего, выстроите эстетическую теорию для доказательства отсутствия у данной книги достоинств. Современная литературная критика по большей части состоит из такого рода шараханий между двумя наборами штампов. Тем не менее возможен и обратный процесс: наслаждение способно пересилить несогласие, даже если вы ясно осознаете, что наслаждаетесь чем-то враждебным вашим взглядам. Хороший пример тому – Свифт, мировоззрение которого столь неприемлемо, но который все же чрезвычайно популярный писатель. Почему же мы не возражаем, когда нас зовут йэху, будучи твердо убеждены, что мы не йэху?

Тут не отделаться обычным ответом, что, конечно же, Свифт был не прав, в общем-то, он был безумен, но это не мешает ему быть «хорошим писателем». Верно, что литературное достоинство книги в какой-то небольшой степени независимо от ее содержания. Есть люди с природным даром пользоваться словами, так же как есть люди, которым природа даровала «счастливый глаз» в играх. В значительной степени этот природный дар сводится к чувству меры и чисто инстинктивному умению правильно расставить акценты. Первый под руку попавшийся пример – вернитесь к процитированному мною отрывку, начинающемуся словами: «В Королевстве Трибния, именуемом Туземцами Лангдон...». Наибольшую экспрессию ему придает заключительная фраза: «Это и есть анаграмматический Метод». Строго говоря, эта фраза не нужна, потому что мы и без того уже поняли, как дешифруется анаграмма. Тем не менее издевательски торжественный повтор, где слышен, кажется, голос самого Свифта, произносящего эти слова, как последний удар по гвоздю, заставляет понять до конца весь идиотизм описанных действий. Однако ни вся сила и простота Свифтовой прозы, ни его воображение, которое помогло ему представить не один, а целый ряд невероятных миров более достоверными, чем большинство исторических книг, – ничто не заставило бы нас наслаждаться Свифтом, если бы его мировоззрение было действительно ранящим или шокирующим. Миллионы людей во многих странах, должно быть, наслаждались «Путешествиями Гулливера», более или менее улавливая антигуманный скрытый смысл этого произведения; даже у ребенка, для кого первая и вторая части простой рассказ, появляется чувство абсурдности, когда он думает о людях шестидюймового роста. Объяснить это следует тем, что мировоззрение Свифта не воспринимается как во всем фальшивое, или было бы, вероятно, точнее сказать: всегда фальшивое. Свифт – больной писатель. Он постоянно остается в подавленном состоянии, какое большинство людей испытывает лишь изредка. Представьте себе, что страдающий от желтухи или последствий инфлюэнцы должен набраться энергии для написания книг. Но это состояние все же знакомо нам всем, и что-то в нас отзывается на выражение его. Взять, к примеру, одно из характернейших произведений Свифта – «Дамскую уборную» (кто-то, возможно, добавит к нему стихотворение в том же стиле – «О юной и прекрасной нимфе, лежащей в постель»). Что истиннее – точка зрения, выраженная в этих стихотворениях, или точка зрения, заключающаяся в строке Блейка – «Женских форм обнаженность божественна»? Сомнений нет, Блейк ближе к истине. И все же кто из нас не испытывает своего рода удовольствие, увидев хоть разочек, как растаптывают идею о пресловутой деликатности женской природы? Рисуя картину мира, Свифт фальсифицирует ее, отказываясь замечать в жизни людей что-либо помимо грязи, глупости и порочности, но та часть, которую он абстрагирует от целого, существует на самом деле, и мы все знаем о ней, хотя и избегаем упоминать. Часть нашего сознания (у любого нормального человека это доминирующая часть) верит, что человек – животное благородное и жить на свете стоит, но в нас таится и некое внутреннее «я», которое время от времени охватывает ужас перед мерзостью бытия. Самым странным образом удовольствие и отвращение соединены. Тело человеческое прекрасно – и оно же отвратительно и смешно (это факт, удостовериться в котором можно в любом плавательном бассейне). Половые органы

являются объектами желания – и одновременно отвращения (настолько, что во многих языках, если не во всех, их названия используют как ругательства). Мясо – превосходное кушанье, но лавка мясника наводит тошноту (вся наша пища доподлинно происходит, в конечном счете, из навоза и мертвечины, из всех вещей эти две кажутся нам самыми ужасными). Дитя, уже выросшее из младенчества, но еще вззирающее на мир незамутненными глазами, испытывает омерзение почти так же часто, как и удивление: омерзение от соплей и слюней, собачьего кала на тротуаре, подыхающей жабы, полной червяков, потного запаха взрослых, безобразия стариков с их лысыми головами и носами картошкой. В бесконечно повторяемых описаниях болезней, грязи, уродства Свифт фактически ничего не придумывает – он просто кое-что оставляет в стороне. Человек ведет себя – особенно в политике – именно так, как он пишет, хотя на его поведение воздействуют и другие, более важные факторы, которые Свифт отказывается признавать. Насколько мы можем понять, и ужас и боль необходимы для продолжения жизни на этой планете, поэтому пессимисты вроде Свифта могут говорить: «Коли ужас и боль навсегда быть должны с нами, как же можно существенно улучшить жизнь?» На самом деле его позиция есть позиция христианская за минусом подачи в виде «мира иного», что, однако, меньше тревожит умы верующих, чем убеждение, будто мир сей есть юдоль слез, а могила есть приют отдохновения. Но это, я уверен, неправильная позиция, и она может пагубно воздействовать на поведение человека, но что-то в нас откликается на нее, как находят в нашей душе отклик печальные слова отпевания и сладковатый трупный запах в деревенской церкви.

Часто утверждают, во всяком случае люди, признающие важность содержания, будто книга не может быть «хорошей», если в ней выражен явно ошибочный взгляд на жизнь. Утверждают, к примеру, что в наш век любое имеющее подлинно художественное достоинство произведение обязательно будет более или менее «прогрессивно» по направлению. При этом игнорируется тот факт, что на протяжении всей истории бушевала такая же борьба между прогрессом и реакцией и что лучшие произведения любой эпохи всегда писали с нескольких различных точек зрения и некоторые были явно более ошибочными, чем другие. К писателю, как пропагандисту, можно предъявлять самое большое два требования: чтобы он искренне верил в то, о чем пишет, и чтобы это не было вопиюще глупым. Сегодня, например, можно представить себе хорошую книгу, написанную католиком, коммунистом, фашистом, пацифистом, анархистом, не исключено, что и старомодным либералом, а то и обыкновенным консерватором. Нельзя представить автором хорошей книги спиритуалиста, бухманита или члена ку-клукс-клана. Взгляды, которых придерживается писатель, не должны быть ненормальными (в медицинском смысле этого выражения) и не должны противоречить способности к последовательному мышлению – за пределами этого мы вправе требовать от писателя лишь одного: таланта, что, вероятно, есть иное название убежденности.

Свифт не был наделен расхожей мудростью, но он, несомненно, обладал огромной силой и глубиной просвещения, способностью выделить одну-единственную скрытую истину, а затем увеличить и исказить ее. Непреходящая популярность «Путешествий Гулливера» – пример тому, что мировоззрение, едва прошедшее испытание на здравый смысл, может все-таки создать великое произведение искусства, если автор действительно глубоко убежденный человек.

1946 г.

КАК УМИРАЮТ БЕДНЯКИ  
(Перевод В. Мисюченко)



В 1929 году я провел несколько недель в больнице 15-го округа Парижа, Hôpital X. В приемном отделении служители подвергли меня обычному допросу третьей степени: битых двадцать минут отвечал я на вопросы, прежде чем был пропущен. Если вам приходилось заполнять анкеты, скажем во Франции или Италии, вы поймете, какие вопросы я имею в виду. Даже спустя несколько дней я так и не научился переводить градусы Реомюра в шкалу Фаренгейта, но уже тогда чувствовал, что температура у меня где-то под 103 градуса[51], так что на последние вопросы я отвечал едва ли не в полубоморочном состоянии. За моей спиной переминалась с ноги на ногу кучка больных, державших в руках увязанные в цветастые платки пожитки. Они безропотно ждали своей очереди на допрос.

Вслед за допросом – ванна, еще одна обычная процедура для всех новичков, словно в тюрьме или мастерских. Одежду у меня отобрали. Проздрожав несколько минут в пяти дюймах теплой воды, я получил полотняную ночную рубашку и короткий синий фланелевый халат, никаких тапочек не дали – не нашли для меня достаточно большого размера. Вывели во двор. На дворе стоял февраль, а меня мучила пневмония. Палата, куда мы направлялись, была в 200 ярдах, чтобы попасть туда, нужно было пересечь больничный двор. Сопровождающий ковылял впереди с фонарем, дорожная галька едва не примерзала к ступням, а ветер, как хлыстом, стегал меня по голым икрам полами халата. Когда мы добрались до палаты, я ощутил странное чувство чего-то знакомого, чего именно, я смог понять позже, ночью. Палата представляла собой длинную, с довольно низким потолком, плохо освещенную комнату, наполненную бормотаньем множества голосов, с тремя рядами коек, стоявших удивительно близко друг к другу. Висел отвратительный запах, словно бы настоенный на испражнениях и в то же время сладковатый.

Улегшись, я увидел, как по соседству со мной доктор и студент проделывали странную операцию над маленьким, с округлыми плечами и соломенными волосами, пациентом, который сидел на койке полуобнажившись. Вначале доктор достал из своего черного саквояжа дюжину стекляшек, похожих на круглые винные рюмочки, затем студент зажигал внутри каждой рюмочки спичку, выжигая воздух, и быстро шлепал стекляшки на спину и грудь больного, из-за разряженного воздуха кожа под рюмочками вздувалась огромным желтым волдырем. Несколько секунд потребовалось, прежде чем я сообразил, что делали с этим больным. Называлось это ставить банки, лечение, о котором можно прочесть в старинных медицинских учебниках и которое, как до того момента я смутно предполагал, применялось для лошадей.

Холод на дворе, видимо, сбил у меня температуру, и я наблюдал за варварским способом исцеления отрешенно и даже не без увеселения. Но тут доктор и студент подошли к моей койке, вздернули меня торчком и, не говоря ни слова, принялись лепить к моему телу тот же комплект стекляшек, никоим образом не стерилизованных. Несколько хилых протестов, изданных мною, произвели впечатление не больше, чем мычание животного. Я был потрясен бесстрашием, с которым эта пара принялась за меня. Никогда прежде не бывал я в общей палате и впервые столкнулся с врачами, которые во время процедур не удостаивают тебя ни единым словом, вернее даже – вообще не видят в тебе человеческое существо. Налепив поначалу шесть банок, эскулапы сняли их, надрезали волдыри и вновь наклепали банки, каждая из которых откачала из меня по десертной ложке темной крови. Когда я снова смог лечь, противный самому себе, униженный и напуганный тем, что со мною проделали, то полагал, что теперь-то меня по крайней мере оставят в покое. Но нет, ничуть не бывало. Подоспела еще одна процедура, по-видимому, такая же рутинная, как и теплая ванна, – горчичный компресс. Две неряшливые медсестры, заранее приготовив горчичную повязку, запеленали меня в нее, словно в смирительную рубашку. К этому моменту у моей койки стали собираться бродившие по

палате в рубашках и брюках больные. На их лицах я увидел полусочувственные ухмылки. Позже я уяснил, что любимейшим времяпрепровождением в палате было созерцание пациента, которому поставили горчичники. Ставят их обычно на четверть часа, и, если только по случаю в них окажетесь не вы, процедура выглядит весьма забавной. Первые пять минут жжет ужасно, но вы верите, что сможете это выдержать. В течение следующей пятиминутки эта вера испаряется, но повязка закреплена на спине так, что сорвать ее невозможно. В последние пять минут, как я заметил, пациентом овладевает нечто вроде бесчувственного оцепенения.

Наконец, горчичники сняли, мне под голову сунули клеенчатую подушку со льдом и оставили в покое. Я не спал. Насколько помню, то была единственная ночь в моей жизни (я имею в виду из тех, что я провел в постели), когда я не спал вовсе, ни единой минуты.

В первые часы пребывания в Hôpital X я подвергся целой серии разных, порой взаимоисключающих процедур, однако интенсивность терапии оказалась обманчивой. В общем-то лечением – ни хорошим, ни плохим – там никак не обременяли, если только вам не удалось подцепить какую-нибудь интересную, показательную-познавательную болезнь.

В пять часов утра появлялись сестры, будили больных и ставили им градусники. Об умывании не было и речи. Есть у вас силы – мойтесь сами, нет сил – уповайте на милосердие кого-нибудь из ходячих больных. Как правило, сами пациенты выносили и «утки», и отвратительную парашу, прозванную *la casserole*, кастрюлькой. В восемь утра доставлялся завтрак, именовавшийся по-армейски – *la soupe*, супом. Был там и суп, жиденькая овощная похлебка с плавающими в ней тонкими ломтями хлеба. Попозже днем совершал обход высокий, важный чернобородый доктор, сопровождаемый лечащим врачом и стаей студентов, следовавших по пятам за мэтром. В палате нас было почти шестьдесят, ясно, что под высоким патронажем находились и другие палаты, поэтому день за днем доктор проходил мимо множества коек, с которых вослед ему неслись умоляющие крики.

Другое дело, если у вас болезнь, с которой хотели бы поближе познакомиться студенты. Тут на вас обрушится волна внимания, впрочем, своеобразного. Сам я, имея исключительно замечательный образчик бронхиальных хрипов, порой привлекал к своей койке дюжину студентов, желавших по очереди прослушать мою грудь. Странное возникало чувство. Я называю его странным в попытке увязать огромный интерес студентов к постижению тайн своего ремесла с легко различимым у них отсутствием восприятия больного как человеческого существа. Странно выглядело, но иной молодой студент, дождавшийся своей очереди возложить на вас руки, едва прикоснувшись к вам, начинал прямо-таки дрожать от возбуждения, точь-в-точь как малыш, заполучивший-таки в свое распоряжение вожделенную игрушку. И вот к вашей груди ухо за ухом прикладываются юноши, девушки, негры, их пальцы на пересменки важно, но неуклюже выстукивают вас, только ни от одного начинающего лекаря не дождетесь вы ни вопроса, ни слова участия или хотя бы открытого, прямого взгляда вам в лицо. Неплатящий пациент в рубахе-униформе, вы прежде всего экспонат, – такое положение меня не то чтобы очень обижало, но привыкнуть к нему я так и не смог.

Через несколько дней я кое-как поправился и уже мог сидеть и, таким образом, изучать окружающих. Душная комната с узкими койками, приткнутыми друг к другу так тесно, что можно легко коснуться руки соседа, напичкана всеми видами заболеваний, кроме, полагаю, остро инфекционных. Сосед справа, низенький рыжеволосый сапожник, у которого одна нога короче другой, обычно объявлял о

смерти того или иного больного (такое случалось не раз, и всегда мой сосед узнавал об этом первым). Делал он это так: присвистнув, подзывал меня, восклицал «Нумер 43!» (или другой по случаю) и крестом воздевал руки над головой. У рыжего, по-видимому, ничего страшного не было, зато на большинстве коек куда бы ни глянь видел я картину безотрадную, либо подлую трагедию, либо просто ужас во плоти. Вот койка, обитатель которой едва не упирался своими ногами в мои, – маленький иссохший человечек, смерти которого я не видел (перед самой кончиной его переложили куда-то). Не знаю, что за болезнь у него была, но от нее все его тело сделалось настолько чувствительным, что любое движение, перемещение, а то и попросту тяжесть одеяла заставляли страдальца кричать от боли. Больше всего он мучился, справляя малую нужду, что приходилось проделывать с громадными трудностями. Сестра приносила «утку», потом долго стояла у его койки посвистывая (говорят, конюхи проделывают такое с лошадьми), пока, наконец, под агонизирующий вопль «Je pisse!» несчастный не извергал мочу. Рядом со страдальцем лежал тот соломенноволосый больной, которому на моих глазах ставили банки и который постоянно отхаркивал кровавую слизь.

По левую руку от меня лежал высокий дряблого вида молодой человек. Ему регулярно вводили в спину трубку, через которую откуда-то изнутри организма откачивали потрясающее количество пенистой жидкости. За ним лежал умирающий ветеран войны 1870 года, симпатичный старик с седой эспаньолкой. Когда разрешались посещения, его койку все время окружали, словно вороны, четыре одетые в черное пожилые родственницы, по всему видно, высиживали ничтожное наследство. В самом дальнем углу, напротив меня, койку занимал лысый старик с обвислыми усами. Лицо и тело его сильно вздулись, он мучился какой-то болезнью, заставлявшей его мочиться почти непрерывно, поэтому рядом с его койкой всегда стояла огромная стеклянная посуда. Однажды старика навестили жена и дочь. При их появлении обрюзгшее лицо его осветилось улыбкой непередаваемого счастья, и когда дочь, милая девушка лет двадцати, приблизилась к койке, я увидел, как старик тщится выпростать руку из-под одеяла. Мгновенно я вообразил продолжение этой сцены: коленопреклоненная девушка у постели умирающего отца, который в последнем благословении возлагает руку на ее поникшую головку. Но нет, он просто протянул дочери «утку», та быстро взяла ее и опорожнила в посудину рядом с койкой.

Через дюжину коек от меня лежал Нумер-57 – думаю, он так и числился под этим номером, – экспонат с циррозом печени. Вся палата знала его в лицо, потому что время от времени он становился темой лекции и наглядным пособием для нее. Дважды в неделю высокий, мрачного вида доктор читал в палате лекции очередной партии студентов, и не раз на середину комнаты в коляске, похожей на тачку, вывозился старый Нумер-57. Доктор заворачивал у больного рубашку, вытягивал пальцами большой дряблый протуберанец у него на животе – полагаю, пораженную печень – и важно объяснял, что сия болезнь вызывается алкоголизмом, обычным в странах, где вино является повседневным напитком. По обычаю, доктор не удостоивал пациента ни словом, ни улыбкой, ни даже кивком или иным знаком знакомства. Очень мрачный, будто аршин проглотивший доктор во время лекции обеими ладонями придерживал под кожей больного бесполезный для того орган, порой мягко перекачивал его взад-вперед, точь-в-точь как женщина, орудующая скалкой. Нумер-57 ничего против такого обхождения не имел. Он был явным старожилом больницы, постоянным наглядным пособием на лекциях, в каком-нибудь патологоанатомическом музее для его печени давно уже была отмаркирована специальная колба. Доктор демонстрировал его, словно антиквар лелеемое изделие из фарфора, а Нумер-57 лежал, уставя бесцветные глаза в никуда, абсолютно равнодушный к тому, что о нем говорилось. Выглядел он, страшно высохший, лет на шестьдесят, даже личико его, обтянутое пергаментом кожи, казалось, усохло до размеров кукольного.

Однажды утром мой сосед-сапожник до прихода сестер разбудил меня и со словами: «Нумер-57!» – скрестил руки над головой. В тусклом свете была различима фигура старого Нумера-57, лежавшего, скорчившись, на боку. Лицо его свисало с койки – в мою сторону. Умер он ночью, когда точно – не знал никто. Появившиеся сестры восприняли его смерть безразлично и занялись обычной работой. Только через час или больше две другие сестры промаршировали плечом к плечу, с усердием, как солдаты на плацу, чеканя шаг деревянными башмаками, и укутали труп в простыни. Прошло, однако, еще немало времени, прежде чем его убрали, и при дневном свете я успел хорошенько рассмотреть Нумер-57. Лежал на боку – и рассматривал. Любопытство возбуждало уже то, что он был первым увиденным мною мертвым европейцем. Мертвых я видывал и прежде, но всегда – азиатов, к тому же чаще всего умерших насильственной смертью. Глаза Нумера-57 были все еще открыты, рот тоже открыт, маленькое личико искажено выражением агонии. Больше всего меня поразила белизна этого лица. Бледное и прежде, теперь оно было почти неразличимо на простыни. Вглядываясь в крошечное, искаженное личико, я был поражен мыслью: эти-то вот безобразные останки, которые увезут и шмякнут на плиту в анатомичке, и являли собой пример «естественной» смерти, одной из вещей, о ниспослании которых мы взыскуем в своих молитвах. Так вот, подумал я, что ждет тебя через двадцать, тридцать, сорок лет, вот как умирают дожившие до старости счастливицы!

Человек хочет жить, но, убежден, живым он остается благодаря страху смерти. И все же сейчас я думаю, как подумал и тогда, что лучше принять насильственную смерть – и не слишком старым. Люди говорят об ужасах войны, но какое человеком придуманное оружие хотя бы сравниться могло по жестокости с некоторыми обычными болезнями? «Естественная» смерть – самое определение это означает нечто медленное, дурнопахнущее, болезненное. Но даже в таком случае есть разница: настигнет она вас в вашем собственном доме или в каком-нибудь публичном учреждении. Старый бедняга, который только что угас, как свеча, не удостоился даже того, чтобы кто-то близкий находился у одра его в смертный час. Был он просто номером, а стал «полем деятельности» для студенческих скальпелей.

А непотребная публичность смерти в таком месте! В Hôpital X койки были так приткнуты друг к другу, что ни о каких ширмах и речи не могло быть. Представьте, например, как умирал маленький человечек, чьи ноги едва не упирались в мои, тот самый, кто кричал от боли при самом легком касании простыни или одеяла! Осмелюсь предположить, что последними словами, услышанными от него, были: «Je pisse!» Слышу, слышу стандартный ответ: умирающего, мол, такие вещи не беспокоят. Возможно. Только умирающие – это люди, часто здравость рассудка они сохраняют до самого последнего своего дня, а то и часа.

С ужасами, наполняющими общие больничные палаты, вряд ли сталкиваются те, кому суждено умереть в собственном доме, поскольку жертвами определенных болезней становятся люди малообеспеченные, бедные. Достоверен, однако, факт: ни в одной английской больнице вы не увидите того, с чем столкнулся я в Hôpital X. Хотя бы это: люди умирают, словно животные, в одиночестве, не вызывая ни интереса, ни сочувствия, их смерть ночью может остаться незамеченной до утра – там такое случалось не раз. В Англии этого, несомненно, не увидишь, тем более не может здесь случиться, чтобы труп лежал неприбранным на виду у других пациентов. Помню, однажды в сельской английской больнице умер человек. Случилось это, когда мы – а нас в палате было шестеро – пили чай. Сестры же действовали так споро и так ловко, что мы узнали о смерти, лишь завершив чаепитие и обнаружив пустую кровать, с которой было убрано тело. Полагаю, мы в Англии недооцениваем, каким благом обладаем, имея большое число хорошо обученных, строго вышколенных

медицинских сестер. Слов нет, английские сестры достаточно туповаты, они могут гадать на чайных листьях, носить значки с Юнион-Джеком и украшать камин фотографиями королевы, зато они не оставят вас лежать неумытым или страдать запором на неприбранной постели. В Hôpital X сестры смахивают на ленивых нерях. Позже, в военных госпиталях республиканской Испании мне пришлось иметь дело с сестрами, которые были слишком безграмотны, чтобы измерить температуру. Нигде в Англии вы не увидите и такую грязь, как в Hôpital X. Поправившись настолько, чтобы самому мыться в ванной, я обнаружил там огромный ящик, в который сваливались пищевые отходы и грязные бинты, панели стен кишели сверчками. Когда я получил обратно свою одежду и почувствовал, что более или менее прочно стою на ногах, я дал стрекача из Hôpital X, не дожидаясь выписки.

Hôpital X не единственная больница, откуда я сбегал, но именно ее мрак и скудность, ее болезненный запах, особенность ее психической атмосферы хранятся в моей памяти как нечто из ряда вон выходящее. Поместили меня в нее потому, что она обслуживала тот округ, в котором жил я, между прочим, в полном неведении (пока не испытал на себе), что эта больница пользуется дурной репутацией. Годом или двумя позже меня в Hôpital X попала знаменитая мошенница мадам Ано, которая заболела, будучи заключенной в тюрьму. Через несколько дней ей удалось ускользнуть от больничных стражей: взяв такси, она прикатила обратно в тюрьму, объяснив, что там ей гораздо удобнее.

Не сомневаюсь, что Hôpital X была совершенно нетипична для французских больниц даже в те времена. Только, вот, пациенты ее – почти все они рабочие люди – были на диво безропотны. Некоторые, казалось, даже находили больничные условия почти комфортабельными. Среди них по крайней мере двое были нищими симулянтами, которые сочли больницу недурным способом пережить зиму. Сестры симулянтам попустительствовали, поскольку те оказались полезными для выполнения разной малоприятной работы. Отношение же большинства выражалось примерно так: место, оно, конечно, мерзкое, но чего еще ты ждал? Им не казались странными ни побудка в пять утра, ни последующее трехчасовое ожидание водянистого супчика, которым начинался день, ни то, что люди должны умирать, когда рядом с ними нет никого из близких, ни даже то, что шанс получить медицинскую помощь зависит от того, приглянется или нет больной доктору, спешащему вдоль коек. В их сознании уже укоренилось, в их представлениях уже въелось, что больницы именно такими и должны быть. Мол, если ты заболел, а денег на лечение дома у тебя нет, то отправляйся в больницу, а коль скоро попал туда, будь добр мирись с грубостью и неудобствами, как в армии.

Интереснее всего для меня было обнаружить неколебимую веру в старые истории, которые почти изгладились из памяти англичан. Например, истории о докторгах, которые из чистого любопытства вскрывают вас, как консервную банку, или считают забавой и шиком начать операцию до того, как на вас по-настоящему подействовал наркоз. В ходу были и страшные сказки о маленькой операционной комнате, расположенной сразу за ванной, откуда, говорят, доносились леденящие душу вопли. Я не видел ничего подтверждающего эти рассказы, несомненно, все они – полная чушь. Но я своими глазами видел, как два студента затеяли опыт и этим убили 16-летнего парня (или почти убили: он умирал, когда я сбежал из больницы, но позже мог и выкарабкаться с того света). Вряд ли они проделали бы такой опыт с пациентом, способным заплатить за лечение. Было время, оно еще и на нашей памяти, когда в Лондоне верили, будто в некоторых больших клиниках убивают пациентов, чтобы заполучить «сырье» для анатомичек. Не слышал, чтобы эту сказку повторяли в Hôpital X, но смею думать, что тамшние больные в нее бы поверили. Такому нельзя не поверить в больнице, где выжили если не приемы и методы

лечения, то уж точно многие признаки больничного духа XIX века.

За последние полсотни лет произошла огромная перемена в отношениях между врачом и пациентом. Обратившись почти к любому литературному источнику до конца XIX века, вы обнаружите, что больница в них становится в один ряд с тюрьмой, причем, не просто тюрьмой, а стародавней подземной темницей. Больница – прибежище мерзости, пыток и смерти, нечто вроде могильной прихожей или кладбищенских сеней. Никому, если он мало-мальски не бедняк, и в голову не придет отправиться лечиться в такое место. Простые люди на врачевание всегда смотрели с ужасом и трепетом, особенно в начале прошлого века, когда медицинская наука, ничуть не став успешнее, почувствовала себя самоувереннее, чем прежде. Хирургия, та и вовсе считалась ничем иным как своеобразной ужасной формой садизма, вскрытие, невозможное без посредства похитителей трупов, причислялось к некромании. Из произведений XIX века легко составить солидную библиотеку литературы ужасов, повествующей о врачах и больницах. Вспомним хотя бы беднягу Георга III, в старческом слабоумии вопящего о пощаде при виде придворных хирургов, собравшихся «кровь ему пустить, пока он в обморок не рухнет»! А вспомните беседы Боба Сойера с Бенджаминем Алленом, которые трудно считать только пародией, или картины полевых лазаретов в «La Debacle» и в «Войне и мире», или шокирующее описание ампутации в «Белом жилете» Мелвилла! Даже имена врачей в английской литературе XIX века – Слэшер (Рубака), Карвер (Рубщик), Сойер (Пильщик), Филгрейв (Могильщик) и т. п., – их родовая кличка «костоправы», – они столь же мрачны, сколь и комичны. Традиции антихирургии, пожалуй, лучше всего выражены в поэме Теннисона «Детская больница», написана она, если не ошибаюсь, в 1880-м, но с полным основанием может быть причислена к литературным документам дохлороформовой эпохи. Взгляды, которые воспевают Теннисон в своей поэме, можно объяснить многим. Если вы представите себе, как могла бы выглядеть операция без анестезии, какой она, без сомнения, была, то вряд ли отрешитесь от подозрительного отношения к мотивам людей, решавшихся делать подобные вещи. Ибо кровавые ужасы, столь привлекавшие студентов («Превосходное зрелище, если за дело берется Слэшер!»), по общему мнению, были почти бесполезны: больной, если не умирал от шока, обычно умирал от гангрены – итог, воспринимавшийся как само собой разумеющееся.

Еще и поныне можно отыскать докторов, чьи мотивы и помыслы вызывают сомнения. Любой, кто долго или часто болел, кто наслушался разговоров студентов-медиков, поймет, что я имею в виду. Однако анестезия стала поворотным пунктом, а дезинфекция – еще одним. Нигде в мире ныне, пожалуй, не увидишь сцены, подобной той, что описана Акселем Мюнцем в «Истории Сен-Мишеля». Там злобещий хирург в цилиндре и сюртуке, в залитой кровью и гноем манишке одним и тем же ножом кромсает пациента за пациентом, сваливая отрезанные конечности в кучу около стола. Теперь национальное страхование здоровья частично разделалось даже с идеей, будто пациент-рабочий – это нищий, с которым нет смысла церемониться. Еще в нашем веке сохранялся обычай больших клиник: «бесплатным» пациентам зубы удаляли без «заморозки», они, мол, не платят, а потому зачем им анестезия, – таково было отношение. Сегодня и оно изменилось.

И все же любое учреждение консервирует, долго несет в себе память о собственном прошлом. В казармы по сей день наведывается призрак Киплинга, в мастерскую трудно войти, не вспомнив «Оливера Твиста». Больницы берут свое начало от временных палат, где умирали прокаженные и им подобные. Они развивались как учреждения, где студенты-медики учились своему искусству на телах бедняков. По сей день можно уловить прошлое медицины по характерно безрадостной архитектуре больничных зданий. Я далек от жалоб на лечение, которому меня подвергали в

английских больницах, но убежден, что именно здоровый инстинкт заставляет людей держаться по возможности подальше от больниц и особенно – подальше от общих палат. Каким бы ни было правовое положение, совершенно ясно, что когда дело доходит до «подчиняйся дисциплине или убирайся вон», тогда у вас куда меньше шансов как-то влиять на собственно лечение, значительно меньше уверенности в том, что на вас не опробуют некий фривольный эксперимент.

Великое дело умереть в собственной постели, хотя куда лучше умереть в собственных ботинках. Сколь бы ни велика была доброта и расторопность персонала, в каждой больничной смерти вечно пребудут жестокость или гадость, пребудут в какой-нибудь детали, в мелочах, о которых и говорить-то не стоит, но которые оставляют по себе ужасно болезненные воспоминания, порожденные суетой, спешкой, давкой, бесстрашием места, где каждый день люди умирают среди незнакомцев.

Трепет, страх перед больницами, возможно, до сих пор живут в душах бедняков, да и у всех нас они исчезли совсем-совсем недавно. Черное пятно страха пока не глубоко ушло с поверхности нашего сознания. Я уже говорил, как, переступив порог палаты в Hôpital X, ощутил странное чувство чего-то знакомого. Увиденное напомнило мне провонявшие, болью переполненные больницы XIX века, которые я никогда не видел, но знания о которых мне были переданы в традициях. И что-то: то ли одетый в черное доктор с неряшливым черным саквояжем, то ли болезнетворный запах – сыграли шутку и подняли из моей памяти ту поэму Теннисона «Детская больница», о которой я уже почти два десятка лет как и думать забыл. Так уж случилось, что мне, ребенку, ее читала вслух сиделка, рабочий стаж которой восходил к временам, когда Теннисон писал свою поэму. Ужасы и страдания старых больниц были живы в ее памяти. Она читала поэму, и нас обоих охватывала дрожь. А потом я вроде бы забыл ее, даже название поэмы скорее всего не вызвало бы у меня никаких воспоминаний. Но первый же взгляд на плохо освещенную, наполненную бормотанием множества голосов, напичканную койками палату неожиданно выскрился в мозгу ток воспоминаний, в которых все это находило место. И в ту свою первую ночь в больнице я обнаружил, что помню и сюжет и строй поэмы, а некоторые ее строчки знаю наизусть.

1946 г.

#### ПИСАТЕЛИ И ЛЕВИАФАН

(Перевод А. Зверева)

О положении писателя в эпоху, когда все находится под контролем государства, уже немало сказано, хотя большая часть информации, относящейся к этой теме, пока недоступна. Я не собираюсь высказываться за государственный патронаж над искусствами или против него, я только хочу определить, какие именно требования, исходящие от государственной машины, которым хотят нас подчинить, отчасти объяснимы атмосферой, иными словами, мнениями самих писателей и художников, степенью их готовности подчиниться или, напротив, сохранить живым дух либерализма. Если лет через десять выяснится, как мы раболепствовали перед деятелями типа Жданова, значит, много мы и не заслужили. Совершенно ясно, что уже и сейчас среди английских литераторов сильны тоталитаристские настроения. Впрочем, здесь речь идет не о каком-то организованном и сознательном движении вроде коммунистического, а только о последствиях, вызванных возникшей перед людьми доброй воли необходимостью думать о политике и выбирать политическую позицию.

Мы живем в век политики. Война, фашизм, концлагеря, резиновые дубинки, атомные

бомбы и прочее в том же роде – вот о чем мы размышляем день за днем, а значит, о том же главным образом пишем, даже если не касаемся всего этого впрямую. По-другому быть не может. Очутившись на пароходе, который тонет, думаешь только о кораблекрушении. Но тем самым мы не просто ограничиваем свой круг тем, мы и свое отношение к литературе окрашиваем пристрастиями, которые, как нам хотя бы порой становится ясно, лежат вне пределов литературы. Нередко мне начинает казаться, что даже в лучшие времена литературная критика – сплошной обман, поскольку нет никаких общепринятых критериев, реальность не дает никаких подтверждений оценкам, по которым вот эта книга «хорошая», а та «плохая», и выходит, что всякое суждение основано лишь на том или ином своде правил, призванных обосновать интуитивные пристрастия. Истинное восприятие книги, если она вообще вызывает какой-то отзвук, сводится к обычному «нравится», «не нравится», а все прочее – лишь попытка рационального объяснения этого выбора. Мне кажется, такое вот «нравится» вовсе не противоречит природе литературы; противоречит ей другое: «Книга содержит близкие мне идеи, и поэтому необходимо найти в ней достоинства». Разумеется, превознося книгу из сугубо политических соображений, можно при этом не кривить душой, искренне принимая такое произведение, но столь же часто бывает, что чувство идейной солидарности с автором толкает на прямую ложь. Это хорошо известно каждому, кто писал о книгах в периодике с четкой политической линией. Да и вообще, работая в газете, чьи позиции разделяешь, гробишь тем, что ей поддакиваешь, а в газете, которая по своей ориентации тебе далека, – тем, что умалчиваешь о собственных взглядах. Так или иначе, бесчисленные произведения, в которых твердо проводится определенная агитация – за Советскую Россию или против, за сионизм или против, за католическую церковь или против и т. д., – оказываются оценены еще до того, как их прочтут, собственно, до того, как напишут. Можно уверенно предсказать, какие отклики будут в этой газете, а какие в другой. И при всей бесчестности, которую уже едва осознают, поддерживается претензия, будто о книгах судят по литературным меркам.

Понятно, что вторжение политики в литературу было неотвратимым. Даже не возникни особый феномен тоталитаризма, оно бы все равно свершилось, потому что в отличие от своих дедов мы прониклись угрызениями совести из-за того, что в мире так много кричащих несправедливостей и жестокостей, и это чувство вины, побуждая нас ее искупить, делает невозможным чисто эстетическое отношение к жизни. В наше время никто не смог бы так самозабвенно отдаться литературе, как Джойс или Генри Джеймс. Но беда в том, что, признав свою политическую ответственность, мы отдаем себя во власть ортодоксальных доктрин и «партийных подходов», хотя из-за этого приходится трусливо молчать и поступаться истиной. По сравнению с писателями викторианской эпохи нам выпало несчастье жить среди жестко сформулированных политических идеологий, чаще всего наперед зная, какие идеи представляют собой ересь. Современный писатель постоянно снедаем страхом – в сущности, не перед общественным мнением в широком смысле слова, а перед мнениями той группы, к которой принадлежит он сам. Хорошо хоть, что таких групп, как правило, несколько и есть выбор, однако всегда есть и доминирующая ортодоксия, посягательство на которую требует очень крепких нервов и нередко готовности сократить свои расходы вполювину, причем на много предстоящих лет. Всем известно, что последние полтора примерно десятилетия такой ортодоксией, особенно влиятельной среди молодежи, является «левизна». Для нее самыми ценными эпитетами остаются слова «прогрессивный», «демократический», «революционный», а теми, которых приходится пуще всего страшиться, – «буржуазный», «реакционный», «фашистский»: не дай бог и к тебе могут прилипнуть эти клички. Ныне чуть не все и каждый, включая большинство католиков и консерваторов, «прогрессивны» или хотят, чтобы о них так думали. Мне неизвестно ни одного случая, когда бы человек говорил о себе, что он



«буржуазен», точно так же, как люди, достаточно грамотные, чтобы понять, о чем речь, ни за что не признают за собой антисемитизма. Все мы славные демократы, антифашисты, антиимпериалисты, все презираем классовые разделения, возмущаемся расовыми предрассудками и т. д. Никто всерьез не сомневается, что нынешняя «левая» ортодоксия предпочтительнее довольно снобистской ханжеской консервативной ортодоксии, которая доминировала двадцать лет назад, когда самыми влиятельными журналами были «Крайтерион» и (куда менее притязательный) «Лондон Меркьюри». Ведь, что ни говори, провозглашенной целью «левых» является жизнеспособное общество, которого и вправду хотят массы людей. Но у «левых» есть своя демагогия и ложь, а поскольку это не признается, некоторые проблемы становятся просто невозможным по-настоящему обсуждать.

Вся левая идеология – и научная, и утопическая – разработана теми, кто не ставил перед собой как непосредственную задачу достижение власти. Поэтому она была идеологией экстремистской, подчеркнуто не считавшейся с царями, правительствами, законами, тюрьмами, полицейскими, генералами, знаменами, границами, с патриотическими чувствами, религией, моралью – словом, со всем наличествующим порядком вещей. Еще на нашей памяти левые силы во всех странах сражались против тирании, казавшейся неуязвимой, и легко было предполагать, что, если бы только вот эта конкретная тирания – капитализм – была свергнута, социализм немедленно бы воцарился вместо нее. Кроме того, от либералов левые переняли несколько весьма сомнительных верований – например, во всепобеждающую силу правды, в то, что подавлять – значит губить самих себя, и что по природе своей человек добр, и что злым его делают исключительно окружающие условия. Эта перфекционистская доктрина глубоко укоренена почти во всех нас, и, движимые верой в нее, мы протестуем, когда, к примеру, правительство лейбористов предоставляет крупные суммы дочерям монарха или не решается национализировать сталелитейную промышленность. Но, сталкиваясь всякий раз с реальностью, вера трещит по швам, и мы начинаем мучиться противоречиями, не желая в этом признаться.

Первым таким столкновением с реальностью оказалась русская революция. В силу довольно сложных причин едва ли не все английские левые должны были принять установленную ею систему как «социалистическую», понимая при этом, что и принципы ее, и практика совершенно чужды всему, что подразумевается под «социализмом» у нас самих. А в результате выработалось какое-то перевернутое мышление, допускающее, что такие слова, как «демократия», обладают двумя взаимоисключающими значениями, а такие акции, как массовые аресты или насильственные выселения, оказываются в одно и то же время как правильными, так и недопустимыми. Следующий удар по левой идеологии нанес своими успехами фашизм, который сокрушил свойственные левым пацифистские и интернационалистские устремления, что, однако, не привело к решительному пересмотру самой доктрины. Фашистская оккупация заставила европейские народы убедиться в том, что давно было известно из собственного опыта народам колоний: классовые антагонизмы не так уж сверхважны, и существует такое понятие, как интересы всей нации. С появлением Гитлера трудно стало всерьез рассуждать о «внутреннем враге» и что национальная независимость не имеет никакого значения. Но хотя все мы об этом знаем и, когда необходимо, действуем, исходя из этого знания, по-прежнему господствует чувство, что сказать об этом прямо означало бы совершить предательство. Наконец – и здесь возникают самые большие сложности, – левые теперь у власти, так что они обязаны взять на себя ответственность, принимая справедливые решения.

Левые правительства почти всегда разочаровывают своих сторонников, поскольку даже и в тех случаях, когда удается достичь обещанного ими процветания,

обязательно приходится пережить трудный переходный период, о котором, до того как взять власть, едва упоминалось. Вот и мы сейчас видим, как наше правительство, отчаянно борясь с экономическими трудностями, вынуждено преодолевать последствия своей же пропаганды, которая велась в предшествующие годы. Переживаемый нами кризис не какое-то нежданное бедствие вроде землетрясения, и вызван он не войной — она его только стимулировала. Можно было десятки лет назад предвидеть, что произойдет нечто подобное. Еще с девятнадцатого века крайне проблематичным оставалось стабильное увеличение национального дохода, зависящего частью от инвестиций за рубежом, частью от надежных рынков и дешевого сырья из колоний. Было ясно, что рано или поздно что-то нарушится и мы окажемся вынужденными уравнивать экспорт импортом; а если это случится, уровень жизни в Англии, включая уровень жизни рабочего класса, неизбежно упадет — по крайней мере на время. Однако левые партии, сколь ни громко выступали они против империализма, никогда не касались таких материй. Иной раз они готовы были признать, что британские рабочие до некоторой степени живут за счет грабежа Азии и Африки, но при этом дело непременно изображалось так, словно, отказавшись от таких доходов, мы каким-то образом все равно умудримся сохранить процветание. А рабочих главным образом и обращали в социалистическую веру, говоря им: вот видите, вас эксплуатируют, — тогда как грубая истина, если исходить из положения вещей в мире, сводилась к другому: они сами эксплуатировали. Сегодня, по всему судя, мы пришли к тому, что уровень жизни рабочего класса не может быть сохранен на достигнутом уровне, не говоря уж о росте. Даже в том случае, если богатых заставили бы уйти, народным массам тем не менее пришлось бы или меньше потреблять, или больше производить. Не преувеличиваю ли я серьезность ситуации? Может быть, и преувеличиваю; был бы рад ошибиться. Но веду я вот к чему: среди тех, кто верен левой идеологии, сама эта проблема не может обсуждаться с откровенностью. Снижение зарплаты, увеличение продолжительности рабочего дня — такие меры считаются по самой своей сути антисоциалистическими, а поэтому должны быть отвергнуты с порога, как бы ни складывались дела в экономике. Стоит заикнуться, что эти шаги могут стать необходимыми, рискуешь тут же удостоиться всех тех эпитетов, которых мы так боимся. Куда безопаснее избегать подобных тем, сделав вид, будто возможно поправить дело перераспределением существующего национального дохода.

Тот, кто принимает ту или иную ортодоксию, неизбежно принимает вместе с нею противоречия, которые ждут своего решения. Например, каждому разумному человеку отвратительна индустриализация с ее последствиями, однако ясна необходимость не препятствовать ей, а, наоборот, способствовать, потому что этого требуют борьба с бедностью и освобождение рабочего класса. Или другое: есть профессии, которые совершенно необходимы, однако без принуждения никто бы их для себя не избрал. Или третье: нельзя уверенно вести внешнюю политику, не располагая мощными вооруженными силами. Подобные примеры можно умножать и умножать. И всякий раз напрашивается вполне ясный вывод, который, однако, способны сделать лишь те, кто внутри себя свободен от официальной идеологии. Обычно же случается по-другому: вопрос, на который так и не найдено ответа, отодвигают куда-нибудь подальше, стараясь о нем не думать и по-прежнему повторяя слова-пароли со всей противоречивостью их смысла. Не придется рыться в ворохах периодики, чтобы обнаружить последствия такого способа мышления.

Я, конечно, не хочу сказать, что духовная бесчестность свойственна одним социалистам и левым или свойственна им более, нежели другим. Речь идет только о том, что приверженность любой политической доктрине с ее дисциплинирующим воздействием, видимо, противоречит сути писательского служения. Это относится и к таким доктринам, как пацифизм или индивидуализм, хотя они притязают находиться

вне каждодневной политической борьбы. Право же, все слова, кончающиеся на «изм», приносят с собой душок пропаганды. Верность знамени необходима, однако для литературы она губительна, пока литературу создают личности. Как только доктрины начинают воздействовать на литературу, пусть даже вызывая с ее стороны лишь неприятие, результатом неизбежно становится не просто фальсификация, а зачастую исчезновение творческой способности.

Ну и что же из этого следует? Должны ли мы заключить, что обязанность каждого писателя – «держаться в стороне от политики»? Безусловно, нет! Ведь я уже сказал, что ни один разумный человек просто не может чураться политики, да и не чурается в такое время, как наше. Я не предлагаю ничего иного, помимо более четкого, нежели теперь, разграничения между политическими и литературными обязанностями, а также понимания, что готовность совершать поступки неприятные, однако необходимые, вовсе не требует готовности бездумно соглашаться с заблуждениями, которые им обычно сопутствуют. Вступая в сферу политики, писатели должны сознавать себя там просто гражданами, просто людьми, но не писателями. Не считаю, что ввиду утонченности восприятия, им свойственной, они вправе уклониться от будничной, грязной работы на ниве политики. Как все прочие, они должны быть готовы выступать в залах, продуваемых сквозняками, писать мелом лозунги на асфальте, агитировать избирателей, распространять листовки, даже сражаться в окопах гражданских войн, когда это нужно. Но какие бы услуги ни оказывали они своей партии, ни в коем случае не должны они творить во имя ее задач. Им надлежит твердо сказать, что творчество не имеет к этой деятельности никакого отношения, им необходима способность, поступая в согласии с этими задачами, полностью отвергнуть, когда это требуется, официальную идеологию. Ни при каких условиях нельзя им отступать от логики мысли, почуяв, что она ведет к еретическим выводам, и опасаться, что неортодоксальность распознают, как скорее всего и случится. Может быть, для писателя даже скверный знак, когда его сегодня не подозревают в заигрывании с реакцией, точно так же как двадцать лет назад плохо было дело, если его не обличали в приверженности к коммунизму.

Означает ли все сказанное, что писателю следует не только противиться диктату политических боссов, а лучше и вообще не касаться политики в своих книгах? И снова – безусловно, нет! Не существует причин, по которым нежелательно самым прямым образом затрагивать политику, если ему так хочется. Только пусть он говорит о ней как частное лицо, которое остается вне партий, или на крайний случай действует в качестве партизана на фланге регулярной армии, вовсе в нем не нуждающейся. Подобная позиция вполне совместима с обычной и полезной политической активностью. Скажем, когда писатель считает, что войну необходимо выиграть, пусть он в ней участвует как солдат, но откажется прославлять ее в своих книгах. Если это честный писатель, может случиться, что его творчество окажется в противоречии с его политическими акциями. Иногда этого в силу очевидных причин хотелось бы избежать; в таких случаях выход не в том, чтобы насиловать собственное вдохновение, а в том, чтобы промолчать.

Кому-то покажется пораженческим или двусмысленным мой совет писателю, когда накаляются конфликты, разделить свою деятельность на две несообщающиеся сферы; но я просто не вижу, как практически он может поступить иначе. Замыкаться в башне из слоновой кости немислимо и нежелательно. Подчинять свою личность не только партийной машине, но даже идеологии, которую исповедует какая-то группа, значило бы покончить с собой как писателем. Мы чувствуем болезненность этой дилеммы так отчетливо, потому что осознали необходимость вторжения в политику, но вместе с тем поняли, насколько это – грязное и унижительное дело. А в большинстве своем мы никак не расстанемся с верой в то, что любой выбор, даже

любой политический выбор, всегда лежит между добром и злом, как и в то, что все необходимое тем самым справедливо. Думаю, пора нам расстаться с этими взглядами, уместными лишь в младенчестве. В политике не приходится рассчитывать ни на что, кроме выбора между большим и меньшим злом, а бывают ситуации, которых не преодолеть, не уподобившись дьяволу или безумцу. К примеру, война может оказаться необходимостью, но, уж конечно, не знаменует собой ни блага, ни здравого смысла. Даже всеобщие выборы трудно назвать приятным или возвышенным зрелищем. И если чувствуешь обязанность во всем этом участвовать – а, на мой взгляд, ее должен чувствовать каждый за вычетом закрывшихся броней старческой немощи, глупости или лицемерия, – нужно суметь и свое «я» сберечь неприкосновенным. Для большинства людей эта проблема так не стоит, поскольку их жизнь и без того расщеплена. По-настоящему они живут лишь в часы, свободные от службы, и ничто не связывает их политическую деятельность с деловой. Да и, в общем-то, от них и не требуют, чтобы они унижали собственную профессию ради политической линии. А от художника, в особенности от писателя, именно этого и добиваются; по сути, этого одного вечно требуют от них политики. Если писатель отвергает такие требования, не следует думать, что он обрек себя на пассивность. В любой из двух своих ипостасей, каждая из которых в каком-то смысле есть его целое, он может, коли нужно, действовать не менее решительно и напористо, чем все остальные. Но творчество, если оно обладает хоть какой-то ценностью, всегда будет результатом усилий того более разумного существа, которое остается в стороне, свидетельствует о происходящем, держась истины, признает необходимость свершающегося, однако отказывается обманываться насчет подлинной природы событий.

1946 г.

Вячеслав Недошивин

СВИНЬИ И... ЗВЁЗДЫ

Проза отчаяния и надежды Дж. Оруэлла

Наши представления о будущем... выражают наши современные страхи и надежды.

Олдос Хаксли

Можно ли погасить звезды?

Не сомневаюсь – можно! Их можно погасить, если человечество договорится, что звезд на небосклоне нет. Еще верней, если все мы заставим себя поверить в это. И уж совсем надежно, если людям так переделают мозги, что, когда надо, они искренне возомнят – звезд нет и не было, а когда потребуется – столь же честно будут считать, что они все-таки есть...

Именно об этом идет речь на последних страницах последнего романа Джорджа Оруэлла «1984». И, окунувшись в мир героя писателя, в мир зверства и фанатизма, понимаешь: шутка со звездами – действительно реальность! Не бред, не философский выверт, не умственный кунштюк. Ибо и раньше, и особенно теперь, в век телевидения и газет, спутников и компьютеров, нет предела внушаемости толпы, как нет надежных гарантий, что именно в толпу при желании нельзя превратить нацию, сообщество, мир.

О человеке и мире, о человеке в мире всеобщего помешательства, коллективного психоза и насилия ведут речь лучшие антиутопии – странная, задиристая, философская литература, получившая особое распространение с начала XX века. Об этом и классические, эталонные произведения ее: романы Е. Замятина «Мы», О.

Хаксли «О дивный новый мир», Дж. Оруэлл «1984».

Вспомним: «Двадцатый век будет счастливым... – писал свыше ста лет назад Виктор Гюго. – Не придется опасаться, как теперь, завоеваний, захватов, вторжений, соперничества вооруженных наций... Не будет больше голода, угнетения, проституции от нужды, нищеты от безработицы, ни эшафота, ни кинжала, ни сражений, ни случайного разбоя в чаще происшествий... Настанет всеобщее счастье. Человечество выполнит свое назначение, как земной шар выполняет свое».

Просторно мечталось писателю. Но, заметьте, из всех указанных В. Гюго зол в наступившем XX веке не осталось разве что архаичного кинжала. Все прочее люди «перетащили» с собой и в новое столетие. А мы тем не менее называем Гюго, хотя прогнозы его звучат утопически, писателем реалистического склада. И, напротив, в ирреальном романе, скажем, Джека Лондона «Железная пята» (в какой-то степени прообразе антиутопий нынешнего столетия) относительно грядущего высказывается самое реальное, не утопическое предположение. «Я жду прихода каких-то гигантских и грозных событий, тени которых уже сегодня омрачают горизонт, – говорит один из героев романа. – Назовем это угрозой олигархии – дальше я не смею идти в своих предположениях. Трудно даже представить себе ее характер и природу».

Что же это? Герой Гюго, кстати, революционер, сражающийся на баррикадах, мечтает о «счастливом веке», а другой – тоже революционер, но следующего поколения – откровенно страшится будущего? И кто тогда из писателей реалист, а кто фантаст, кто провидец, а кто – слепец? Наконец, почему представления о завтрашнем дне в сугубо реальном произведении могут через сто лет зазвучать утопически, а выдуманные фантазией, произволом воображения – вполне реально? И отчего тогда утопия – это хорошо, а антиутопия (при всей условности этого термина) – плохо?

\* \* \*

«Серьезные, сознающие свою ответственность интеллигенты часто, а может быть и всегда, идут против господствующего в их время течения».

Наткнувшись на эти слова об Оруэлле, я, помню, подумал: как же они созвучны нашим сегодняшним спорам о прошлом, об интеллигентах, смело встававших в двадцатых-сороковых годах против репрессий, лагерей, политических убийств, против сталинщины.

Слова эти взяты мною из книги друга Оруэлла, книги, которую автор предельно прозрачно назвал «Беглец из лагеря победителей».

Странное название, не правда ли? Из лагерей победителей в XX веке предпочитали не убегать. Во времена конформизма, приспособленчества, интеллектуального лакейства если и случались перебежчики, то, напротив, в лагерь победителей: поближе к силе, к власти, к, пусть и порочному, но – коллективу...

Не таким оказался Дж. Оруэлл. Он не только открыто переходил в лагерь побежденных, о которых еще древние говорили: «Горе им» (что уже прекрасно рекомендует его как писателя!), но и не стеснялся публично покидать его, когда побежденные вдруг становились победителями, усваивая отвратительные черты свергнутых. Справедливость, по мнению писателя, плохо уживалась с самодовольством любых победителей. В таком случае он не только предпочитал «бегство» к одуроченным, осужденным и загнанным, но, в отличие от десятков, сотен романистов, делал это не фигурально, не умозрительно, а открыто, реально, вживе.

«...Однажды он пришел ко мне домой, – вспоминал Р. Рис, – и попросил разрешения переодеться. Оставив свою приличную одежду у меня в спальне, он появился одетый чуть ли не в лохмотья. Ему хотелось, как пояснил он, узнать, как выглядит тюрьма изнутри; и он надеялся, что сумеет добиться этого, если будет задержан».

«...Моя ненависть к угнетению зашла крайне далеко, – признавался в одной из книг уже сам Оруэлл. – Жизненная неудача представлялась мне тогда единственной добродетелью. Малейший намек на погоню за успехом, даже за таким „успехом“ в жизни, как годовой доход в несколько сот фунтов, казался мне морально отвратительным, чем-то вроде сутенерства».

...А когда Р. Рис рассказал однажды Оруэллу о своей встрече еще в двадцатых годах с поэтом-коммунистом, то в ответ услышал: «Видите ли, быть коммунистом в те дни не давало никакой выгоды; можно почти безошибочно сказать, что то, что не приносит выгоды, правильно».

Это только три фрагмента жизни писателя и его размышлений, но разве в них не просматривается пунктир его устремлений, диапазон чувств и переживаний, желание быть крайне щепетильным во всем, что касается тех или иных лагерей? Недаром один из исследователей его творчества недвусмысленно заявил, что «масштабом цивилизации» для Оруэлла всегда была «простая порядочность». Недаром, наконец, как вспоминали о нем, «он хотел быть голосом молчаливых жертв: детей, китайских кули, судомоев, безработных, бродяг, шахтеров, приговоренных к повешению, каталонских крестьян и жертв революционных трибуналов».

Кто же такой Джордж Оруэлл? Почему его называют классиком английской литературы и ставят в один ряд со Свифтом и Диккенсом, Киплингом и Уэллсом? Почему о нем и его произведениях уже десятилетия спорят не только критики и литературоведы, но философы, политики, ученые?

Эрик Артур Блэр – вот как звали его по-настоящему. Джордж Оруэлл – псевдоним, который романист взял по выходе своей первой книги очерков «Вниз и вон в Париже и Лондоне» (1933 год), не желая, чтобы его родители расстраивались изнанкой жизни, которую их сын познал в трущобах, ночлежках, под мостами Сены и Темзы. Впрочем, есть и другие версии появления этого имени (например, «неприятные ощущения», когда он видел «свое настоящее имя в печати», а публиковаться Эрик Блэр начал в основном с 1923 года). Известно одно – при публикации первой книги писатель заявил: «Во время бродяжничества я всегда пользовался фамилией П. С. Бартон, но если вы считаете звучание этого имени неподходящим, то что скажете по поводу Кеннета Майлза, Джорджа Оруэлла, Г. Льюиса Олвейза. Я бы предпочел Джорджа Оруэлла».

Джордж – это святой покровитель Англии, а Оруэлл, как утверждают, – название речушки на севере страны, знакомой писателю еще по юности. Как бы там ни было, но такой «выбор предполагает, – язвительно замечает журнал „Тайм“, – глубоко скрытый патриотизм разочарованного подданного»...

Эрик Артур Блэр родился в 1903 году в Индии, в Бомбее, в семье английского служащего, выходца из аристократического, но обедневшего рода. Впоследствии, стыдясь «потрепанно-благородного» класса, воюя с буржуазностью, ненавистной ему, сам писатель иронически относил себя к «низшей прослойке верхнего слоя среднего класса». Но именно принадлежность к роду дала ему возможность, вернувшись в Лондон, поступить сначала в элитарную школу Св. Киприана, а затем и в Итонский

колледж, готовивший своих воспитанников к высокому служению на поприще политики и искусств.

«Нельзя постичь мотивов писателя, не зная ничего о том, с чего началось его становление», – напишет позже Дж. Оруэлл. Верно, ибо не только поступки его, удивлявшие современников, не только книги и блестящие эссе, принесшие писателю всемирную славу, но все в целом: сомнения и противоречивость, моральные нормы и убеждения, непримиримый максимализм и тяга к дистиллированной справедливости, бесстрашие и трезвость в анализе действительности, а также главная, на мой взгляд, черта его – умение не впадать в общие иллюзии – все это зарождалось в нем именно в детстве. Рискну даже сказать; прежде чем он по убеждению стал «беглецом из лагеря победителей», он пережил ситуацию, в которой оказался «беглецом» по принуждению – одиноким, чужаком, посторонним. Представьте: с одной стороны – школьник, который видел, что почти весь семейный бюджет идет на то, «чтобы поддерживать видимость благополучия», который переживал, что принят в особую школу за сокращенную плату, которого, случалось, пороли за обычные для нервных детей мокрые простыни по утрам, а с другой стороны – человек, который с пяти-шести лет знал, что обязательно станет писателем, считал, что у него достаточно силы воли, «чтобы смотреть в лицо неприятным фактам», который в одиннадцать лет опубликовал в местной газете патриотический стих, а вообще сочинял поэмы, рассказы и даже рифмованную пьесу в духе Аристофана, человек, который часто воображал себя Робин Гудом и зачитывался любимыми Диккенсом, Теккереем, Киплингом и Уэллсом, – все это и не могло не создать той гремучей смеси, из которой и возникают, как правило, взрывные характеры, воспитываются аналитические умы, вырастают самостоятельные и мощные таланты. А ведь столь же рано понял он и другое – что «закон жизни – это постоянный триумф сильных над слабыми», и если нельзя ни изменить мир, ни стать сильным, то все равно можно «признать свое поражение и сделать из него победу».

Он так и жил. Не имея, скажем, средств на дальнейшее после Итона образование, без чего в Англии и чиновником не стать, Эрик Блэр отправляется опять в Индию. Поражение? В известной мере да. Наняться в королевскую полицию, отбыть к месту службы в Бирму – что же тут от победы? Но зато, выйдя через пять лет в отставку, он не только привез на родину «невыносимое чувство вины», не только отлично разобрался в «сущности империализма» («Мне открылось тогда, что, становясь тираном, белый человек наносит смертельный удар по своей собственной свободе»), но и твердо, несмотря на весь ужас родителей, решил стать писателем. Прямым результатом этих лет стали великолепные эссе и первый роман – вторая книга писателя – «Бирманские дни».

Больше того, после Бирмы для него стало меняться само значение этих слов – «поражение», «победа». Что с того, что «его круг», услышав об «изучении» самого «дна» больших городов, посчитал это даже не поражением – жизненным крахом, если он расценивал это как победу? И, устраиваясь на ночлег в каком-нибудь «доме призрения» среди небритых, оборванных бродяг, среди калек и безработных, он уже беспокоился лишь об одном – как бы его не выдал безупречный итонский слог, он искренне желал лишь скорей и навсегда «уйти из мира респектабельности». Это были уже глубоко выстраданные шаги к «бегству» из класса победителей, первые попытки пробиться к себе истинному, поражающие и некоторой наивностью, и явной бескомпромиссностью. А ведь вокруг, не будем забывать, шумел Лондон с бесчисленными соблазнами для живого ума, потом – Париж, куда он перебрался и где обнаружил столько художников, писателей, студентов, что их, казалось, было больше, чем рабочих. Он тоже стремился стать писателем, тоже учился этому за пишущей машинкой, но работал, да еще по тринадцать часов, сперва посудомойщиком

в парижском отеле, а затем, когда вновь вернулся в Англию, учителем, продавцом в книжном магазине. Это уже походило не на протест – на бунт вроде толстовского, бунт ради сохранения органичности убеждений и поступков, какой-то видимой ему одному целостности личности.

Впрочем, это наверное, замечали в нем и другие. Недаром, когда вслед за первой книгой стали ежегодно выходить в свет его романы («Бирманские дни» – 1934 год, «Дочь священника» – 1935 год, «Не бросай ландыши» – 1936 год), издатели обратились именно к нему, чтобы он отправился на север Англии и написал о положении безработных шахтеров, ставших жертвами депрессии. Итогом двухмесячной командировки к горнякам Ланкшира и Йоркшира стала книга – «Дорога на пир Уиган» (1937 год). Оруэлл уже намеренно делал из себя политического писателя, и книга его содержала как призывы к социализму, так и резкую оценку некоторых встреченных им социалистов. «Правда состоит в том, – признавался Оруэлл, – что для многих людей, именующих себя социалистами, революция не означает движения масс, с которыми они надеются связать себя; она означает комплект реформ, которые „мы“, умные, собираемся навязать „им“, существам низшего порядка». Это был вывод, за который следовало ожидать ударов и справа, и слева: слишком смело писатель срывал маски с тех, кто искал в социализме личных выгод. А может, это был первый шаг из лагеря новых «победителей», поскольку выверенные «весы справедливости» писателя качнулись в иную сторону?

Политический писатель с независимыми суждениями – так можно определить амплуа Оруэлла. Но соединимо ли оно с художественной прозой, с «пышными пассажами», которым он учился когда-то? Ведь политика переменчива, конъюнктурна, склонна к компромиссам, в то время как искусство... искусство вечно? Не знаю. Но Р. Рис, вспоминая друга, находил у него, по крайней мере, четыре «лица». Оруэлл-мятежник и Оруэлл-сочувствующий властям, пока они мягки и заботливы, Оруэлл-рационалист, наследник просветительства XVIII века и Оруэлл-романтик, поклонник прошлого: причудливых улочек и домов, мирных речушек – отрады рыболовов, старомодных добродетелей и обычаев. Эти качества, утверждал Рис, образовали бы «хорошо уравновешенный характер... если бы эпоха, в которую он жил, не стала бы столь неблагоприятной». Об этом и едва ли не теми же словами говорил о писателе и Бертран Рассел: «Живи он в менее тяжелое время, он был бы человеком добродушным». Да и сам Оруэлл признавался позже: «В мирное и благополучное время я мог бы писать повествовательные или просто описательные книги и мог бы остаться почти в неведении о своих политических привязанностях. Случилось же так, что я вынужден был стать чем-то вроде памфлетиста... Чего я больше всего желаю последние десять лет, так это превратить политическую литературу в искусство... И когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: „Хочу создать произведение искусства“. Я пишу ее потому, что есть какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, к которому надо привлечь внимание, и есть желание – главная моя забота – постараться быть услышанным».

Дж. Оруэлл даже привел пример этой, по-новому поставленной «проблемы правды». Вернувшись из Испании, он написал книгу о гражданской войне («Дань Каталонии» – 1938 год), в которую вставил множество газетных выдержек, защищавших людей от обвинений в троцкизме. «Зачем вы напицкали книгу всей этой чепухой? – спросил писателя один из критиков. – Ведь, по сути, вы превратили хорошую книгу в чистый журнализм». Но лишь немногие в Англии, считал писатель, понимали или догадывались, что совершенно невинные люди были обвинены напрасно. «Если бы я не был возмущен этим фактом, я бы, возможно, никогда не написал бы эту книгу».

Впрочем, мы забежали вперед – Испания и война с Франко начались для него в конце



1936 года в отряде барселонской милиции, где он оказался как корреспондент одного из лондонских еженедельников.

«Впервые я видел город, где рабочий класс был в седле, – напишет он позднее, – я с радостью дышал воздухом равенства...» Странно, но он был рад, когда управляющий отелем выругал его за чаевые, предложенные лифтеру, приветствовал плакаты в парикмахерских, на которых было выведено, что рабов больше нет, он восхищался, что здесь даже не пахло буржуазностью, которую он ненавидел на родине. На улицах, за исключением немногих женщин да иностранцев, не было хорошо одетых людей – все были или в рабочей одежде, или в голубых комбинезонах милиции. «В этом было многое, чего я не понимал, в какой-то мере мне это даже не нравилось, но я сразу признал это положением вещей, за которое стоит бороться».

Записавшись в отряд милиции вслед за какими-то оборванными юношами, Дж. Оруэлл даже не представлял, что угодил в «троцкистскую» часть. Жена Оруэлла Эллин О'Шонесси (а перед самой Испанией писатель женился, по словам друга, на «умной и очаровательной женщине»), оставив диссертацию по психологии, последовала за мужем и стала работать в барселонском аппарате ПОУМ – той самой Объединенной рабочей марксистской партии, которую сразу же объявят «троцкистской»... Оруэлл сражался, пока фашистский снайпер не ранил его в шею, но не мог и подумать, что помимо этой реальной войны шла война амбиций, группировок и политических пристрастий среди самих республиканцев. Неожиданно Мадрид объявил барселонские рабочие полки вне закона. В коммунистических газетах Испании, Парижа, Лондона и Нью-Йорка, как по команде (а может, и «по команде!»), милицию Барселоны и ПОУМ стали называть «пятой колонной», «наемными убийцами» и даже «фашистами». Люди, честно воевавшие за свободу, превращались в более важных врагов, чем сам Франко. Но что особенно обозлило писателя, так это попытка нового узурпирования «истины в последней инстанции» теми, кто возглавил революцию и войну, то есть новыми победителями, новой властью.

Тюрьмы, массовые аресты, убийства – вот что заполнило Барселону тех дней. Это был политический террор против инакомыслящих. Иностранцы, со всех концов света пришедшие на помощь Испании, тайно, нелегально, с клеймом «предателей» покидали город и бежали во Францию. Но Оруэлл и его жена и здесь не потеряли головы; скрываясь от преследователей, они лишь тогда пересекли границу, когда им, правдами и неправдами, удалось выручить из тюрьмы одного из своих товарищей. Кодекс порядочности писателя был необорим...

Испания перевернула его. «Я читал о великих баталиях в сообщениях из тех мест, где вообще не было сражения, – недоумевал он, – и полное молчание хранилось о тех, где были убиты сотни людей. Я читал о храбро сражавшихся войсках, которые описывались как трусы и предатели, и о других, не слышавших выстрела, но которыми восторгались как героями воображаемых побед». А когда на родине он узнал, что сочувствующие коммунистическим идеям левые либералы, журналистский круг, с которым он был знаком, и интеллектуалы не только оправдывали подобный поворот фразами типа: «Справедлив он или нет, но это мой социализм», не только не возмущались казнями и репрессиями в СССР, но и, болтая по гостиным, попивая кофе в старинных особняках, легко разглагольствовали, что «это необходимо», что «убийства оправданны», Оруэлл понял: родилось и окрепло новое «господствующее течение» – политиканствующие социалисты, – и он, разумеется, будет против. Короче, после Испании, в той же статье «Почему я пишу», напечатанной за три года до смерти (а умер Дж. Оруэлл в 1949-м), он четко определил собственную позицию: «Испанская война и другие события 1936–1937 годов нарушили во мне равновесие; с тех пор я уже знал, где мое место. Каждая всерьез написанная мною с 1936 года

строка прямо или косвенно была против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимал».

В 1938 году выходит его книга «Дань Каталонии», а уже через год на прилавках появляется его четвертый роман – «На свежий воздух». Одиночка, скептик, бунтарь, Дж. Оруэлл отныне борется и разоблачает все, что связано с той или иной властью. Уже в романе он предрекает, что после войны (ее он тоже предсказывает!) наступит век тоталитаризма, век резиновых дубинок и очередей за продуктами, лозунгов и садизма. В романе появляется ненависть как позиция, там уже звучит мотив, что и Сталин, и Гитлер (впервые два этих имени он поставил рядом, кажется, еще в 1934 году, в рецензии на «Майн кампф») думают о гаечных ключах и разбитых физиономиях и никогда, как считает герой романа, не будет недостатка в физиономиях, разбиваемых гаечными ключами. В последнем романе, в «1984», гаечный ключ как символ заменит «кованый сапог тоталитаризма», который с легкостью будет наступать на лицо человека. И если в 1939 году в большом эссе о Диккенсе Оруэлл только еще задумывается, что «всегда найдется новый тиран, готовый сменить старого», и, следовательно, всегда будут существовать две точки зрения – «как можно улучшить человеческую природу, пока не изменена система», и есть ли польза «в изменении системы до того, как улучшена человеческая натура», то спустя десять лет, при работе над последним романом, эта мысль – «заколдованный круг» антиутописта – станет уже и главным мотивом книги, и самой звонкой нотой ее, и наиболее тяжелой болью социального максималиста Дж. Оруэлла.

Вторую мировую войну писатель встретил в Лондоне. Известно: просился на фронт, но ранение, слабые легкие, подозрение на туберкулез (он объяснял это тем, что в детстве часто играл в футбол простуженным) сделали это невозможным. Он стал сержантом добровольцев местной обороны. Он служит на Би-Би-Си, выступает со статьями в газетах и журналах, недоедает, как и все, но тем не менее вместе с женой делит свой паек с людьми, которым приходилось хуже, и, конечно, пишет. На этот раз нечто необычное для себя – сказку (так обозначен жанр книги), но сказку о Сталине и сталинщине, о том, «как революции неизбежно изменяют своей природе, как идея равенства воплощается в том, что одни оказываются более равными, чем другие, и как во имя нового строя коллективная воля осуществляет насилие над личностью».

Написанная в 1943 году, эта сказка, названная автором «Скотный Двор», была опубликована лишь в 1945-м. Ее отказались публиковать и в Англии, и в Америке. «Я брошу тебя, если ты это сделаешь!» – кричала издателю Дж. Оруэлла Фредерику Уорбергу его жена. Момент действительно был неподходящ: лучшее, на мой взгляд, произведение писателя было яркой сатирой на сталинизм, но именно в это время русский солдат, напрягая последние силы, ломал хребет фашизму.

Человек одной идеи, писатель, разоблачавший действительное зло, в чем мы и сами признаемся теперь, – что мог он поделаться с разумом и совестью, если хотел быть честным перед чистым листом? А что касается момента, если уж говорить всерьез, то для полной правды в литературе подходящих моментов и не бывает; всегда найдутся причины, по которым ее, конечно же, лучше отложить...

Да, ставший «голосом» молчаливых жертв, Дж. Оруэлл отныне между простым человеком, наивно верящим в возможность счастья, и вождем, бессовестно эксплуатирующим эту веру, выбирал для сокрушительных своих атак именно «вождей». Идя против «господствующих течений», он возненавидел не только власть, олицетворяющую их, но и тех, кто, по его мнению, преклонялся, раболепствовал перед ней, – так называемых интеллектуалов. Когда-то, в 1936 году, он писал, что

коль дело дойдет до крайностей, «то интеллигенция в подавляющем большинстве перейдет к фашизму». Теперь он брал и конкретнее и шире одновременно: «Преклонение перед властью – новая религия, которая распространилась среди английской интеллигенции», «свою кухню они берут из Парижа, свои взгляды – из Москвы». Парижская кухня и р-р-революционные взгляды интеллектуалов – это была его манера язвить. Такими примерно насмешками над буржуазно-либеральными, технократическими прожектами Герберта Уэллса он, говорят, довел маститого писателя до такого раздражения, что получил от него письмо с... непечатным обращением... Короче, неудивительно, что Оруэлл, «беглец из лагеря победителей», знавший, чего стоит подобное «бегство» в глазах общества, все сильнее не любил тех, кто двигался в противоположную сторону – в стан победителей. Удивительно другое: чем больше он ненавидел интеллигентов, тем сильнее он превозносил так называемых «простых» людей. Он считал, на мой взгляд, ошибочно, что они неподвластны тоталитаризму, поскольку у них нет жажды власти.

Простому человеку, рабочему «нужно лишь то, что для других является минимумом, без которого человеческая жизнь вообще невозможна, – писал он. – Ему нужна еда, работа, шанс для его детей, ванна раз в день и крыша над головой». Все так, и жажды власти у простых людей действительно нет, но это почему-то не мешало и не мешает превращать их в толпу, которая во имя порядка или особой, своей морали подпирала и подпирает по сей день иные тоталитарные режимы... И не к этому ли выводу привела писателя художественная логика его последнего романа – антиутопии «1984»?

Книгу эту Оруэлл писал, уединившись на острове Юра, в старом фермерском доме, куда он, похоронив в 1945 году неожиданно скончавшуюся жену, переселился вместе с приемным сыном и куда впоследствии, когда со здоровьем у него стало неважно, переехала и младшая сестра романиста Эврил. Человек крайностей, всегда идущий «до конца», он и уединился так, что даже друзья с трудом могли добираться до него. Дом, арендованный им на одном из Гебридских островов, находился в двадцати пяти километрах от пристани и единственного магазина. «В сущности, дорога очень удобна, – писал он Р. Рису, – только последние восемь километров вам придется пройти пешком». Машина там проехать не могла... Другими словами, одинокий, по сути дела, человек, «посторонний» в толпе и в блестящем обществе, не понятый многими современниками («Я понимаю его до определенного, предела, – вспоминал, например, писатель В. С. Притчетт, – потому что как раз в тот момент, когда вы утверждались в каком-то мнении, он начинал ему противоречить»), не щадивший в слове себя и других («Для него характерной была абсолютная прямота, которая огорчала людей и многих делала его врагами»), Джордж Оруэлл в конце жизни стал, что называется, «номинально» одиноким, отгородившись от цивилизации, от человечества километрами земли и воды. Но именно о человечестве, о цивилизации думал и писал теперь этот оставшийся один на один с миром мыслитель.

Говорят, что неверие человека равно по силе его прежней вере во что-либо. Этим, возможно, объясняется неверие писателя в «социализм» в последние годы жизни. Но с той же силой он ни на грань не доверял и собственному правительству. Невероятно, но Оруэлл, например, считал, что ограничения военного времени в его стране отменены не будут. «Они» не отменят ночные затемнения, смеялся он, потому что люди привыкли к ним, а для властей это даже удобно. Он был убежден, что продовольственные карточки также останутся навсегда – так легче правительству. А когда их все-таки упразднили, настаивал, что это «ловушка»...

Курьез? Не думаю. Скорее, беспощадная логика, глубокий анализ природы власти, материалистическое понимание жизни.

Пророчества писателя не устарели, как мне кажется, еще и потому, что он не просто переносил героев своего последнего романа в будущее – он мысленно уже жил в нем.

Непокорный, несмирившийся, протестующий, он знал, что среди большинства не слишком самолюбивого человечества, среди тех, кто, по его словам, «после тридцати лет», как правило, отбрасывает амбиции и «начинает скользить по течению», всегда есть немного «одаренных, упрямых людей, которые полны решимости прожить собственные жизни до конца, и писатели принадлежат именно к этому типу»...

Он, во всяком случае, и жил, и шел «против течения» до конца.

Можно ли погасить звезды?

Да, можно, если заечь в людях «звезды» несбыточных надежд, раздуть угольки безумной веры в осуществимость утопии, в возможность реализовать нынешние представления о завтрашнем дне в дне сегодняшнем. Как ни странно, это связано. Ведь природа веры в уничтожение реальных звезд на небосклоне и осуществление при жизни выдуманных «путеводных» звезд одна и та же – самообман масс, который в конце концов так удобно эксплуатировать...

«Что такое звезды? – спрашивает на допросе Уинстона Смита, главного героя последнего романа писателя, изощренный садист, интеллектуальный выродец, такой вот „эксплуататор“ человеческой веры О'Брайен. – Всего лишь частички огня в нескольких километрах от нас. Мы вполне можем добраться до них, если захотим. А, может, и погасить их».

Разумеется, такой вселенский обман – это глобальная, конечная проблема, над которой задумывался Дж. Оруэлл. Это венец, крайняя точка размышлений о власти в современном мире. А логическая цепочка исследовательской мысли начиналась, может быть с... мальчика и лошади, с прутика, которым ребенок погонял животное. Как-то в деревне писатель увидел десятилетнего мальчугана, который гнал по узкой тропе огромную лошадь и стегал ее всякий раз, когда она пыталась свернуть в сторону. «Меня поразила мысль, – вспоминал потом Оруэлл, – что, если бы только животные осознали свою силу, мы не смогли бы властвовать над ними и что люди эксплуатируют животных почти так же, как богачи эксплуатируют пролетариат».

Идея? Рождение метафоры? Несомненно! Неисповедимы пути творчества, и проза ведь тоже, как и стихи, порой «не ведая стыда», растет из случайных эпизодов, банальнейших аналогий, заурядных образов, из того, что под рукой, под ногами, перед взором... Мальчик и лошадь – кто этого не видел? Но лишь у Дж. Оруэлла эта сельская «картинка» превратилась в яростную сатиру на «казарменный коммунизм», на сталинщину, в книгу, где неполновинчато, неуклончиво, незашифровано было сказано о новой наседающей на мир лжи, насильно присваивающей себе имя «правды». В сказку под названием «Скотный Двор».

Это короткое произведение не короля делало голым в глазах людей, а голых свиней на обыкновенной английской ферме облачало в «одежды» абсолютных властителей над четвероногими собратьями. В сказке домашние животные Господского Двора, осознав свою силу, прогоняли хозяина ради вольной и справедливой жизни. Но, взяв власть, они уже на другой день стали убеждаться, что попадают в новое закабаление, едва ли не более жестокое, в закабаление к хряку Наполеону, который из подлого,

мелкого, корыстного интереса – в ведре ли молока, в мешке ли падалицы – стал, как и бывший хозяин фермы, притеснять, вероломно обманывать и даже убивать доверчивых, простодушных и трудолюбивых животных.

Это произведение мне кажется лучшим в наследии писателя не только по силе, по остроте, но и по разящему, беспощадному смеху. Оно лучшее, потому что оригинально и неповторимо даже при соотнесении его со всей предшествовавшей литературой (если не считать, разумеется, очерка «Скотский бунт» Н. Костомарова, написанного примерно в 1879–1880 годах, а напечатанного в феврале 1917 года, в котором использована, хотя и по-иному, та же идея и где также бугай, умнейшее, как принято считать, животное, возглавляет свершившийся переворот. Наконец, оно лучшее потому, что в ясных, прозрачных образах тонко высмеяло то, что непросто было подметить и выразить, даже побывав в те годы в нашей стране. Вспомним Л. Фейхтвангера, оправдавшего Сталина и сталинизм, Р. Роллана, который только дневнику доверил такие, например, строки о нас: «Это строй абсолютно бесконтрольного произвола, без малейшей гарантии, оставленной элементарным свободам, священным правам справедливости и человечности», вспомним десятки, сотни писателей, деятелей культуры Запада, кто, даже зная о фальсифицированных процессах, о концентрационных лагерях, о тысячах кровавых жертв на Востоке, предпочитал «не видеть», «не понимать», «не осознавать» масштабов трагедии. Это было нечто вроде «заговора молчания» интеллигенции – то ли из сочувствия к социализму, то ли из страха перед фашизмом... А исключения – книги А. Жида и А. Кестлера, лишь подтверждали правило, поскольку реакция интеллектуального мира на эти произведения оказалась почти однозначно осуждающей.

Не таким – повторюсь – оказался Дж. Оруэлл. Он не только был готов идти против «течения», которое к этому времени превращалось чуть ли не в «величественную поступь» половины человечества, не только не дрогнул перед тоталитарными режимами, сметающими миллионы несогласных, – он открыто повернул против «реки», стал, образно говоря, как бы демонстрировать стоящим на берегу зевакам, какие валуны, топляки скрывает бегущая вода, что таится на дне этого мощного потока и в чем могут оказаться губительными для завтрашнего дня и грядущие водовороты, и лежащие впереди пороги. А между тем «секрет» его пронизательности – и это, думаю, следует подчеркнуть особо – был, в общем-то прост: Оруэлл долгие годы сам был внутри этого «течения», сам верил в исполнимость великих идеалов, пока не увидел мимикрирующее, перерождающееся, становящееся аморальным меньшинство – рвущихся в «вожди» ловкачей, приспособленцев и идеологических шулеров. Так ведь и у нас наиболее яркими, бескомпромиссными, глубокими критиками сталинского «социализма» стали как раз те, кто не щадя жизни утверждал его на земле, – Ф. Раскольников, М. Рютин, А. Артузов...

Отчаяние Оруэлла, бездна, перед которой встал английский романист, были не менее глубоки. Он ненавидел империализм. Ему был отвратителен фашизм, против которого он сражался с оружием в руках. Он понял лицемерие «левых» («Все партии левого крыла в высокоиндустриальных странах, – писал он, – это самое последнее притворство; они борются против того, чего на самом деле разрушать не желают. Они выдвигают, казалось бы, интернационалистские цели, но в то же время пытаются удержать привычный образ жизни, свои стандарты, которые просто несовместимы с выдвинутыми целями. Мы все живем под рыдания азиатских кули, а некоторые из нас даже всюду призывают к их освобождению, но наши представления о жизни, наши стандарты, а отсюда и „призывы“ вполне позволяют этим рыданиям продолжаться»).

И наконец, к сороковым годам Дж. Оруэлл, оставаясь по-прежнему противником империализма, фашизма и лицемерного либерализма, осознал, что и надежды, которые

сулил миру революционный Восток, обернулись для его подзащитных – беднейшего большинства – новым отчаянием, новой западней и ловушкой. Из всех мыслимых на то время путей не осталось, по сути, ни одного; дальше идти воображению было некуда, и Оруэлл, думающий об СССР, по свидетельству друзей, чуть ли не каждый день, написал: «Возможно, что простой человек и не откажется от диктатуры пролетариата, но предложите ему диктатуру самодовольных и ограниченных педантов, и он уже готов драться...»

Именно такую «диктатуру пролетариата» он, никогда не бывавший в нашей стране, «наблюдал» по газетам в конце тридцатых. Ее генезис, ее перерождение в инструмент личного давления «вождей» он и попытался изобразить в «Скотном Дворе». И сегодня, когда мы сами критически переосмысливаем свое прошлое, когда осознаем чудовищные деформации сталинского «социализма», это прямое, нелукавое, антивождистское произведение, не уступая по силе классической свифтовской «Сказке Бочки», смею думать, не уступит ей и в бессмертии. Ибо человечество никогда не откажется от борьбы за счастье и справедливость, а значит, всякий, кто попытается впредь узурпировать в этой борьбе право на бесконтрольное руководство, на «монопольную истину», то есть право на произвол и привилегии, будет ассоциироваться со свиньями оруэлловской сказки.

«Свиньи» – вот кем являлись для писателя «вожди» всех мастей. «Свиньями» называет членов Внутренней Партии – элиту, верхушку, правящую в Океании, – героиня последнего романа Оруэлла Джулия. Но вот странность – эта метафора, анималистское это сравнение, оказывается, едва ли не витало в те годы в самом воздухе. Вспомним М. Булгакова и его рвущегося пусть и в небольшие «начальники» полуграмотного Щарикова – вчерашнего подзаборного пса. Вспомним сохранившийся фрагмент из сгоревшего романа «Запись неистребимая» советского философа Я. М. Голосовкера – разговор анархиста Орама и Иисуса на кремлевской стене: «Они положили во главу угла скота и по-скотски творят суд и расправу, но держат перед собой щит, где сияют все идеалы человечества, ограбленные ими у веков...» (Вопросы философии, 1989, № 2).

Скоты, псы подзаборные, свиньи – не слишком ли? Не чересчур? Нет! Не слишком. Потому что в свою пользу, к личной выгоде и преуспеянию извращались ими тысячелетние мечтания человечества, потому что из «вождистского» толкования их прямо вытекали реальный террор, массовое насилие, кровь, убийство отца сыном, тысячи, миллионы жертв. Но звать так «вождей» при их жизни, будь то Гитлер, Сталин или Мао, такими словами клеймить ало – значит не просто идти «против течения», – писать себе смертный приговор.

Таким «приговором» писателю стал на четыре десятилетия неизвестный у нас «1984». Нет, для себя – чего греха таить? – «вожди» застойного времени и переводили и издавали его закрытыми тиражами. Но для читателей, для нас, этого писателя не существовало.

Творчество Дж. Оруэлла предельно органично. Ему удалось не только соединить политику и художественную литературу, но и стать писателем, скрупулезно исследовавшим природу современной власти. Этим особенно связаны последние его произведения, уже опубликованные у нас, – сказка «Скотный Двор» и роман «1984». Власть и свобода, ложь и история, распределение благ в обществе и угроза возвращения «хозяев» как средство запугивания масс – вот общие проблемы их. Но главное, глубинное сходство – идея «пути», как говорил А. Блок, – одурачивание толпы, нации, народа.

Когда-то еще Фрэнсис Бэкон подметил, что «искусно и ловко тешить надеждами народ, вести людей от одной надежды к другой есть одно из лучших противоядий против недовольства. Поистине, – писал философ и антиутопист, – мудро то правительство, которое умеет убаюкивать людей надеждами, когда оно не может удовлетворить их нужд». Теперь философ Дж. Оруэлл шел дальше, показывал нечто большее – некий вселенский «фокус», который властители научились проделывать с людьми. Смотрите, смотрите, словно говорил писатель, сначала вашими руками сражаются за власть, на вашу силу опираются, превращая себя в единственных выразителей народного движения, а потом, подменив суть, перетолковав идеалы, вырезав в них самое существенное для людей (права, свободы, культуру!), превращают это движение в инструмент манипулирования сознанием, коллективного давления на человека, покорения личности и уничтожения всего, что мешает властям предрерживать... Механизм этой подмены, доказывал романист, и предельно прост, и абсолютно нов. Если в переворотах и революциях прошлых веков, свергая тиранов, монархов, диктаторов, очередные победители рано или поздно усваивали не только привычки, манеры, но и взгляды, идеи свергнутых, то поумневшие вожди нового времени, даже взлетев на вершины власти, не только не отказывались от революционной терминологии, но на словах, формально, даже продолжали как бы бороться с идеями свергнутых ими классов.

Но если в романе амбиции этих «великих инквизиторов» революций добираются до аналогичных потуг доказать, что белое – это черное, что дважды два – пять, добираются до звезд, которые хотят «стереть» с неба, то в сказке дело ограничивается пока мелкими «подтирками» – переименованием заповедей Восстания, начертанных на стене амбара, где в одну прекрасную ночь вместо лозунга: «Все животные равны», появляется надпись: «Все животные равны, но некоторые – равнее других»... Насколько «равнее» эти руководящие звери в том же романе, Уинстон и Джулия узнают и в квартире высокопоставленного чиновника Внутренней Партии О'Брайена, и, главное, в пыточных камерах Министерства Любви...

Впрочем, тут следует оговориться. Дело в том, что доказательство той или иной мысли (и в художественном произведении, видимо, тоже) требует некоторого спрямления аргументов, отбрасывания иных нюансов и тонкостей. Я покривил бы душой, если бы не сказал, что социальный максимализм, нравственный ригоризм писателя в отношении к теоретическому социализму оборачивались порой, как и положено в диалектике, некоей обратной, теневой стороной. Язвительно смеясь в сказке над попыткой воплотить в обществе равенство способностей и ума – так называемое «биологическое равенство», которого, понятно, никогда не будет, Дж. Оруэлл тем самым как бы отбрасывал и попытки человечества достичь равенства политического, правового, экономического – институтов вполне реальных и кое-где на сегодняшний день вполне достигнутых. Дискредитируя само понятие равенства, писатель, как мне кажется, не только поставил себя в ложное положение, но и не мог, по всей видимости, не обрадовать этим своих записных врагов – ненавистных ему империалистов, финансовых воротил, респектабельных буржуа, всех тех, кто не на шутку опасался и правового, и экономического, и уж тем более политического равенства сограждан. Но вот вопрос – радовала ли эта «радость» самого Дж. Оруэлла?

Ответом, как мне кажется, и на этот вопрос стал его роман, написанный через шесть лет. В нем, если говорить о сердцевинном смысле его, писатель утверждает, что без решения проблем политического, экономического и социального равенства, или, как размышляет в романе У. Смит, без создания человеческих условий жизни, люди, по-видимому, никогда не станут человечнее, а не став человечнее – им не создать человеческих условий. Вот «заколдованный круг» антиутопии, неразрешимая

проблема романа, доминанта размышлений героя книги – последнего человека в мире «1984».

«Если ты человек, Уинстон, то – последний человек, – говорит в романе О'Брайен. – А наследники – мы. Ты хоть понимаешь, что ты один?»

Последний человек в мире страха, предательства и мучений, в мире, где прогресс будет измеряться не уменьшением, а увеличением боли и неблагодарности, в мире, который уже теперь основан на ненависти, бешенстве и упоении победой. Утверждают, что Дж. Оруэлл так и хотел назвать свой роман – «Последний человек в Европе», последний – как носитель и выразитель именно человечности. Ведь человечность толкает его героя на борьбу с мощной тоталитарной системой, и именно человечность «вышибают» из него палачи, заставляя предавать последнее – любовь к Джулии... Но, увы, книга с таким названием уже была – роман «Последний человек» (тоже довольно мрачноватую утопию) выпустила в начале прошлого века Мери Шелли. И тогда – на этом сходятся многие исследователи – Дж. Оруэлл просто поменял последние цифры года написания своего романа – 1948 – и вывел на обложке: «1984».

Что он хотел этим сказать? Являлась ли эта анаграмма намеком на апокалипсические предсказания средневекового монаха Нострадамуса? Или, как замечают некоторые, Оруэлл, писатель реалистического плана, не захотел относить свои «картины» слишком надолго вперед, как бы говоря тем самым, что если до этого рубежа мир не превратится в нечто похожее, значит, человечество минует некий кризис? Не знаю, не берусь гадать. Знаю только, что год этот – 1984 – появляется еще в одной утопии нашего века, на которую, не похожий ни на Хаксли, ни на Замятина, роман Дж. Оруэлла тем не менее похож. Я имею в виду книгу Дж. Лондона «Железная пята».

Словом, «спор» утопистов шел и от писателя к писателю (с «Утопией» Т. Мора спорил, образно говоря, «Город Солнца» Кампанеллы, с которым, в свою очередь, спорил Ф. Бекон), и порой от книги к книге одного и того же автора (как, например, у Герберта Уэллса или Олдоса Хаксли). Самый современный Э. Берджес, допустим, всю первую часть своего романа «1985» отдал комментарию и собственной трактовке антиутопии Дж. Оруэлла, к чему мы еще вернемся, а тот же Дж. Оруэлл своей последней книгой как бы спорил с идеями, выдвинутыми раньше и Дж. Лондоном, и Г. Уэллсом, и Е. Замятиным, и О. Хаксли. Последний, как пишет В. П. Шестаков, задумал свой роман «О дивный новый мир!» как «пародию на научную фантастику Г. Уэллса», а Уэллс некоторыми своими романами сознательно оппонировал У. Моррису, его книге «Вести ниоткуда», которая, в свою очередь, родилась только благодаря появившейся за два года до нее утопии Э. Беллами «Через сто лет». Удивительно ли тогда, что цепная реакция идей, выдвигаемых социальными экспериментаторами, впередсмотрящими человечества – утопистами, коснулась и этих двух романов – «Железной пята» и «1984»?

«Капитализм почитался социологами тех времен кульминационной точкой буржуазного государства, – пишет Дж. Лондон в своем романе. – Следом за капитализмом должен был прийти социализм... цветок, взлелеянный столетиями, – братство людей. А вместо этого, к нашему удивлению и ужасу, а тем более к удивлению и ужасу современников этих событий, капитализм, созревший для распада, дал еще один чудовищный побег – олигархию». Это было сказано в начале столетия, и подчеркивалось: «Трудно даже представить себе ее характер и природу». Дж. Оруэлл, которому было шесть лет, когда вышел роман Дж. Лондона, не только наблюдал «природу» этой олигархии, не только на собственном опыте пережил тенденции, которые ощущали и Е. Замятин, и О. Хаксли, но к 1948 году понял: на земле может родиться нечто большее – власть



«олигархического коллективизма», власть могущественных партий, способных подчинить себе даже сознание масс.

И «Братство» (как «Эра Братства»), и «олигархия», и такое понятие, как «прол», – все это «вынырнет» спустя сорок лет в романе Дж. Оруэлла. И если в «Железной пяте» писатель говорит, что «общество состоит из трех крупных классов» – богатейшей плутократии, среднего класса и пролетариата, то в «Книге Гольдштейна», которую в обществе «1984» читает Уинстон Смит, Дж. Оруэлл называет их «Высшей, Средней и Низшей группами людей». «Средний класс, – пишет Джек Лондон, – это тщедушный ягненок между львом и тигром. Ушел от одного – как раз попадаешь в пасть к другому. И если с вами расправится плутократия, рано или поздно с плутократией расправится пролетариат». У Оруэлла, во всяком случае в «Книге Гольдштейна», надежд на будущее поубавилось. Власть Высших, пишет он, время от времени опрокидывали Средние, которые, призвав под свои знамена Низших, провозглашали, что сражаются за всеобщую свободу и справедливость. Но стоило Средним взять власть, как они тут же возвращали Низших на положение рабов, а сами становились Высшими... За этими словами писателя стоял уже новый социальный опыт, опыт предательства и извращения революционных идеалов, опыт близкого знакомства с политиканствующим «социализмом», с бесчеловечными фашистскими режимами, опыт неразрешимого, казалось бы, «заколдованного круга» противоречий личности и общества.

Мне возражат: «Книга Гольдштейна» – провокационный трактат в мире «1984», она сознательно распространяется заправилами режима среди тех, кто недоволен им. Да, это, разумеется, так. В ней – квинтэссенция социальных опасений и страхов писателя за идущий в тупик мир. Она – отчаяние его еще и потому, что власть предрержащие в Океании, в общем, не боятся ее распространения, им как бы уже не страшна «правда» ее, как правда, поскольку их господство несокрушимо и вечно. Но есть ли в романе еще более высокая правда – как надежда писателя?

Есть! Она в подлинных чувствах простых людей. Не в приспособленной к исторической целесообразности морали интеллектуалов, не в подчинении совести историческому прогрессу, не в преклонении перед властью победителей, которое само по себе деформирует человеческие представления о мире.

«Если есть надежда, то она в пролах», – записывает в дневнике Уинстон Смит. Да, размышляет он, «лишь в этих людях, составляющих восемьдесят пять процентов всего населения Океании, в этих массах, с которыми не хотят считаться, может когда-нибудь родиться сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя уничтожить изнутри... Рано или поздно им должно прийти это в голову». Будущее будет принадлежать угнетенным «пусть даже через тысячу лет»! Это ли не надежда писателя?

Не знаю, надо ли говорить обо всех совпадениях в романах Лондона и Оруэлла. Не лучше ли прочесть статью английского романиста о своем американском предшественнике. Но еще о двух параллелях, представляющих важность для дальнейшего разговора, мне кажется, упомянуть стоит. Об изменении внешности человека, вступившего на путь борьбы с государством, и о дате – об этом странном названии романа Оруэлла.

В «Железной пяте» подпольщицу, перешедшую на нелегальное положение, «делают» другим человеком: ей меняют походку, голос, меняют рост – словом, все то, что изменить невозможно. В результате операции ее не узнает даже собственный муж.

В романе Дж. Оруэлла до изменения внешности дело не доходит. Но когда Уинстон и Джулия, решившись вступить в «Братство» и бороться с режимом, приходят к О'Брайену, – человеку, которого они принимают за единомышленника, – речь тем не менее заходит о том же. «Быть может, нам придется переменить ему внешность. Его лицо, походка, форма рук, цвет волос, даже голос будут другими... – говорит им ловкий демагог и провокатор. – Иногда даже приходится ампутировать конечности».

Но если у Лондона речь об изменении внешности, во-первых, идет всерьез, а во-вторых, ее все-таки меняют, то в романе Оруэлла, несмотря на подлинность переживаний героев и даже некоторую высокопарность момента, все окрашено неуловимой, еле угадываемой насмешкой автора. Скажем, поинтересовавшись, готовы ли его гости отдать делу свои жизни, готовы ли, если потребуется, совершить убийство, О'Брайен неожиданно спрашивает: «Вы готовы обманывать, лгать, шантажировать, развращать сознание детей, распространять наркотики, поощрять проституцию, способствовать заражению людей венерическими заболеваниями?..» – «Да», – столь же неожиданно соглашаются наши герои. «Если, к примеру, ради нашего дела нужно будет плеснуть серную кислоту в лицо ребенку – сможете ли вы пойти на это?» – «Да», – вновь решительно подтверждают Уинстон и Джулия.

Обескураживающее согласие, не правда ли? Странно, но ни Уинстон, ни Джулия будто не слышат абсурдности, фарсовости вопросов. Убивать, мучить, обливать детей кислотой – все это соглашаются делать те, кто, как нам уже известно, органически не могут убить человека. Гипноз? Поведенческая аномалия? И случайно ли это в продуманном до тонкостей романе, в книге человека щепетильной порядочности? Нет, не случайно, конечно. Более того, именно здесь ключ к авторской позиции писателя. Фарсовость чувствительных вопросиков О'Брайена рассчитана не на героев романа – на читателей, на нас с вами.

На первый взгляд, эти вопросики – тоже способ полемики писателя: с Дж. Лондоном, у которого в подобной ситуации никакой авторской иронии не наблюдается, с Ф. М. Достоевским (да-да!), кто, как известно, утверждал, что если в основание всеобщего счастья будет заложена хоть одна слезинка ребенка, то это не может быть счастьем, наконец, с широко распространенной мыслью, что правое дело не должно осуществляться неправыми средствами. Но это – на первый взгляд. Потом, когда по ходу романа читатель узнает, что О'Брайен отнюдь не борец с режимом, что он прикидывается им, расставляя сети для инакомыслящих, эта якобы скрытая авторская полемика становится чем-то вроде антиполемики, если можно так сказать. Или четким утверждением писателя, что он лично отнюдь не считает, что правое дело должно совершаться неправыми средствами, что он не спорит с Достоевским и Лондоном. Напротив, он показывает нам, что неправое дело вершится неправым человеком и, очевидно, нужно только доверять своему естественному чувству, а не извращенной логике политических софистов, которые стремятся доказать, что ради правого дела можно пойти на союз с самим дьяволом. То есть этот писательский прием сродни свифтовскому «засаливанию детей бедняков в бочках», сродни мощному щедринскому сарказму. И Оруэлл сознательно устраивает этот балаган с чувствительными вопросиками О'Брайена, балаган, основанный на чувствах, которые, как мы понимаем в конце концов, находятся в вопиющем противоречии с подлинными ощущениями Уинстона и Джулии...

Человечность, чувства, любовь – вот чем проверяется в романе и безжалостный режим, и кастовая Партия, и политика войны и ненависти, и родственные или брачные отношения людей. И о чувствах, об этом «архаизме» в мире «1984», говорит буквально несколькими страницами раньше главный герой романа – Уинстон Смит. «Слова и поступки значения не имеют, – признается он Джулии. – Имеет значение

только наша душа. Если им удастся меня заставить разлюбить тебя – это будет действительно предательство». А еще раньше, вспоминая исчезнувшую мать, ностальгически мечтая об ушедших временах, Уинстон приходит к выводу, что лишь пролы остаются человечными, ощущая в себе пусть и примитивные, но свойственные людям чувства. «Пролы – люди, – вырвалось у него. – А мы не люди...»

Да, пролы верны не Партии, не стране, не идее – они верны себе и друг другу. И на садистские вопросы таких, как О'Брайен, они бы не ответили утвердительно. А значит, стоит им прийти к осознанию необходимости борьбы с режимом, их взять будет нечем. Потому что у них добро – это добро и злом добра совершить невозможно, как нельзя мучить ребенка, устраняя несправедливость в обществе, или убивать человека, пусть и во имя высочайших, прекраснейших идеалов. Другими словами, эта вывернутая наизнанку «диалектика», увы, столь знакомая нам по недавней истории, никогда не была и не может быть средством борьбы со злом – вот о чем говорит писатель. И это уже определенная позиция автора, политически окрашенная программа его, попытка разорвать, чтобы не сказать – взорвать, «заколдованный круг» переплетающихся противоречий.

...А что же год, давший название роману Оруэлла? В какой связи поминает его Дж. Лондон?

В «Железной пяте» 1984-й – это год построения второго крупнейшего города олигархов – Эсгарда. Его возвели из стекла, стали и бетона рабочие для наслаждения правящей верхушки. И в русле сопоставлений двух книг мы вправе спросить: является ли Лондон, изображенный в романе Дж. Оруэлла, городом «наслаждения олигархии»? В известном смысле, если учесть, что для верховных правителей, для чиновников Внутренней Партии существуют небольшие, но ощутимые в этом мире привилегии (шикарные даже по нашим сегодняшним меркам квартиры, великолепная еда и вино, выключаящийся только у них «монитор», следящий за всеми жителями Океании, возможность держать слуг, то есть все то, что делает их «равнее» среди равных), что главным их наслаждением является прежде всего безграничная власть над людьми, на этот вопрос можно ответить утвердительно. А если при этом помнить, что форму правления в мире «1984» Оруэлл определил как «олигархический коллективизм», что четыре самых высоких здания, в которых размещаются четыре министерства, где сосредоточено все правительство страны, построены как раз из стекла, стали и бетона, то вопрос о заимствовании этой даты для названия романа мне представляется вполне правомерным.

Впрочем, не в этом суть. И сравнение нам потребовалось не для того, чтобы выявить похожесть или непохожесть произведений, включенность их в одну литературную традицию, а чтобы показать, насколько спустя сорок лет меняется отношение писателей к одним и тем же истинам, к истинам, которые, по меткому замечанию Гегеля, рождаются как ересь, а умирают – как предрассудок.

Этим, образно говоря, и занимается великий жанр социальной утопии. И если, скажем, к истине «все люди должны быть свободны» Джек Лондон в начале века, на волне революционного подъема того времени, относился вполне серьезно, хотя и догадывался, что реализована она может быть не скоро, то Евгений Замятин, наблюдавший тенденции развития ее и даже практического осуществления в начале двадцатых годов, испытывал по отношению к ней нешуточную иронию; рафинированный Олдос Хаксли в тридцатых годах – сарказм и острую насмешку («Свобода – это круглая пробка в квадратной дыре»), а Джордж Оруэлл в конце сороковых, убедившись, что провозглашенная свобода превращается для его подзащитных, беднейшего большинства, в еще более крепкие наручники, – уже подлинный страх.

Такая «свобода», по его мнению, могла повлечь за собой необратимые изменения и в современном мире, и в сознании человека... Да, истины умирают как предрассудки, но ведь и предрассудки со временем становятся своеобразной почвой для новых еретических истин, разве не так?

«Я много думал, для чего нужно искусство, – сказал после выхода „Бойни номер пять“ Курт Воннегут, писатель, также прикасавшийся в своем творчестве к утопической и антиутопической традиции. – Самое лучшее, что я мог придумать, это моя теория канарейки в шахте. Согласно этой теории художник нужен обществу, потому что он наделен особой чувствительностью. Повышенной чувствительностью. Он как канарейка, которую берут с собой в шахту: посмотрите, как она мечется в клетке, едва почует запах газа, а люди со своим грубым обонянием еще и не подозревают, что грядет опасность».

Какую опасность чувствовал Джордж Оруэлл, о чем предупреждал нас своим романом? Если Е. Замятин первым – оценивая его антиутопию в главном – ощутил, что желанное человеческое счастье может быть поставлено и ставится в зависимость от несвободы человека, что коллективистское «мы» в математически рассчитанном бытии противоречит счастью индивидуального «я», если в знаменитой антиутопии О. Хаксли глубинным зерном становится ощущение писателя, что разнообразный, многоцветный, прекрасный мир неумолимо катится к однотипности и стандартности, к всеобщей пошлости существования, то о чем бил тревогу, предупреждал нас Дж. Оруэлл?

Так вот, на мой взгляд, основной опасностью, которая ясно читается в его последнем романе, опасностью, впервые замеченной именно Оруэллом, становится иррациональная власть, власть как самоценность, власть, по его ранним словам, «самодовольных и ограниченных педантов». Это главная тема в мире «двоемыслия», «новояза», «Двухминуток Ненависти», в мире и всеобщей слежки, и исчезновения людей – в мире «тотальной организации, тотального обмана и тотального контроля», по определению Г. Х. Шахназарова. Ведь если в прошлом, в самые седые эпохи, даже жесточайшие тираны использовали власть для достижения хоть каких-то целей, то в мире «1984» власть уже существует ради власти. И единственное, в чем она нуждается, – это еще большая окончательная власть над всем, начиная с микроскопической клетки внутри каждого человеческого черепа и кончая, как я уже говорил, далекими и, казалось бы, бесполезными для нее звездами на небе.

«Я понимаю как, – в отчаянии записывает в дневник Уинстон Смит, пытаюсь докопаться до причин вселенского обмана, глобальной лжи, – я не понимаю зачем?»

«А теперь вернемся к вопросам „как“ и „зачем“, – напоминает ему об этом в пыточных камерах все тот же О'Брайен. – Ты достаточно хорошо понимаешь, как Партия удерживает власть... Но скажи, зачем мы удерживаем ее? Почему мы стремимся к власти? Давай говори!..»

«Вы правите нами для нашей же пользы», – неуверенно предполагает привязанный к столу, подключенный к электроприбору, доставляющему ему нечеловеческую боль, Уинстон...

Ответом становится электроудар.

«Это глупо, глупо, Уинстон! – закричал О'Брайен... – Партия стремится к власти исключительно в своих интересах. Нас не интересует благо других. Нас интересует только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долголетие, ни счастье – ничто, только власть, власть в чистом виде... От всех олигархических групп прошлого мы

отличаемся тем, что знаем, что делаем... Немецкие нацисты и русские коммунисты были близки к нашим методам, но даже им не хватило смелости осознать собственные побуждения. Они делали вид, а может, даже верили, что взяли власть, вовсе не стремясь к ней, взяли на время, и что в ближайшем будущем человечество ждет земной рай, где все будут равны и свободны. Мы не такие. Мы знаем, никто и никогда не брал власть для того, чтобы потом отказаться от нее. Власть – цель, а не средство, а революцию делают для того, чтобы установить диктатуру. Цель насилия – насилие. Цель пытки – пытка. Так вот, цель власти – власть...»

Да, все остальное в оруэлловском мире: переписывание истории и дубинки, поддержка общего уровня бедности и изощренные пытки, искоренение любви и страсти, обесценивание человеческого сознания и девальвация чувств – все это уже инструмент достижения абсолютной, безграничной, химически чистой власти.

Это уже не простоватая логическая задачка «Скотного Двора»: как «нам», умным, навязать «им», существам низшего порядка, свою волю или комплект реформ, это – нечто большее. В романе правящая «олигархия» уже не принимает в расчет «примитивных» пролов, даже в Партию не принимает их. «Пролы и звери свободны» – вот единственный «переклик» романа и сказки... Теперь Оруэлла интересует, как бюрократия, подлинные «звери» его романа, может подчинить себе Человека Духа – высочайшую ценность тысячелетней истории. Причем подчинить так, чтобы даже в сознании умного, глубокого, тонкого интеллигента не осталось ни одной «иронической мысли» по отношению к ним, чтобы он искренне поверил (а не под страхом боли, унижения и смерти) в фанатичный бред властителей: в величие Большого Брата, в вечность Партии, в то, что дважды два – пять, и что свобода – это рабство.

Да, власть и дух – конфликт эпохи. Он был и есть. Но неужели он будет всегда?

Власть, при всех режимах, боялась и ненавидела носителей духа за то, что они лучше ее. За то, что подлинные люди духа никогда не борются за власть и этим как бы рушат представления власти о человеческой природе, да и о самой себе. Но главное – власть ненавидит их за истинное, органичное намерение жить для других, за жертвенность, которую властители тщатся присвоить себе, в то время как на самом деле властвуют ради плебейского превосходства да лишнего мешка падалицы, силой захваченного ведра молока... Разве все это надуманные, не существующие в реальной жизни противоречия сплошь фантастической, казалось бы, социальной антиутопии?

Мне скажут: этого в романе нет. Уинстона Смита «ломают», его подчиняют себе. Он предает любимую, он кричит, отводя клетку с крысами, готовыми прогрызть его лицо: «Сделайте это с Джулией!.. Только не со мной! Пусть крысы разгрызут ей лицо, объедят ее до костей... Только не со мной! С Джулией! Не со мной!»

И все-таки это есть! Героя ломают – верно, но писатель ясно дает понять – чем. Той самой готовностью делать правое дело неправыми средствами, поспешным согласием на чувствительные вопросы О'Брайена, решимостью плеснуть в лицо ребенку, если надо, серной кислотой... Вот в чем главное поражение Уинстона, измена духу, предательство интеллигентности в себе. И поэтому, когда на слова своего мучителя о создании «мира топчущего и собирающегося топтать» Уинстон возражает, считая, что «есть что-то во Вселенной», «какой-то дух, какой-то закон», который им, палачам, не преодолеть, О'Брайен задает свои главные вопросы:

– Что же это за дух, который уничтожит нас?

– Не знаю. Дух человека.

– А ты человек?.. Разумеется, себя ты в моральном отношении считаешь, конечно, выше нас, лживых и жестоких?

– Да, я считаю, что я выше вас, – отвечает Уинстон и в ту же минуту слышит два голоса, в том числе свой собственный, слышит магнитофонную запись разговора с О'Брайеном в тот вечер, когда они с Джулией решили вступить в Братство, слышит себя, обещавшего лгать, убивать и, если потребуется, плеснуть серной кислотой в лицо ребенку...

Так заканчивается одна из великих антиутопий XX века – роман, доказывающий, что с человеком, а равно с обществом, нацией, миром можно сделать все, только если этот человек, общество, нация и мир дрогнут, уступят, вольно или невольно предадут себя – свое человеческое естество, тысячелетнюю мораль, простые, свойственные всем людям чувства. Героя «1984», человека, который, как и писатель, мог бы причислить себя к «низшей прослойке верхнего слоя среднего класса», уничтожают духовно, уничтожат, по всей видимости, и физически, но из его смерти вырастает мощная надежда – главный мотив Дж. Оруэлла! – тоталитаризм может утвердиться на земле, только если будет истреблен, подавлен, «выскоблен из истории» последний человек, считающий себя Человеком.

Вячеслав Недошивин,

кандидат философских наук

Об издании

Литературно-художественное издание

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

Эссе. Статьи. Рецензии

Зав. редакцией А. Стаценко

Редактор О. Ханжина

Художник А. Стариков

Художественный редактор Викт. Остапенко

Технический редактор А. Стаценко

Корректоры Т. Конькова, Г. Лихачева

Оруэлл Джордж

Эссе. Статьи. Рецензии / Пер. с англ. Оформл. А. Старикова.

Пермь: Издательство «КАПИК», 1992. – 320 страниц.

Сдано в набор 6.03.92. Подписано в печать 18.05.92.

Тираж 200 000.

Примечания

1

«Стихи на случай» (франц. ). – Примеч. переводчика.

2

Мильтон Д. Потерянный рай / Пер. с англ. Арн. Штейнберга. – М., 1982, с. 77.

3

Перевод А. Воронова.

4

На веки вечные.

5

Для устрашения.

6

Муст – состояние сильного возбуждения, наступающее у индийского слона в период спаривания.

7

Кули – носильщик, грузчик, возчик, а также чернорабочий в некоторых странах Азии.

8

Сахиб – знатное лицо, господин.

9

Завтра, завтра (исп.).

10

Федерация анархистов Испании.

11

Народная рабочая партия.

12

Правительство Каталонии.

13

Всеобщий союз трудящихся.

14

Полковник... начальник инженерной службы, Восточная армия (исп.).

15

По преданию, Шекспир завещал своей жене вторую по качеству кровать. – Примеч. переводчика.

16

Стихотворение «Лондон» из «Песен познания» У. Блейка. Первая строка взята из перевода С. Маршака, в переводе В. Топорова она звучит так: «Размышляя о правах, я по Лондону брожу». – Примеч. переводчика.

17

«Тяжелые времена» печатались как сериал в «Хаусхолд уордз», а «Великие ожидания» и «Сказка двух городов» в «Олл йеар раунд». Форстер пишет, что из-за краткости еженедельных отрывков было «гораздо более трудно придать интерес каждому из них». Диккенс сам жаловался, что ему «некуда положить локти», иными словами, он вынужден был держаться ближе к сюжетной линии.

18

Крепкий напиток из портвейна и лимонного сока, разбавленный горячей водой. – Примеч. переводчика.

19

Длинноты, растянутость (франц.). – Примеч. переводчика.

20

«Живым скелетом» называли необычайной худобы француза, гастролирующего по балаганам Лондона и окрестностей в первой половине XIX в. – Примеч. переводчика.

21

Диккенс превратил мисс Моучер в подобие героини, так как реальная женщина, которую он окарικатурил, прочла начальные главы и очень обиделась. До того он отводил ей злодейскую роль. Но любое действие подобного персонажа выглядело бы не соответствующим ее характеру.

22



Из письма Диккенса младшему сыну (в 1868 г.): «Запомни, что дома тебя никогда не изнуряли соблюдением религиозных обрядов или простых формальностей. Я всегда стремился не утруждать моих детей подобными вещами, пока они, достаточно повзрослев, не сформируют по отношению к ним своего собственного мнения. Поэтому ты лучше поймешь, что сейчас я самым серьезным образом внушаю тебе истину и красоту христианской религии, какой она вышла от самого Христа, и невозможность далеко зайти в заблуждении, если ты скромно, но сердечно станешь уважать ее... Никогда не оставляй полезной привычки творить свои собственные, частные молитвы, ночью и утром. Сам я с ней никогда не расстанусь и знаю, как это успокаивает».

23

Красный – цвет почты в Великобритании. Почтовые ящики красятся примерно в тот же (или чуть ядовитее) цвет, что и противопожарные ящики с песком в нашей стране.– Примеч. переводчика.

24

Широко распространенная (в т. ч. и за пределами Великобритании) цепь универсальных магазинов (в наше время – универсамов), особо популярных у людей среднего достатка.– Примеч. переводчика.

25

Обычай сравнивать «дикарски» выпяченные формы с обликом южноафриканских готтентотов имел хождение не только в Англии. Герой «Крейцеровой сонаты» Л. Н. Толстого, например, так описывал своего соперника: «...сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят». – Примеч. переводчика.

26

Само по себе (лат.). – Примеч. переводчика.

27

Обиходное название государственного флага Великобритании. – Примеч. переводчика.

28

Ср.: В Ветхозаветной книге Екклесиаста, или Проповедника: «...праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем.

Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя?

Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» (Еккл. 7, 15–17). – Примеч. переводчика.

29

И прочих в том же роде (лат.).

30

И наша решимость бороться до конца (исп.)

31

То есть неподсудность светскому суду. В Англии до начала девятнадцатого века такую привилегию имело духовенство.

32

«Тайная жизнь Сальвадора Дали» (Дайэл-пресс, Нью-Йорк).

33

Дали упоминает «L'Age d'Or», сообщая, что первый публичный просмотр был сорван хулиганами, но подробно о фильме не рассказывает. По воспоминаниям Генри Миллера, в фильме среди прочего есть довольно подробные кадры испражняющейся женщины.

34

Имя героя пьесы Джеймса Барри (1904) стало нарицательным – так в Англии зовут несколько инфантильного человека, сохранившего детскую непосредственность и живое воображение. – Примеч. переводчика.

35

Притяжение (франц.). – Примеч. переводчиков.

36

Нации и даже не столь определенные общности, вроде католической церкви или пролетариата, обычно рассматриваются как индивидуальности, и часто в отношении их используются слова «она», «он». Совершенно абсурдные замечания, вроде «Германия от природы вероломна», можно найти в любой газете, так же как едва ли не от любого можно услышать и массу безответственных обобщений по поводу национального характера («Испанец – это прирожденный аристократ» или «Всякий англичанин – лицемер»). Время от времени беспочвенность этих обобщений становится очевидной, однако привычка делать их сохраняется, и даже люди, придерживающиеся интернациональных воззрений, например Толстой или Бернард Шоу, часто грешат этим.

37

Некоторые авторы консервативного направления, такие, как Питер Дрюкер, предсказывали соглашение между Германией и Россией, но они ожидали, что это будет действительный союз или даже объединение. Ни один марксистский или левый автор любого оттенка даже близко не подошел к тому, чтобы предсказать этот пакт.

38

Военные комментаторы массовой печати могут быть в основном разделены на прорусских и антирусских, проконсерваторов и антиконсерваторов. Ошибки, вроде убежденности в неприступности линии Мажино, или предсказания, что Россия завоюет

Германию в три месяца, не подорвали их репутацию, поскольку они всегда утверждали то, что хотели услышать их читатели. Среди интеллигенции самой большой популярностью пользовались два военных обозревателя, капитан Лиддел Харт и генерал-майор Фуллер, первый из которых проповедовал, что оборона сильнее, чем нападение, а второй – что нападение сильнее, чем оборона. Это противоречие не помешало им обоим считаться авторитетами у одной и той же публики. Тайная причина их популярности среди левых кругов заключается в том, что оба они не в ладах с министерством обороны.

39

Некоторые американцы выражают, например, неудовольствие комбинацией слов «англо-американцы»; они предлагают заменить это выражение на «американо-британцы».

40

«Ньюс кроникл» советовала своим читателям посмотреть документальный фильм, в котором казнь крупными планами демонстрировалась на экране. «Стар» с видимым удовлетворением опубликовала фотографии почти обнаженных женщин-коллаборационисток, избиваемых парижской толпой. Эти фотографии очень напоминали нацистские фотографии евреев, которых избивает берлинская толпа.

41

Примером является русско-германский пакт, который настолько быстро, насколько это возможно, стирается в памяти общественности. Русский корреспондент сообщил мне недавно, что упоминание о пакте опускается уже даже в русских ежегодниках, которые сообщают о последних политических событиях.

42

Хорошим примером является предрассудок, связанный с солнечным ударом. До недавнего времени считалось, что люди белой расы гораздо более подвержены солнечным ударам, чем цветные, и что белый человек не может безопасно разгуливать под тропическим солнцем без пробкового шлема. Не было совершенно никаких доказательств этой теории, но она служила цели подчеркнуть различие между цветными и европейцами. Во время войны эту теорию без лишнего шума отбросили, и целые армии воевали в тропиках без пробковых шлемов. А ведь до тех пор, пока этот предрассудок жил, в него верили не только обычные люди, но и доктора-англичане в Индии.

43

Прописные буквы сохранены по оригиналу перевода.

44

Полное название написанного Свифтом в 1708 году памфлета – «Довод в доказательство того, что отмена христианства в Англии может при нынешнем положении вещей создать некоторые неудобства и, пожалуй, не вызвать тех благих последствий, кои имеются в виду». – Примеч. переводчика.

45

Причуда, забава природы (лат.). – Примеч. переводчика.

46 Престарелые гуигнгны, которые не в силах передвигаться сами, перевозятся, как описано в книге, на «санях» или на «подобии повозки, которую тащат, как сани». Очевидно, у таких повозок колес не было. – Примеч. автора.

47 Физическая деградация, которую, по словам Свифта, он наблюдал, в те времена действительно могла иметь место. Он относит ее на счет сифилиса, бывшего для Европы новой болезнью и, вероятно, более опасной, чем ныне. Новацией для восемнадцатого века были и очищенные спиртные напитки, это должно было поначалу вызвать сильный всплеск пьянства. – Примеч. автора.

48 Пребывание Гулливера на острове чародеев Глаббдобдриб. – Примеч. переводчика.

49 В оригинале у Дж. Свифта буквенный набор первой и второй фраз отличается всего на одну литеру. – Примеч. переводчика.

50 В конце книги к типичным образчикам человеческой глупости и порочности Свифт причисляет «Судейского, Карманника, Полковника, Дурака, Вельможу, Картежника, Политика, Сутенера, Врача, Свидетеля, Взяткодателя, Стряпчего, Предателя и им подобных». Тут явно пробивается безответственная ярость лишенного власти. Список объединяет тех, кто нарушает общепринятый порядок, и тех, кто охраняет его. К примеру, если вы ничтоже сумняшеся поносите полковника, как такового, то на каком основании вы клянете предателя? Или опять же: если вы желаете избавиться от воришек, вы должны иметь законы, а стало быть, вы должны иметь судейских. Не очень-то убедительна вся заключительная глава книги, в которой ненависть столь подлинная, а причина, ее объясняющая, столь неадекватна. Складывается впечатление, что тут рукой писателя водила личная вражда. – Примеч. автора.

51 39,4 градуса по Цельсию. – Примеч. переводчика.